



# ИЛ

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+



2021

# 11

РОМАН  
ЩЕПАНА ТВАРДОХА  
“МОРФИЙ”

ЙОРГОС СЕФЕРИС  
В РУБРИКЕ  
“НОБЕЛЕВСКАЯ  
ПРЕМИЯ”

ПИСАТЕЛЬ  
ПУТЕШЕСТВУЕТ:  
ЭССЕ СЕРГЕЯ  
ГАНДЛЕВСКОГО  
“ГОРЫ”

Основан в 1955 году

[11]

2021

Ежемесячный  
литературно-  
художественный  
журнал

ИНОСТРАННАЯ И ЛИТЕРАТУРА

	3	ШЕПАН ТВАРДОХ <i>Морфий</i> . Роман. Перевод с польского Сергея Морейно
	175	ЖУЖА РАКОВСКИ <i>Стихи из книги "Фортепан"</i> . Перевод с венгерского и вступление Наталии Дьяченко
	188	ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС <i>Сага о Бельфлэрах</i> . Фрагмент книги. Перевод с английского и вступление Александры Финогеновой
Нобелевская премия	231	ЙОРГОС СЕФЕРИС <i>Речь в мэрии Стокгольма по случаю вручения Нобелевской премии 10 декабря 1963 года</i> . Перевод с новогреческого Олега Цыбенко
	234	ЙОРГОС СЕФЕРИС <i>Стихи</i> . Перевод с новогреческого Олега Цыбенко
	242	ОЛЕГ ЦЫБЕНКО <i>Йоргос Сеферис и восприятие античности</i>
Статьи, эссе	249	ЛАСЛО Ф. ФЁЛДЕНИ <i>Прощание с образованностью</i> . Об образованности, знании, информации. Перевод с венгерского Ольги Балла
День поэзии	256	ЕКАТЕРИНА ТЕРЕШКО, ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА, СВЕТЛАНА БОЧАВЕР <i>Всемирный день поэзии 2021 года. Хроника фестиваля "Poesia21"</i>
Писатель путешествует	269	СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ <i>Горы</i>
Ничего смешного	275	ТОМАС КОРСГОР <i>Две новеллы</i> . Перевод с датского и вступление Натальи Кларк
Авторы номера	284	

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями “Вестник иностранной литературы”, “Литература мировой революции”, “Интернациональная литература”. С 1955 года – “Иностранная литература”.

Главный редактор

А. Я. ЛИВЕРГАНТ

Редакционная коллегия:

Л. Н. ВАСИЛЬЕВА

С. М. ГАНДЛЕВСКИЙ

А. В. ГЛАДОШУК

О. Д. ДРОБОТ

Т. А. ИЛЬИНСКАЯ  
*ответственный секретарь*

Международный совет:

ВАН МЭН

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

МАТЕЙ ВИШНЕК

МИЛАН КУНДЕРА

КЭНДЗАБУРО ОЭ

РОБЕРТ ЧАНДЛЕР

ХАНС МАГНУС

ЭНЦЕНСБЕРГЕР

Общественный редакционный совет:

Л. Г. БЕСПАЛОВА

Н. А. БОГОМОЛОВА

Е. А. БУНИМОВИЧ

Т. Д. ВЕНЕДИКТОВА

А. А. ГЕНИС

В. П. ГОЛЫШЕВ

Ю. П. ГУСЕВ

С. Н. ЗЕНКИН

Г. М. КРУЖКОВ

М. А. ОСИПОВ

М. Л. РУДНИЦКИЙ

И. С. СМЕРНОВ

Е. М. СОЛОНОВИЧ

Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

А. В. ЯМПОЛЬСКАЯ

# ЩЕПАН ТВАРДОХ



[ 3 ]

ИЛ 11/2021

## Морфий

Роман

Перевод с польского СЕРГЕЯ МОРЕЙНО

И дни твои не столь полны  
И ночи твои не столь полны  
И жизнь бежит мышью полевой  
Не шурша травой

ЭЗРА ПАУНД

*И дни твои не столь полны<sup>1</sup>*

## Часть 1

### Глава I

**М** ОЗГ. Смрад.  
Мозг лопается. Язык червяком засохшим, шершав. Корка  
слизи прилипла к нёбу. Мозг лопается. Солончаки. Миаз-  
мов собственных смрад.

© Copyright by SZCZEPAN TWARDOCH, 2012  
All rights reserved. Published by arrangement with Wydawnictwo Literackie,  
Krakow.

© СЕРГЕЙ МОРЕЙНО. Перевод, 2021

1. And the days are not full enough  
And the nights are not full enough  
And the life slips by like a field mouse  
Not shaking the grass

Ezra Pound *And the days are not full enough*

Таки проснулся? Проснулся? Нет, не проснулся. Спим дальше? Сон, боль утихнет во сне? Не утихнет.

А во сне... Да сон ли то?

Таки просыпается. Просыпаюсь. Я проснулся. Глаза режет, катышки гноя ковыряет, ковыряю пальцем, ресницы склеил гной. Открываю. Где я? Не дома.

Надо встать, встать, надо на толчок, опустошить кишечник. Не хочется вставать, не хочу. Полежать бы, полежал бы. Где? Не дома. Надо встать.

Встаю. Встал. Башка кружится. Садится в кровати.

Сижу, сидит, башка кружится, подташнивает, резким, значит, броском вперед, как фехтовальщик, как пловец, вперед, вперед, из жилища не своего по коридору, в сортир.

Опорожняю себя, испражняюсь, тугой бурдюк делается бурдюком обвислым. Мозг лопается. Воды? Выкручиваю ручку крана с четырьмя лепестками, с плакеткой синей, как *Virtuti Militari*, нет воды, нет и все. Есть в ведре, Анеля принесла или кто другой принес.

Смываю унитаз водой из ведра. Затем раковина, пробка, струя в фарфоровое ухо умывальника, вода, пьешь? Пью. Пьем. Мы пьем.

Вчера: городская управа обнародует список из двадцати двух точек бесплатного забора воды. Взятую в этих точках воду следует кипятить перед использованием. Насрем. Плещу себе в лицо, лью остаток воды на распухшую башку, череп скрипит, я слышу скрип черепа, опухший мозг давит на кость изнутри, ледяной ток замораживает ее снаружи, голова оживает. Видит меня в грязном зеркале.

Это я. Константин Виллеман.

Налицо следы питья водки. А точнее, вина, последние четыре бутылки, по-черному, за кухонном столом, заедаю хлебом, испеченным Анелей на противне, натертым чесноком, посыпанным солью. Последние четыре. Вина больше нет. Вина уже не будет. Может, вина уже никогда больше не будет? Пустое, вино будет всегда. Но не для меня.

Пятьдесят третий день m-воздержания. Четырнадцатый день немцев в Варшаве. Питье по-черному, распевание грязных песен с середины второй бутылки, патриотических песен за третьей, так точно, за четвертой вой, плач, слезы. Заглядывает сквозь открытую кухонную дверь сонное лицо Анели, не требуется ли пану чего? Прочь, мегера, прочь, профура старая, одиночества мне требуется, в трагедии моей и в трагедии города моего я жажду одиночества и пятой бутылки бордо, но ничего мне не светит!

Но сегодня не до реверансов Анеле, Анеля привыкла. Пан, когда пьет, глумится над миром и над людьми. Такой уж пан есть. Такие уж они, паны.

Я вспоминаю эти выкрики, глядя в зеркало. Вспоминаю: Анеля, старая швея, сестра горничной моего тестя. Я прячусь в ее комнате. Она спит на кухне. Хозяев, у которых он снимает комнату, нету. Они сбежали. Я не сбежал. А теперь гляжу в зеркало.

Это я. Кудлатые волосы, мутная рожа, двухдневная щетина.

И тут-то появляется, а скорее возвращается все: город разрушенный и уже не мой, Геля и Юрчик в нашей квартире в огромном доме Веделя на Мадалинского, мобилизация, осада, капитуляция, Стажинский несет чушь о немецкой армии, покрывшей себя позором, воюя на Праге с ее несчастными жителями, приказы, задержанное довольствие, безумие Ксыка и его черные усики, после капитуляции отход с позиций возле Селецкого парка и у Бельведера к уланским казармам, где мы должны ожидать освобождения в плен, я же в плен не пойду, бред о том, что надобно драться далее, полковник отпускает меня, иди, иди, ты прав, надобно драться далее, пистолет мой мы зарываем в саду у сестер-назаретанок на Чернякове вместе с оружием пары товарищей, мундир сжигаем в печи, даже сапоги, хотя сапог жалко, вонь кошмарная, я в плен не иду, шалишь. А еще раньше, при мобилизации — клятва. Трезвость. После капитуляции сведенная к м-воздержанию, отсюда и бутылки вина вчера последние, где теперь взять вино? Негде. Прятки, чистое кабаре!

Дымы над горящей Цитаделью, такие возвышенные и красивые. Братский привет шлем мы воинам, сражающимся за Хель, дрожит по радио голос диктора, да здравствует Польша, еще Польша не згинела. Тем не менее.

Я сдаюсь.

Пью еще, прямо из ведра, на рамена поднявши мощные, покуда брюхо вновь не превратится в бурдюк. Зеркало. Это я, это я, это я.

Ненавижу это место. Ненавижу.

— Не сделает ли Анеля мне кофе! — ору, ор пронзает мне виски гвоздями толщиной с пальцы Пилата.

— Нету кофе! — из недр жилья терпеливо кричит в ответ Анеля, вчера ровно то же кричала.

Я ведь знаю, что нет, чего ору?

— Ну, пускай чаю сделает.

— Нету чаю. Я только затапливаю. Чего, чего, чего?

— А поесть есть чего?

— Нетуги. Пан пусть сходит, купить надо. Хлеб на Мировской дают, за тридцать грошей кило, по четверти в руки.

Анеля ворчит, из кухни ворчит, из крохотной кухни этой крохотной квартирки, где еще и комнатка сдается, комнатка, в которой пахнет старухой, пахнет вареной капустой и луком, хотя как пить дать месяц как она ни луку, ни даже капусты не готовила, все равно пахнет, а может, просто должно пахнуть вареной капустой и луком или требухой должно пахнуть, и я сам по себе индуцирую эти запахи, выдумываю их для себя, чтобы на душе потеплело?

Выйти в город, нужно выйти в город. Выйти из этого жилища и не вернуться. За окном — дождь, дубак. Обратю в ванную. Бриться или не бриться? Бриться, холодной-то водой? Однако бриться. Волосы уложить. Но без бриолина, хотя бриолин есть, в коробке на полке, но сейчас не время для бриолина, военное время, значит, хватит и грешка, лишь бы не ходить нечесаным. Потом аспирин,

два. Он тоже заканчивается. Затем майка, кальсоны, носки. Затем толстая шотландская шерсть, теплый пуловер под пиджак. Шляпа. Шарф. Пальто пока не беру, время пальто пока еще не наступило. Мало этого, мало. Твид согревает, но этого мало. Одежда, дабы показать, что я не абы кто, хотя и абы кто. Дабы хранить пред лицом крушения мира, напоминать, что я — отнюдь не абы кто.

Я это я. Константин Виллеман зовут меня, нравятся мне автомобили и элегантная одежда, не нравятся лошади, униформа и неудачники. Я — отнюдь не абы кто. Хотя и.

Только зря это, зря. Смотрю на себя в зеркало, я это, я, а мира больше нет, и в этом мире я больше не я, а если даже и я, то определенно абы кто. Даже в дорогой одежде, в дорогих ботинках. Абы кто. Именно.

Я выхожу. Дверь за мной затворяется с презрением. Смеется надо мной эта дверь старушечья, дверь Анелина, дверь не моя, даром что в ведении моем. Выхожу. Не вернусь. Не знаю еще, куда пойду, но сюда не вернусь.

Вышел, город не мой. В окнах нет стекол, а где есть, то заклеены крест-накрест бумагой, оконные кресты святого Андрея, на крестах этих жизнь наша распятая, а чаще всего слепая фанера и черные глазницы на месте выданных рам и выбитых стекол. Магазины закрыты, заколочены досками или разгромлены, вместо них уличный хандель, люди продают все: английские ботинки для верховой езды, расчески, лампы и продукты по ценам, за которые полагается стрелять. И какие люди: лоточники из пригородов, знает Бог откуда товар берущие, шикарные дамы, жиганы, мелкое жулье, подростки. Распалось общество, несть ни еврея, ни грека, ни леди, ни бляди, ни профессора, ни вора. Товары из раздолбанных складов, улов грабежа или обычного мародерства или свое подкожное, мир старый поплыл, лег на улицах на газету и в картонный ящик, порядок вещей поплыл, как распавшийся минерал, желанные в холодном октябре меха из подходящих гардеробов на улицу, с улицы в руки неподходящие, баба пробует продать кавалерийское седло, с чьего коня оно содрано, из-под чьей задницы вырвано, и на кой ляд кому уланская кульбака? Разве что на горб нацепить, катать немцев по улицам.

Еще и расстреляют.

— Тебя за это расстрелять могут, женщина, — сказал я.

— Коли не берешь, пан, то ступай, пан, ступайте!..

Пошел, значит. Как хорошо, что есть у меня деньги, а есть, потому как умный. Иду себе, значит, первым делом, умный такой, по Крахмальной иду себе, жидки суетятся, всё готовы отдать за дуляры и за золото, спешат и боятся до чертиков, а я иду, на жидков не смотрю, иду в Мировский Пассаж за хлебом, салом и яйцами. Половина лавок при деле. Цены безумные, кило хлеба за золотый семьдесят. Хлеб из муниципального распределителя по тридцать грошей уже ушел, уже разобран. А по рыночной хуже, чем у жида. Беру кило. Кроме хлеба покупаю кружку простокваши, гнусная кружка на шнурке, всем желающим

лотошник льет из банки молока на десять грошей, плачу, хрен с ним, с отпечатками гнусных ртов на жести кружки, пью, полегчает.

Не полегчало. У бабы шоколад, довоенный, двенадцать золотых плитка.

Двенадцать! Взял для Юрчика на три золотых, ломает грязными лапами как попало, в газету завертывает.

С едой в портфеле, ну не таскать же мне авоськи в руках, как кухарке какой-нибудь, я иду дальше. Если деньги есть, то все тебе будет, все можно пережить.

А были. Еще в августе, за неделю до мобилизации, закрыл счет в ПКО, немного там было, однако имелось что-то, итак, закрыл, такой он предусмотрительный, такой умный, купил золото по ценам хапужным, но довоенным, купил доллары и имеет нынче, и Геля также имеет, за что Юрчика накормить, вот о чем думал я с гордостью, минуя очередь в ПКО, специально крюку дал, чтобы полюбоваться на этот хвост до самой филармонии, по пятьдесят золотых одноразово выдают, люди глядят друг на друга волчьими глазами из-под полей шляп и во взглядах этих: санация, ворюги, полковники говенные, где наши, где мои деньги!

А у меня есть. Ведь я умный, а люди идиоты. Ведь ты умный, а люди идиоты.

Я дал крюку еще и потому, что в последний раз был в ПКО с командиром полка и майором Томашевским, заместителем, и ротмистром Хохлом из пулеметного эскадрона, в день капитуляции, но до объявления еще, Томашевский получил Virtuti, и Хохол Virtuti, а я получил Храбрых, ни за что, мы, значит, в ПКО, под землей, я тактично сзади, немой, поскольку генералы: Руммель, Кутшеба, Токарежский, Чума встали над картами, курят сигареты, пораженцы, капитулянты, неудачники, просрали Польшу, но стоят над картами, застегнуты под подбородки, ошейники из серебра, генеральские пукалки в кобурах малых у жопы, дамские вальтеры или браунинги, аккурат такие, чтобы пальнуть себе в лоб, но что-то никто не пальнул, хотя сдали всё, что могли сдать, не одну лишь пуговку от плаща.

Наш полковник токовал с начальником штаба Руммеля, вопрос капитуляции решен, да, а мне страшно хотелось достать пистолет и отстрелить эти генеральские бошки, одну за другой.

А сегодня и след генералов простыл, одни люди в очереди за своими пятьюдесятью золотыми стоят.

С едой в портфеле я иду в Европейский, к Лурсу, послушать, что говорят. Что болтают, что талдычат, стучая челюстями, будто поминая дядюв жестянкой о тротуар. Да и хрен, иду, я к Лурсу иду, чтобы оттянуть еще чуточку то, что вот-вот наступит. Сорок девятый день м-трезвости, в конце концов.

Вхожу. Внутри давка невозможная, в основном — офицеры. Часть делает вид, что они это вовсе не они, но морду унтера издалика видать, морду, не морды, потому как у всех у них одна морда унтерская, полковничья, майорская, капитанская, господа паны, так шла



эта бритая морда змейкам на высоком воротничке, тени лакового козырька фуражки, теперь торчит вот печально на тощих или толстых шеях, над грязными воротниками партикулярных рубаш, над серым или коричневым платьем, Бог знает откуда выкопанным. Длинный Фалинский в тряпье, видимо снятом с карлика, рукав пиджака застрял между локтем и запястьем с белой полоской от часов. Толстяк в углу выпучивает жирным торсом свой пиджак как лопнувшую кишку жареной кровяной колбасы, едва стянутая на пузе рубашка ровными эллипсами между пуговицами открывает волосатый пирог тела.

Прочие — в форме, точнее в полуформе, штатские пиджаки при галифе, плащи армейские, зато увенчаны шляпами. Защитники Модлина, этим нечего прятаться. Да и от кого прятаться, немцев тут нет, немцы по кафе не ходят.

Все, разумеется, желают быть со мной запанибрата. Не то чтобы они желали быть запанибрата со мной лично. Здесь все запанибрата, но они сочли, что я себя включаю в это их “все”.

И талдычат: Франция, мол. Сикорский, мол, власть, а Рьдз интернирован, санация то, мол, санация сё. Клинический идиот за столиком у окна вещает, что Польша должна принять форму духовную, стать государством духа и в духе же возродиться, как страна без неравенства и притеснений, как земля просвещенных граждан, объединяемых любовью к добру, красоте, прогрессу, Богу, справедливости и дружбе.

И к анисовым конфетам, непременно. Я именно так себе представляю, что должны быть анисовые конфеты, розовый ликер и кокаин. Выбираю столик в другом конце зала, иначе пришлось бы в пасть ему влепить, к тому же в другом конце сидят за бутылкой водки Рудзик с Малиновским, и я сажусь с ними.

А они о своем. Вставать на учет или нет? Объявление Кохенгаузена позавчерашнее читал? Я читал. Вчера фамилии от А до К. Завтра — от L до Z. Рудзик говорит, не встанет, мол, Малиновский колеблется, но и он, пожалуй, нет. Если встанешь, то каюк, отправят в лагерь. А может, не отправят? И тоже: Франция, Франция, Франция, немцев лупить.

— Не налупились еще за три недели? — спрашиваю. — Мало огребли?

А они о своем. Санация и санация, покарать и рассчитаться.

— Кого покарать хотите? — спрашиваю. — Маршала? Могилу ему обоссать?

— Не выйдет, караул стоит, — серьезно отвечает Рудзик.

А они не слушают. Слушай же, Костек, это ведь просто, до Кракова так-то и так-то, из Кракова до Будапешта так-то и шмяк-то, а то через Татры на лыжах так-то или опять-таки так-то, а в Будапеште если и задержат, то якобы из министерства гонимых помогают очень, помогает министр Барта, так что задерживают и сразу отпускают, а как отпустят, то до Констанцы так или сяк, там на корабль и Средиземным морем до Марсея, а там уже новая армия, союзники дают нам танки и всё нам дают, станем немца лупить, большевика станем лупить, za wolność naszą, ура, на Берлин, мы такие! Виват! Виват!

— Хотели бы дать, так не проще им было в августе дать? — спрашиваю.

А они глядят на меня из-под строгих бровей глазами злыми, интересно, хотят ли уже швырнуть это слово или еще нет, глядят, значит, а я смотрю в их глаза как в окна с полосками бумаги крест-накрест. Швырнуть-то хотят, легки на швыряние, но не швырнут, боятся, жизнь уже сложна крайне, чтобы товарищеские суды к ее сложностям добавлять. Так что нет.

Рудзик достает газету.

— Что это? — спрашиваю.

Рудзик пожимает плечами. Ну а что это может быть? Новый “Курьер варшавский”. “Курьера варшавского” больше нет, нет его, был он, вероятно, старым, а тут нате вам, первый номер. На первой полосе: “Важные разъяснения касательно событий, предшествовавших германо-польскому конфликту”. Рядом: “Черчиллизм. Интересная статья Бернарда Шоу”. Ниже. Францишек Совинский. Не знаю. Наверняка псевдоним: боится парень, что никто руки ему не подаст, коли немцам прислуживает.

К нашему столику подсаживается гость в плаще, они с Рудзиком жмут друг другу руки, как старые друзья. Сразу видно: офицер, одни офицеры тут.

Смотрит на меня. Низкий, живот мячиком, а лицо худощавое.

— Калабинский. Полковник.

Лапу протягивает, я лапу пожимаю

— Виллеман. Пьяница, — отвечаю. Оба смеются, Калабинский и Рудзик.

— Подпоручик у нас шутник, — говорит Рудзик, чтобы у гребаного полковника ни на миг не возникало сомнений, что он беседует с офицером, пусть даже явно с младшим и с резервистом, но офицер есть офицер.

— Полковник тоже из Силезии, — добавляет.

— Из Сосновца, — уточняет Калабинский. — Пан силезец?

— Нет, — возражаю. — Варшавянин. Правда, родился в Силезии. Дальше не рое, по счастью, не кроет.

— Страшно мы дрались в Силезии, — говорит он не мне, а как бы в пространство. — И после все время. Ты, пан, дрался?

Смотрю на него так, чтобы видел мое нерасположение.

— Только в кнайпах с сутенерами, если курва мне даром не давала, — отвечаю.

— Эх, пан Виллеман дрался в девятом уланском! — спешит с разъяснением Рудзик, неуверенно улыбаясь.

И наливает Калабинскому стакан. Тот выхлестывает.

— Забавная вещь вспомнилась, — говорит он, будто водка его моментом разожгла, но голос вдруг понизив. — Были мы раз в Стопнице, в местечке, одни, в общем, евреи кругом, а по дороге автобус, набитый немцами, как начали мы их бить, а после выяснилось, что это музыканты. Военные, в форме. Но автобус как решето, музыканты

тоже, трубы пулями, пан, продырявлены. Глухая история, винтовок у них не было, только эти трубы.

Меня тошнит.

Водку допиваю, адье, иду, нечего мне тут.

Франция, Франция, некросубстанция, учет-неучет, санация, коалиция, мобилизация, дератизация, трубы, трупы, лошадиные крупы. К черту.

Иду. Пора проверить, как поживают Геля и Юрек, узнать, побаловать, похлопотать, но прежде кое-что для души. Так что на Уяздов, в госпиталь. Точка. Ухожу. Точка.

Я ухожу от Лурса, пришлось уйти, иначе доконало бы меня поражение, тошнить меня стало от этого поражения, так что ухожу, ухожу. Точка.

Город мой не мой, продырявленный, иду Краковским предместьем, взвод евреев с лопатами шагает, по трое шагают жидки, бородастые, кипастые и в халатах, штук тридцать их, на работы какие-то идут, их эскортируют три немца, мундиры как у военных, но не Wehrmacht, полковник меня научил: лишь у Вермахта есть немецкие орлы на левой груди, на других мундирах их нет. А мундиров много. У этих нет, значит, не Wehrmacht. Пес их знает, что за другие. Polizei какие-нибудь. Или SS. Люди расступаются, отворачиваются, жиды с немецким эскортом шагают посреди разрушенной улицы.

А я дальше иду, иду по Новому Святу, на Новом Святе еще недавно видал такие же колонны с лопатами, в костюмах и шляпах, добровольные защитники Варшавы шли рыть окопы, а нынче одни могилы там, где когда-то была дорога, крестьянские телеги вместо трамваев, нет трамваев, нет автобусов, есть телеги, едет себе такая, а в ней спокойно сидят пятнадцать варшавян в пальто и шляпах, портфели на коленях, вот-вот закинет такой ногу на ногу и станет газету читать, или лучше “Ведомости”, словно бы он на такси в Атенеум на премьеру нового Шанявского ехал. На стенах вместо афиш — записки.

“Юзефу Марецкому жена и дети. Юзик, дом разрушен, мы у Стасей на Грохове, ждем”. “Продажа выставочных голубей, ул. Вербная 14, спросить Анджея”. Вербную сожгли, я был еще до капитуляции. Сотни записок. Перед записками люди, ищут, читают. Пани начнет тут, я там, если пани увидит что-то насчет Мариана Ковальчика, то будет так добра сказать, а пани кого ищет, я тогда тоже посмотрю? А сколько лет? Горе, ах, горе.

Дальше — шел. По Сельской. Никого не ищу, никто меня не волнует, только Геля и Юрчик, а им надежно в нашей квартире. Плиты скрыты, на тротуаре грязь, башмаки тотчас гваздаются, на улице телеги и грязь, за две недели на двести лет назад. Баррикады из плит на скорую руку пробиты и разобраны, но павимент в порядок никем пока что не приведен.

Опять двое немцев, солдаты. Пальто, ремни, пилотки. А люди смотрят, как будто минуту назад те двое изнасиловали, убили и съели их мать. Может, чью-нибудь и убили. Может, у кого-нибудь даже

изнасиловали, кто знает. Но что съели, не думаю. К тому же эти наверняка не убили даже, летчик убил, самолет убил, бомба убила. Солдатики, юные такие, глаза немного испуганные, без оружия, ну так что ж ты ходишь по городу, который твой генерал занял, ведь не ты его занял, занимает генерал, а ты просто ехал на грузовике или пер пехотой, потом бежал, укрывался, стрелял, дергал затвор, стрелял, в кого стрелял-то? Стрелял в кого приказали, а потом с той стороны перестали стрелять, генерал дал вам водки, а сейчас тебе кто-то еще в лоб даст, потому как не генералам же, не Кохенгаузену, коменданту Варшавы, не Браухичу, не выдержит кто-то, в лоб солдатакам и Вася-кот.

Иду, стало быть. На стене: Bekanntmachung! Слева готикой, справа: “Извещение!”. Черный орел посредине, изысканно. Wird mit dem Tode bestraft<sup>1</sup>.

Зацепило меня перед этим извещением. Я читал немецкую часть. И вдруг озарение. Wird mit dem Tode bestraft. Так говорил папа, это язык моего папы, немецкий, конечно же, тоже, но не только, именно так говорил мой молодой папа. Не про смертную казнь, но: Konstantin, wenn du unartig bist, wenn du dich schlecht benimmst, dann wirst du bestraft!<sup>2</sup> Говори по-немецки, Konstantin!

Поплохело мне. Нужно идти, нужно идти за кое-чем для души.

Шел, стало быть. Получасовая прогулка и вуаля — Уяздовский замок. Кое-что для души. Корпуса забиты: лежат раненые, лежат, стонут, лекарств не хватает, болят их раны огнестрельные. Выглядит паскудно. Не знаю, что меня больше мучит: факт, что всем этим славным парням больно, лежат они тут и им больно, бесславным тоже больно, или же меня мучит именно то, что Яцек может не дать, поскольку заест его совесть. Не дарить на потеху, а даровать этим парням облегчение. Славным и бесславным.

А может, меня бы совесть заела? Впрочем, может и не стоит. Ищу доктора моего, спрашиваю хорошенькую блондинку-медсестру с попкой такой круглой, будто никакой войны нет, та мерит меня взглядом, медсестра, не попка меня взглядом мерит, но слишком устало, чтобы интересоваться мужчинами, жаль ее попки, мучится попка от этой войны. Погладить, обнять, шлепнуть и укусить любовно, вот бы чего ей, а не бега с судном и корпией. Но — война. Сложно. Так что спрашиваю медсестру, а она не знает, где доктор Ростаньский, и уходит, в полуобмороке.

Присел на подоконнике у высокого окна и в кармане пиджака с удивлением обнаружил нечто твердое: портсигар, о котором позабыл. Открываю с надеждой: внутри три сигареты! Прошу у проходящего мимо раненого спички и кюрю. Табак пересох, дерет горло, но

1. Карается смертью. (Здесь и далее перевод с немецкого Михаила Рудницкого.)

2. Константин, если не будешь слушаться, если будешь плохо вести себя, тебя накажут! (Нем.)

хороший, из другого мира, три дня я не курил, ибо думал, что нет у меня больше никаких сигарет. Размышляю: заест ли меня совесть?

Это ведь все-таки тем продырявленным парням полагается, во мне сделать дырку немцам не удалось, хотя целая лавина стали и свинца, на меня нацеленная и науськанная, изливалась в меня металлическим потоком, но не дошла, не попала, ей не удалось, им не удалось.

Оттого заедала меня совесть. Но когда докурил, то продолжил искать доктора Ростаньского в больничных коридорах и нашел. Тень Ростаньского я нашел. Изнуренный, исхудавший сильно, килограммов десять, под глазами круги, из себя синевато-белый, но мне обрадовался. Яцек, мой Яцек.

Обрадовался в первую секунду, едва меня увидел, потом взглянул еще раз и понял, и сразу ожесточился, замкнулся в негодовании.

— Исключено, — бросил он холодно, как только мог, то есть очень холодно, но не слишком, не так, чтобы я отступил.

— День добрый, Яцек.

— Ты не денькай и не яцкай мне, Костек. Я знаю, зачем пришел. Не дам, исключено. У меня совсем ничего нет.

— Есть.

— Нет.

Отвернулся и пошел прочь, будто не хотел со мной общаться вообще. Знал, что я не уйду, знал. Но даст, знаю, что даст. Я за ним, значит, в кабинетик, он попытался закрыть передо мной дверь, но я пролез внутрь. Знаю, что есть, обязательно есть заветная заначка где-нибудь, вне ведомости есть, сладкие бутылочки, не внесенные ни в один реестр. Ебись она конем, ведомость, кого сейчас волнуют ведомости, немцы пришли. Точка в ведомости.

— Дай, пожалуйста. Не могу, не выдержу этого всего, пальну себе в лоб.

Глядит на меня испытующе. Яцек, мой Яцек. Гиацинт. Ростаньский. Дорогой. Миг целый думает, и впрямь мог бы, мог бы я пальнуть?

— Ты куда-то пистолет спрятал, идиот? — Молчу. Со значением.

— Не дам, не юродствуй, у тебя жена, сын. Нету, а и был бы, не дал бы все равно. Не дал бы, потому что он мне здесь нужен. Для раненых, до холеры ясной.

— Хоть пару бутылочек дай, Гиацинтик золотой, умоляю, — говорю, но не унижаюсь, слова мольбы, а тон твердый.

Он вздохнул.

— Могу дать первитин, — ответил он, и я знал уже, что он уступит. — У немцев купил, по-черному.

— Не хочу холерного первитина.

— Но у меня только первитин.

— Неправда. Для чего мне первитин? Для чего тебе первитин?

— Не знаю. Продавали дешево, я и взял. Другого ничего нет!

— Есть.

Он вздохнул. Помолчал. Я знал уже, что он даст. Прежде я тоже знал, что даст, но теперь я знал крепче. Он помолчал еще мгновение. Покрутил головой.

— Идиот ты. Дам тебе одну. В последний раз. Пока не закончится война.

Я обнял его, хоть он и вырывался, поцеловал в обе щеки, волшебную бутылочку вынул мне Яцек из сейфа, я сразу спрятал ее в карман и обнял его снова, затем повернулся, чтобы уйти.

— Костек... — начал он, когда я уже стоял в дверях, чужим голосом. Я обернулся, он смотрел на меня, начатая было фраза повисла в воздухе.

— Костек... — повторил он.

— Ну?

Он боялся. Фраза еще немного повисела в воздухе, но он не решился ее завершить, просто махнул рукой.

— Я еще займусь ею, дружище, клянусь тебе, — сказал я весьма задорным голосом, словно обращаясь к солдатам на построении. — И она отыщется, определенно отыщется. Люди сейчас постоянно отыскиваются.

Яцек снова махнул рукой, а я вышел и уже за дверью услышал, как он ложился на кушетку, как скрипнули пружины не под тяжестью его тощего, щуплого мальчишечьего тела, но под тяжестью беспокойства и страха, и скорби. И тоски.

Я твердо обещаю себе сдержать клятву, бросить клич, я мог бы это давно сделать, у Лурса, но как-то вылетело у меня из головы, потому что с утра я был сосредоточен лишь на том, что трезвость кончилась, ну и вылетело как-то. Позорно вылетело, но вылетело все же из головы, жена друга моего, Ига, Ига...

Но я займусь, я поищу, поищу.

Итак, угрызения совести были налицо, но, когда я вышел в город, к городу не моему вернулись краски: бутылочка у меня в кармане излучала его новые цвета, освещая дома с выколотыми глазами, дома со снятыми скальпами крыш и дома с выпотрошенными квартирами. Я знал: еще сегодня я забуду все те оттенки серого, сегодня я убегу туда, где не догонит меня ни немец, ни большевик, ни наш полковник, ни патриотичные матроны меня не догонят, ни старцы, еще помнящие Январское восстание, меня не достанут, пусть даже потрусят галопом со своими тросточками, бекешами и конфедератками, не достанет меня там ни будущее нации, ни ее прошлое, не достанет электрификация, детекторное радио и растянутые на деревьях антенны в селах, ни крестьянский вопрос не достанет, ни парцелляция, ни демократия, ничего. И не достанет меня там отец, тот, каким запомнился мне еще перед той войной, с его светлыми чахлыми усиками, шипящий имя мое сквозь сжатые губы.

— Konstantin! — шипит мой юный отец.

Не достанет меня там, не схватит меня из могилы.

Шел, стало быть, легко по Сухой и Пулавской, дрались мы неподалеку две недели назад, а сегодня иду себе могилами товарищей и по крови наших лошадей и даже готов насвистывать. Я подумал, что надо раздобыть велосипед, и пришел наконец на Мокотов, к Геле и Юрчику, в нашу каменицу от Веделя, современность и модерн, гладкие стены, без карнизов, без каких-либо рустик и волют, современность аэроплана и люкс-торпеды. Я взглянул на часы, часы отца, Елеста-двенадцать-красным, с прошлой войны, часы отцовы, запястье мое: на циферблате пять. Успею посидеть и вернуться вовремя. Я стоял перед нашей каменицей и думал, что Геля может прощупать мои карманы. Я бы мог бутылочку где-нибудь спрятать, в подъезде или на лестничной клетке, но расстаться с ней было выше моих сил, не сейчас. Я посмотрел вверх. На третьем этаже горел свет, теплый свет, в этом свете на диване сидит Юрчик и рассматривает альбом про животных или строит замок из кубиков. Когда я постучу в дверь, Геля догадается, что это я, кто другой позвонил бы в электрический звонок, поэтому она разволнуется, ведь это опасно, я в ее представлении беглец, и каждый немец в городе лишь тем и занят, что ищет меня, а Гитлер с Гиммлером визжат в трубку: “Поймайте нам этого Костека Виллемана, и побыстрее, ублюдки! Эй, великаны! Поймать, потом пытаться, потом расстрелять, потом повесить!” Смеюсь себе под нос, собственным шуткам смеюсь, хорошо мне. Итак, сначала Геля разволнуется, чего я вообще пришел, затем подумает, что я пришел пьяный или же в кейфе, зыркнет в глазок, сразу поймет, что я трезвым пришел, и только тогда обрадуется. Обрадуется и воскликнет: “Юрчик, папочка, папочка пришел!”

И Юрчик подбежит к двери, Геля откроет, втянет меня спешно внутрь, чтобы никто из соседей меня не заметил, а я Юрчика на руки возьму, расцелую, спрошу обо всем, он мне расскажет по-своему, весь ералаш, думаю, про мишек, про маму и про то, что они на обед сегодня кушали, дам ему сразу шоколадку, а Юрчик ее целую съест, измажет щечки.

В квартире тепло, я еще в августе устроил большой запас угля на весь огромный дом, где-то кто-то мерзнет, а в нашей центральной котельной огонь, и в каждой квартире тепло. Тепло, потому как устроил, чтобы было тепло, я устроил.

Итак, тепло. И так тепло, что придется снять пиджак, пуловер. Я бы мог бутылочку в кармане брюк спрятать, но Геля, едва Юрчик убежит в другую комнату, обязательно прильнет ко мне телом, положит ладонь мне на грудь, затем опустится ладонь эта ниже, вниз, под ремень, низом живота скользнет, потом ниже, глубже. И почувствует бутылочку.

Так что надо бы спрятать. Но если войду, то после должен буду прямо к Анеле идти и спать, что ли? Сидеть на кухне, на кухне сам с собой, себя самого слушать, чёрта ли?

Юрчик. Геля. Любимая Геля. Неделю их не видел, ровно неделю. У меня шоколад для Юрчика, маленькому полезен шоколад, худень-

кому особенно. Юрчик папочку всего обнимет. Стишок прочтет. Кто ты? — Маленький поляк! Орел белый — Вот твой знак! Геля учит его, я даже не протестую, хотя это дико глупо, а в такие времена безответственно даже учить трехлетку такому чудовищному китчу. Какой из трехлетка поляк, трехлеток это всего лишь полулюдь, полужверюшка милая, мартышка, никакой не поляк. Но раз Геля считает это важным, пускай учит, пускай слушает отца или мать, что приходят к ней через день и травят ее своей патриотической нудью. Долг. Польская женщина, мать, гигиена. Грядущие поколения. Дети важнее всего. Дети как будущее нации. Физика, евгеника и черная Африка. Ладно бы Юрчик, внучек, воплощенное в белокуром херувимчике очарование, нет же — дети. Польские дети, ебись они конем.

Ощупываю карман. Там, да, золото мое, жизнь моя.

Разворот на месте. Еще успею до семи на Повисле, а за полчаса до комендантского меня на улицу не вышвырнет ведь. Сколько же я там не был, два месяца, а как полжизни, хотел не ходить, но пойду в конце концов.

И снова: Варшава, город уже не мой, хорошо, что не льет, иначе не одни башмаки, но и брюки до колен изгваздал бы. И всё тогда, в изгвазданных брюках не явишься.

Принес бы цветы, но где нынче цветы взять? К ней без цветов не того. Хризантемы подошли бы.

Да и чем хризантемы плохи, в общем-то? Оценит, дважды оценит: то, что принес цветы, раз, два, что хризантемы, кладбищенские цветы, мрачные цветы, она и раньше бы оценила, пока все к чертям не пошло, а теперь еще больше оценит.

И, топи преодолевши, стою наконец перед ее домом. Хризантемы при мне, украл у покойника, из-под деревянного креста из штакетника, с французским шлемом в наверхии, каской Адриана, а небрежно вцарапанные в дощечку буквы гласят, что здесь лежит кпр. Гловинский, 30-я пхт. Зачем капралу хризантемы? Пан капрал мертв.

— Ты, пан, мерзавец, — шепнула мне дрожащим от негодования голосом дама, слегка уже деклассированная, в пальто с меховым воротником из дешевой нутрии и с тонким лицом. Из тонкости его делаю вывод, что скоро этот меховой воротник исчезнет. Широко ей улыбнулся, чтобы поняла, что, когда бы я немного постарался, то к вечеру она была бы моей. Тем более если я подкреплю свое очарование обещанием сытного ужина. Могу себе позволить, даже сейчас, она же как сказать.

Но я пошел дальше, и вот стою перед столетним доходным домом на Доброй, на углу Доброй и Радной, стою перед каменицей, элегантной снаружи, с перекрытиями и лестницей, и перилами из трухлявого дерева внутри, каменица беленая, а чрево ее точит древесный червь и червь людской, протачивает коридоры в затхлом воздухе, взошел-таки по гнилой лестнице на третий этаж и стою перед дверью. И я постучал, чуть надламывая корку отслаивающейся



краски. Никогда не звоню, ненавижу электрические звонки, они хороши для пожарных или воздушной тревоги, не для человека культуры, пришедшего в гости. В гости к своей любовнице.

А как поступал: сто вопросов. Живет ли здесь еще? Бога ради, жива ли еще? Мы виделись в августе, два месяца назад, ах, давно. Может уже не жить. А если живет, то здесь ли? А если здесь, то дома ли сейчас? А если дома, то одна ли? А если одна, то не ожидает ли кого?

Тишина.

Новые вопросы: а если посмотрела в глазок, она умеет так тихо, что бесполезно прислушиваться, увидела меня и не хочет открывать? Стучу еще раз, и на втором ударе дверь дрогнула.

— Ты пришел, Костя... — прошептала она.

Было в этом шепоте желание, обещание, радость, как всегда, когда я заходил к ней. Но было и кое-что еще, и это была любовь.

Увы. Любовь. В первый раз. Так мало нужно было: два месяца врозь и гитлеровская придумка вломиться в Польшу, и наш двухнедельный позор, так мало — и уже Саля любит меня. Напрасной любовью. Я знаю точно, после этих трех слов я знаю: любовь. Слов, низким голосом произнесенных, с придыханием, значит, любовь. Бесполезная. Но сейчас у меня нет ни сил, ни времени, чтобы снисходить к этому напрасному чувству. Я, конечно, не стану сейчас его гасить, сейчас нуждаюсь в простом утешении.

— Саля, — прошептал я.

Впустила. Сколько раз я хлопал этими дверьми, сколько раз она выгоняла меня из квартиры, сколько раз скулил под ними, прося впустить, а у нее сидел хахаль, которому я, без вины виноватому, вбивал затем в морду кастет и спускал его с лестницы, затем лишь, что наши вкусы совпадали и что он тонул в огромных глазах Сали, моей Саломеи. И как пить дать, не только в глазах.

Отдал цветы.

— С могилы.

— Живем на кладбище.

— Да. Красивые. Проходи, садись.

Я вошел. Она поставила цветы в черную вазу, взглянула на часы, все поняла.

— Останешься, на ночь останешься! — крикнула, хлопнула в ладоши.

Я сел. Вынул из кармана бутылочку, положил на стол. Для двоих — маловато, но Саля удовольствуется меньшим, и как-нибудь хватит. Одному мне не хотелось. Наедине — да, с морфием ты всегда одинок, но не один.

Она улыбнулась.

— Тут у мне бутылка старого бургундского. А ты меня нарисуешь сначала?

Я предпочел бы сразу отправить содержимое бутылочки Яцека в плавание по моим венам, но я не откажусь, ей причитается.

— Откуда бургундское, сука? — спросил все же, слегка ошестинившись, потому как бургундское ей мог принести только другой какой хахаль.

— Из подвалов замка добрые люди принесли. Президентский бургунд. Лучше ж мы выпьем, чем германцы бы выпили, правда?

Я пожал плечами, потому что, едва ответила мне своим контральто, понял, что мне плевать, пивали мы уже вина из президентских погребов, еще в казармах шеволежеров, мадеру такую старую, что хоть ножом режь. Хахаль ей принес, ну что теперь?.. Он принес, Костек выпьет.

— А ты меня нарисуешь? — спросила она со своей мягкой интонацией, как степь от Днестра до Дона. — Так? — указала рисунок над дверью, первый мой рисунок Сали, сделанный мной в первый день нашего знакомства, как раз перед тем, как она стала моей любовницей.

— Здесь темно.

— Тогда здесь тоже темно было.

Было. Мы познакомились в Адрии, за столиком Ярослава, и она пригласила меня к себе, чтобы я ее нарисовал. Естественно, я счел это незатейливым намеком, побежал за ней без промедления, да хоть бы ради ее медных прядей, она же, когда я зашел в ее квартиру и не обинуясь приступил к делу, остановила меня смехом, момент, мол, успеется, в первый раз усадила меня на стул, вручила мне планшет с картонкой приклепленной, дала сангину в руки, а сама уселась на софе, не разделась, а лишь расстегнула блузку, спустила вниз бюстгальтер, обнажив грудь, и высоко задрала юбку по самые ляжки, расставив ноги, трусиков на ней не было, один пояс для чулок. Словно бы сошла с картонов Эгона Шиле. А я смотрел не на нее саму, не на чудную рыжую евреечку или русскую, не знаю, кто она, я не на нее смотрел, не она передо мной сидела, не эта вроде-актриса, муза и вакханка, менада, о которой Виткаций однажды сказал мне, что она святая шлюха и ни на одно тело шампанское не льется так, как на ее тело, так что она не сидит передо мной, а сгущенная женственность, не отблеск идеи женственности, которым является каждая женщина, но женственность как таковая, в сущности своем принявшая телесный облик.

Рыжими штрихами я делал ее тогда, так похабно расставившую ноги, прекрасную, ибо она превзошла все пределы похабства, что не было бесстыдным, лишь нестыдным, и в этом нестыде была прекрасна, будто вообще не ведала стыда, будто ее одной не коснулось изгнание из рая, будто была особым племенем фемин, сестрой Евы, что осталась в раю и заказала рамку для этого рисунка и повесила над дверью, задранная юбка, темная пизда, Urheimat мужчин, и руки на белых бедрах, у самой промежности, как если бы раздвигали сами безвольные ноги, тяжкие груди, неловко вылущенные из лифчика, как из лопнувшего стручка, все мягкое, лица почти не видно, голова запрокинута назад как в экстазе.

Рисунок нехорош — ни композиции, ни хорошо проработанных деталей, ни хорошей линии, но есть в нем правда о Сале. А раз уж правда о Сале, то и о женщинах в целом.

Геля тоже каким-то образом в нем присутствует. Даже любовь моя к Геле, к телу ее здоровому, как греческая статуя. Все мои любовницы есть на этом рисунке, все, хотя их не так уж много было, как по доверенным слухам, от которых я должен был беречь свою жену и, видимо, не уберег. На Салю слухи о моих похождениях действовали как афродизиаки, правдивые и ложные. Салья не чтит мужской верности, но умела ценить — не практикуя — верность женскую. Однолюбцев она считала немужчинами, инвалидами мужественности, была к ним холодна, ни разу не пыталась соблазнить, снисходительно на их ухаживания глядя, как учитель музыки на ученика, что на втором занятии посягнул бы на Страдивари. Зато нередко сводила их с подругами, каковых имела во множестве и каковых презирала.

Иное дело Геля с ее представлением о любви, почерпанным из чтения в пансионе, мужчина был животным для Гели, не признавала даже повторные браки вдовцов, в слепую ярость приводили ее слухи о том, что такой-то отец семейства повадился в бордель, а особенно комментарии, мол, так оно лучше, в бордель-то, чем тратить гораздо больше денег на какую-то пессию, денег, что по праву принадлежат законной жене и детям. Знакомому, о ком шла молва, могла в припадке правдолюбия закатить бешеный скандал, и несколько знакомств прервались таким образом.

Узнай она о моих любовницах, что тогда? Сделался бы для нее животным, но знаю, что лишь тогда родилась бы в ней подлинная страсть ко мне, зализывающая раны умершей любви, я думаю, что все женщины одинаковы: католички, суфражистки, бляды, монахини, тупые пейзажки, арфистки, готтентотки и шведки отличаются лишь поверхностью, но не сутью, и отвращение Сали к верности и отвращение Гели к неверности суть одна и та же эмоция, один и тот же принцип, сущность великой всеженщины. Мужчины, впрочем, тоже все одинаковы, но не о них речь. Геля, стало быть, делала все, чтобы не узнать о моих любовницах, а мне раз пришлось дать Сале пощечину, когда во время какой-то ссоры она уже заказывала через коммутатор наш номер, чтобы по телефону во всем признаться Геле. Набросилась на меня тогда с кулаками, а когда я схватил ее за запястья, припала ко мне всем телом, распаясь, что кошка в течке, искусила мне губы, и я не мог вернуться домой, ну как объяснишь кровотокающие губы?

А теперь Салья дает мне уголь, картон, реквизиты нашей страсти. И ждет, вижу, что уже возбуждена, глаза ее светятся, свежее облизанные губы блестят.

— Разденься, отвернись и наклонись.

Ни разу не нарисовал ее лица, в лучшем случае контур щеки и самый кончик носа в полупрофиле со спины или подбородок откинутой головы.

Лик Сали. Прекрасный красотой Бейрута, Иерусалима и Дамаска, хотя кожа ее светла, так что, может, красотой Калабрии, Сицилии и Крита, он не является темой наших рисунков. Я не рисую ее лица, мне даже неприятен вид ее лица, плевал я на ее лицо. И сегодня, после долгой разлуки, я именно так ей велю, ибо Саля не любит, когда ее просят, спрашивают или угождают ей. Саля хочет слышать приказы, которые может немедленно выполнить, она может быть лишь с тем человеком, чью волю и силу слышит в повелениях. Мужчина просящий, молящий есть для Сали немужчина.

— Оставь туфли, пояс и чулки.

В квартире холодно, а на рисование мне потребуется время, но такие неудобства Саля сносит без единого возражения. И мне приятно, когда после кожа ее холодна, будто я ласкаю камень.

Стоит неподвижно, ноги на ширине плеч. Крутые ляжки с патетичными арками кружев, стройные икры, мощные бедра, тяжелые ягодицы, линия позвоночника выгнута как под долотом резчика, застыла недвижно, как застывала посреди академической залы, в окружении студентов и студенток, но те рисовали женщину, я же рисую женственность.

Когда уголь начинает по-другому скрипеть о картон, когда я заканчиваю рисунок — она слышит это, и ее бедра начинают двигаться, моя кровь бушует и мысли о бутылочке, полной добра и счастья, на миг уходят, так как кусочек этого добра и счастья, его залог я уповаю найти там, между ее белыми полными ляжками.

Потом, после всего, Саля нагая, грудастая прячет себя в пухлую папку, на которой печатными буквами написала мое имя: Константин. Есть еще несколько папок, но я в них никогда не заглядывал. Картонный Костек полон разных Саломей: за Салей нагнувшейся, в чулках, с откляченной попой, следует Саля на стуле, der blaue Engel, правда, голая и в моей шляпе, за ней Саля в профиль, лежащая на спине, вздымая бедра, груди стекли набок, линия воздетых ягодиц, густая поросьль указывает на смысл и сюжет этого рисунка, за ней Саля в патетичной перспективе, подошвы стоп на первом плане, за ними раздатые ляжки, меж них врата прародины и далее ягодицы, далекие плечи и в глубине арки сплетенных на затылке пальцев. Это разные Саломей, углем или сангиной, одна из них тушью, я помню все: но Саломея во плоти, а вернее в теле, эта Саломея, более или менее подлинная, берет алюминиевую шкатулку, хорошо мне известную, баюкающую внутри на красном бархате стеклянный шприц в корпусе из нержавеющей стали и позолоченные иглы, мы разделим морфин в бутылочке по объему, две пятых Сале, три пятых мне, первая часть для меня, себе инъекцию Саля сделает сама, я это не очень, но сначала она открывает бургундское, подкладывает мне под плечи подушки, спрашивает, удобно ли, я пью, совсем голый, а она стягивает ленту на моем предплечье, туго, как опытная сестра находит вену, хлопывает ее, вводит под кожу золотую иглу и медленно толкает поршень. Я вижу еще, как ее

губы обнимают меня, как она целует меня так, как я никогда не позволяя целовать себя Геле.

Потом. Я тону в тепле. Бургундское парит. Рядом с моим собственным телом мое тело Сали. Оба моих тела наги. Мой язык Сали облизывает иглу. Всегда облизывает иглу. Текущее в мое тело Сали тепло. Текущее счастье и мое тело Сали возвращается к поцелую.

А я падаю. Саля накрывает два моих тела перинами, перьями, прикикает ко мне, я падаю в теплую, мягкую тьму, темную, как любовный спазм, впаянный в часы Сальвадора, темную, как размякший теплый свинец, внизу живота моего родится восторг, он набухает и лопается, и проливается каскадами блестящей тьмы, в легкие, в горло, в пах, в уд, к ногам, к кончикам пальцев, и выливается из меня и облепляет мир. И все проявляется и все гаснет.

Гаснет Варшава. Моя жизнь гаснет. Гаснет мать, Яцек, Геля, Юрчик гаснет, гаснет в памяти отцовское Konstantin! Гаснет отец, первый образ его, мне памятный, гаснут его серый мундир и шлем с четырехугольным уланским верхом, гаснут сапоги уланские, лицо дочерна загорелое, гаснет мать, гаснет их громкая двуязычная ругань, из тех лет, когда они еще любили друг друга, и гаснут вежливые выпады на языке змей, из тех лет, когда они ненавидели друг друга, гаснет Варшава, какой я видел ее в первый раз, из окна купе вагона первого класса, гаснет первый поход в новую школу и гаснет Варшава, какой я видел ее в последний раз, час тому назад, все то, что промежутом, гаснет, средняя школа, аттестат, гаснут курсы и Грудзёндз, кони, шашки и практика в Теребовле, гаснет вино, распитое с русинскими девчатами у памятника Зофье Хшановской перед теребовлянским замком, и гаснут все полковые игрища, со времен Коморовского еще, даже предплечье, сломанное при попытке въехать верхом на стену замка, гаснет, серебряный бокал для шампанского, именем моим гравированный, гаснут Оазис, Парадиз, Земянская и Адрия, гаснут звезды, с какими я был знаком, Ярослав сахарно глядит на меня у Шимона и Виткаций масляно глядит на Салю, дурная дуэль с Ростаньским гаснет и гаснет фарс, каким она обернулась, гаснет Ига, которую Ростаньский отбил у меня или я ему отдал, не помню, угасло ведь, и гаснет моя с Гелей свадьба, гаснут дурные сабли у нас над головами, и наша первая ссора, я ведь не хотел этих сабель, а Геля даже очень, и уговорила друзей за моей спиной, гаснут друзья и рис, которым нас посыпают, гаснет рождение Юрчика и гаснет миг, когда я впервые беру его на руки и всматриваюсь в эту синюю сморщенную мордочку, будто в собственное лицо, гаснет новая квартира в каменице Веделя, гаснет прошлогодний съезд девятки в Теребовле, пьянка и целый полковой праздник по случаю двадцатой годовщины формирования полка, как же славно было тогда, чего только не было уже тогда и ничто не предвещало того, что наступило, и это непредвещание тоже угасло, гаснет мобилизация месяц с чем-то тому назад, гаснет трезвость, гаснет война, гаснет капитуляция, гаснет оккупация, гаснет отрешенность.

Угасло. Ничего нет, я внутри тьмы, без тела, без единой мысли, без ничего, чистый я, инертный я, нея, которого нет, нея растворяюсь во тьме, как капля дождя в океане. И нея ощущает, не думая: как хорошо мне небыть, как мне сладко, как тепло, как мягко, как тепло влажностью восхитительной, как бархатисто, как белокожемлечно, Саломея есть, а ее нет, потому что неменя нет, мои ладони Сали на моей собственной коже, внутри себя нея пуст.

Не я.

Нея глаза открываю. Глаза открываю. Я открыл.

Часы. Десятый. Недолго играла музыка. Рядом: Саля.

Я должен убраться отсюда. Тотчас. Несмотря на комендантский. Гляжу на Салю, на мою Салю, и кажется мне она отталкивающе жуткой: спит, такая белая, рот у нее открыт, а посреди рта ужасная рана, зубы что обломки костей. Я встаю, одеваюсь. Когда шнурую ботинки, уже в дверях, Саля выходит из спальни. Голая, щелки глаз, словно пузыри век ножом взрезаны, голая, со спутанными волосами, даже не пытаюсь прикрыть грудь или промежность, и до жути мерзок мне вид ее грудей, набухшие кожные мешки, соски на них что головки воспаленных чирьев, и мерзок мне вид густой поросли, сбегаящей к ляжкам и темной линией опасно сближающейся с гадким узелком пупка. Глядит непонимающе на меня, еще чутка в одури, и вдруг видит: я ухожу.

Хищным зверем бросилась на меня.

— Костя, куда ты сейчас пойдешь? — завывла, впившись ногтями в мой рукав. — Куда пайдёш, Костя, куда?

Гадка мне она, гадка мне моя Саля, не хочу ее видеть больше. Я буркнул ей, что ухожу.

— Не позволю! Не можно! Не ходи! — она скулила, хватала меня, тянула за пиджак, вот-вот порвет, и не могу, не мог вырваться, уже дверь открыл, а она давай голая, на коленях, цепляться за мои штанины.

— Убьют тебя, Костя, убьют! Не ходи!

Влепил ей в лицо открытой ладонью. Удар, равный собственному падению. Саломея на полу, медные волосы патетически рассыпаны по ее плечам и по паркету, как будто она репетировала это падение, нагая женщина, одетый мужчина, ухожу.

— Я тебя люблю, Костя... — вышепнула.

Хлопнул дверями. В коридоре в приоткрытую дверь выглядывала соседка, падкая на чужие драмы, ну чем не абонемент в театр соседство моей Саломеи для такого бабья, за трагедиями не заржавеет.

— А ты что харю высунула, старая курва, — плюнул я бабе комплиментом в лицо. Та исчезла.

Я вышел в ночь. Христосик. Христосик?

Это всё разговоры.

После комендантского часа стреляют без предупреждения. Так в городе говорят, что стреляют. А пусть меня застрелят. Один Юрчик, одного Юрчика ради стоит держаться за жизнь, ему одному могу пригодиться живой. Ему одному. А, может, и ему не могу.

Иду, иду, идет, шхериться по руинам не станет, не стану, перелюльки красться не стану. Иду по 3 Мая, сворачиваю на Маршалковскую, центральными улицами иду. Шагаю. Шагает. Варшава не моя, не моя это Варшава, не его, Варшава продырявленная, Варшава в ознобе, в грязи и в дожде со снегом, Варшава изнасилованная, Варшава гробов, телег, запряженных клячами, и извещений на заборах, Варшава что моя Саломея, пощечина, на пол, ноги врозь Варшава, курчавится черная поросль.

Кто-то идет за мной, кто-то за ним идет, я его знаю, он знает его, Костек знает меня, он знает, что я такое, не поворачивается. Бойтся меня увидеть.

Кто-то идет за мной. За Константином идет. Потом, потом оставит нас, всегда в конце оставляет и всегда потом возвращается, брат мой, камрад, товарищ.

Я бегу, он бежит к Геле, к Юрчику, лишь бы скорее к ним, лишь бы подальше от его Саломеи и от того, кто следует за мной, за ним, аки лев рыкающий.

Я теряю дыхание, перестаю бегать, хожу, снова иду спокойно.

Навстречу идет патруль. Штыки на винтовках грозят небесам, каски затеняют лица, плащи. Будут устанавливать, арестуют, застрелят, что сотворят?

Чувствую, знаю: тот, кто идет за мной, все ближе, подстраивает свои шаги, словно мы на променаде, все ближе, кладет мне руки на плечи, руки ему на плечи, и так идем, я левой, он левой, я правой, он правой, как в детской игре, на расстоянии вытянутой руки, и обвил меня этими руками, его обвил и мы идем, идем прямо на патруль, прямо на них, тот, кто идет за мной, заставляет их расступиться передо мной, перед ним, встали, интересно, отдадут ли мне честь? Не отдадут, застыли, ошеломлены, поражены, я мимо, иду, идет, тот, кто идет за мной, куда-то теряется, и вот иду один, хотя ни разу не один, одинок, не один.

Дверь, звоню, жду сторожа, он открывает, даю ему пять золотых, бормочет что-то, я не слушаю, лестница, поднимаюсь, наша дверь, стучу, но тихо.

Геля. Смотрит мне в зрачки, а они как булавкой проткнуты. Впускает, не говоря ни слова, запирает двери, тщательно, замки, засовы, цепочки. И лишь тогда.

— Ты же обещал. Пока война не кончится.

— Войне конец, — отвечаю, чуть пришепечывая. — Мы проиграли.

— Ты мог попасть под арест!

Отворачиваюсь, иду в комнату.

— Разбудишь его! — протестует Геля.

Но я все равно иду, я хочу его увидеть, я должен его увидеть, этого маленького белокурого меня в детской кроватке. Вот он, спит, пухлощекий, ручка под щекой, ресницы длиннющие. Увидел, начал ласкать, сейчас этот маленький я проснется.

Геля вытащила меня из комнаты, отвела на кухню, посадила за стол, и так сидели мы за столом, молча. Немного спустя снова заговорила.

— Есть новости об Иге?

— Никаких.

Яцек, Яцек, раскаяние ты мое, Яцек, родник моего счастья, заточенного в чудесных бутылочках.

— Папа был вчера.

Я пожал плечами.

— Говорит, что есть возможность перебросить нас в Швецию, а оттуда напрямиком в Нью-Йорк, к дяде Альберту.

— И что?

— Поедем, все втроем. Лишь бы подальше от этой войны и страха.

Я знаю, чего ждет Геля. Чтобы я сейчас отказался. Чтобы сказал: езжайте без меня. Ты и Юрчик. Возьмите твоего отца или маму и езжайте, возьми деньги, я должен остаться здесь, для меня война еще не кончена, я должен остаться и сражаться, добраться до Франции или уйти в подполье и сражаться, сражаться за Польшу. Так сейчас говорят.

И тогда Геля начнет меня убеждать, что семья важнее, в надежде, что я откажусь, что скажу, люблю вас, дескать, больше всего на свете, но Польша есть долг, если я долгом этим манкирую, пренебрегу, то не буду больше тем Костеком, которого она полюбила. Так что должен. А она сможет встать в позу Полонии с картины Гротгера: если останешься, то место мое подле тебя. Тобой жить буду. И упьется этим дивным и дурным женским героизмом, не столько женским, сколько диковинным, потому как польским, и ничего не изменится, просто Геля почувствует себя лучше.

Я только пожал плечами.

— И? — Геля испытующе вглядывалась в меня.

— Ничего. Можем поехать, если хочешь. Научим Юрчика английскому и вырастим его американцем, будет жевать жвачку и ходить в клубы слушать негритянскую музыку.

— Костек, ну чего ты такой... Ведь мы не перестанем быть поляками, вернемся сразу, как только война закончится.

Бедная Геля. Бедная Геля ничего обо мне не ведает, бедная Геля меня не знает, бедная Геля полагает, что замужем за кем-то совершенно иным. Речь уже даже не о других женщинах, не о наркотиках, речь обо мне.

— Но я действительно предпочел бы, чтобы Юрчик стал славным американским парнишкой, — сказал я. — Что плохого в джазе?

Геля смотрела на меня взглядом Гели, обычным взглядом Гели, словно ничего не изменилось, словно нет войны и словно я, как обычно, оглашаю какой-то парадокс, словно я серьезно озвучиваю какое-то спорное суждение, Геля не знает, что подумать, так что лишь смотрит на меня, как она умеет, своим взглядом: не соглашаясь и не противореча.



— Мне нужно лечь.

— У папы просьба к тебе. Нужно передать посылку некой Лубенской, на площади Спасителя. Боюсь я, ты бы не нес лучше, там такое что-то, если они тебя с ней поймают, то расстреляют. Понимаешь? Ты откажешься, ладно? Я папе уже отказала, но он настаивал.

И снова, вновь: мелкие Гелины проверки. Окажется ли мой Костюшик достойным превосходных традиций свободолюбия нашей семьи? Окажется ли человеком в той мере храбрым, в какой должен быть храбрым муж Гелены Виллеман дома Пешковских герба Ястржембец? Смерть не страшна ли ему?

Достоин ли мой Костюшик называться поляком? Бля буду.

Уверен, Геля желает мне смерти. Ей хотелось бы стать вдовой, в траур облаченной, ухаживать за моей могилкой с березовым крестом, воспитать Юрчика в уверенности, что папуля его был стойким поляком, после позволить какому-нибудь приличному офицеру опекать их с Юрчиком, принять его помощь, отвечая ему взаимностью, но, очевидно, не давая себя и пальцем тронуть, а после в душераздирающей сцене отвергнуть предложение. Признаться: да, я люблю, но не могу, у меня есть уже муж, Константин отдал жизнь за Польшу, не могу я с ним так поступить. Офицер, очевидно, понимает; он этого ждал, он даже хотел это услышать, женщина, вернее, полька, которую он полюбил, ровно так и должна ответить, согласием своим она бы его разочаровала, женился бы он на ней, не разжимая рта, и, возможно, сек бы хлыстом за все свои промахи. Яцек мог бы сыграть эту роль, мой сладкий, добрый Гиацинт Ростаньский, но он бы Гели не сек. Так и томились бы за каким-нибудь столом при свечах, держась ли за руки или только тоскуя по ладоням друг друга, пальцы Гели хотели бы узнать крепкую хватку твердой руки Яцека, но не могут, потому что все уже сказано, они кладут свою безмолвную любовь на алтарь, становясь еще чище, так что ладони не касаются друг друга, они же сидят и достойно, мирно переживают свою интимную драму. Затем Яцек гибнет где-нибудь на баррикадах или где-нибудь в партизанском дозоре, где-нибудь в партизанском лесу умирает, сжимая медальончик с ее фото, а после Геля ухаживает за двумя могилами, она святая, в траур одетая. Она полька.

— Плохо мне, — простонал я сквозь зубы, срываясь из-за стола.

Побежал в ванную, и меня рвало, снова и долго. Геля поддерживала мою усталую голову, вытирала губы мокрым полотенцем, а я выблевывал из себя Салю, выблевывал ее женский запах, ее вино, ее еду и ее любовь.

Потом я лег спать. Я очень устал, а моим городом правили немцы.

## Глава II

Открывает глаза. Лежит, лежит подле жены, подле сына, а при этом один лежит, хоть и подле жены, подле сына лежит. Я за ним

стою. Ночь, октябрь, холодно и падает редкий первый снег. Идет война, а городом правят немцы.

Открывает глаза, не зная: наяву или снится ему их супружеская спальня, мещанская мебель, жена, окно, яркий некогда прямоугольник, яркий светом газовых фонарей, сегодня прямоугольник темен, темен несветом побежденного города. Ночь. Так наяву или снится?

Наяву. Садится в кровати, тикают виски и укуры совести тикают: морфий, раненым надлежащий, присвоил. Надлежащий Польше. Изменяет жене с той женщиной, порочной, омерзительной, великолепной женщиной, что оголяется перед ним как менада, выпячивает промежность и целует его так, как он никогда не позволил бы целовать себя жене.

Укоряемый совестью, встает с постели, в квартире холодно, на уголь истопник определенно скуп. Облачается в теплый халат, ну что это нынче за халат, некогда был халатом, в котором он работал, в который облачался, усаживаясь перед доской или перед навощенным картоном, или перед пишущей машинкой, а нынче это халат прячущегося лейтенанта запаса 9-го уланского полка из Теревовли. Мобилизация, от Варшавы к Теревовле, боевой путь, на запад, на восток, лесами, боевой контакт, стрельба, прятки, бегство и обратно в Варшаву, капитуляция, а нынче в халате, в своем теплом халате, как будто не было войны, только окно погашено.

Это халат-капитулянт. А если немцы придут, арестуют? Он думает о Сале. Я думаю о Сале. Не хочу думать о Сале.

Однако думаю о Сале.

Саля. Саломея. Затем: Геля. Гелена. Недобрая Гелена, злая Гелена смерти желает мне, хочет, чтобы за Польшу я пал. Саломея, моя Саломея поклоняется мне как Богу. Даже мое зловоние для Саломеи свято.

Чушь, чушь, чушь. Гелена воистину любит меня. Любовью истинной. Саломея рыжая безумица. Саломея высосет мою кровь.

Так она мне сказала, когда мы сошлись впервые, после чего я ее нарисовал.

Мы танцевали в мерцающей Адрии, люстры вращались, мы кружились, и она прильнула ко мне всем телом, вытянулась, чтобы достать губами моего уха, и шепнула: я высосу твою кровь. А после лизнула мне ухо.

А до того она высасывала устриц у Шимона, мы с Ивашкевичем сидели за одним столом, Саля за другим, за спиной Ярослава, и соблазняла меня из-за его плеч. Ивашкевич, красивый мужчина, глядит на меня, травит мне какие-то там комплименты, что-то там болтает, о литературе говорит, о Копенгагене речь ведет и о Брюсселе, а за его спиной Саля берет себе устриц со льда и пьет их, бессовестно прихлебывая притом. Видит, что я сижу с Ивашкевичем, а раз с Ивашкевичем, то я не абы кто, оттого, видимо, и дразнит. А я-то его едва знаю. Вижу изредка. Изредка поговорим. Едва-едва. А кроме него я вообще никаких известных людей не знаю. Кланяюсь некоторым, они мне от-

кланиваются, были даже представлены друг другу, но это не значит, что я знаю.

А она, прихлебывая этих устриц, деликатно высовывает язык, самый кончик, знает, как это выглядит, тип, с которым она сидит, начинает нервничать, потому как видит, что Саля на меня глядит, а не на него, не сводит глаз с меня и сосет этих устриц, в сравнении я с ним никто, она же вместо него на меня глядит, для меня театр играет. Но кишка тонка, так что прощается наконец, уходит. Я выиграл.

Она присоединилась к нам и ходу в Адрию, там уже блистал Яроси, подсаживаемся, там уже алкоголь, кокаин, кружатся люстры, оркестр туш и Саля присаживается ко мне, а после мы танцуем, она лижет мне ухо и шепчет, что высосет мою кровь, удача вписана в счет, знаю, они хотели бы, чтобы я платил, но знаю также, что, если заплачу, они не станут меня уважать, поэтому я смотрю на них и даю четвертую часть счета, явно показывая, мол, пусть платят остаток, я ровня им, хоть я и никто, и они подчиняются условности, так принято и так есть, они платят остаток, неохотно, два гобсека, но платят, и я ровня им, Ивашкевичу, Яроси, я им ровня, каждый заплатил свою часть, каждый свои пятьдесят два злотых, Саля глядит на меня с восхищением, я не поддался, я не верблюд.

А теперь Schluß, зеро, конец, черная пустота, отчаяние и хуй на.

Пойду к этой Лубеньской, кем бы она ни была, отнесу этот чертов пакет, что бы в нем ни было, и не дам втянуть себя ни в какие тупые, адские заговоры. Затем тесть мой любимый шлет меня туда, чтобы я ловко доказал свою польскость, людьми вроде меня они страшно гордятся, отец пруссак, будьте любезны, мать скорее полька свежеиспеченная, по-польски прекрасно, зато ее бабка с дедом ни гугу, а он тут, у нас, в Варшаве, выбирает поляка. Ох, как дивно! Вот же история! Какое большое дело родина и тому подобное бздо.

Возьмем Яроси, которого они чтут за венгра, а он так родился в Праге, по-немецки болтает и считается австрийцем. Вылезал в “Цируликe” с этим своим “баудти любешны”, и оказалось достаточно, уже его сам Гридз объявил сарматом *humoris causa*, а нынче он, любезный, сидит где-то и прячется. Или его повязали. Или он уехал. Холера его знает.

Второго сентября Геля была на выступлении в “Фигаро” и позже рассказывала мне, когда я пришел домой с нашей комичной войнушки, где мы главным образом прятались по лесам, рассказывала мне, как Яроси велел спеть гимн, и весь зал плакал, и Яроси плакал.

А нынче прячется, ибо душа его польская. Или его повязали. Или он уехал. Хуй на.

Я встал в дверях спальни. Было темно, но я видел очертания их тел: Гели и Юрчика под одеялами, мои самые близкие тела, здоровые, чистые, любимые.

— Я пойду к этой Лубеньской, — сказал я. Как будто присягнул на верность отчизне. Однажды я уже присягал. Слова, брошенные во тьму.

— Знаю, Костюшик, знаю, что пойдешь. Я тебя люблю, Костюшик.

Тотчас ответила, будто бы и не спала. Точно не спала.

— Там тебя ждут, можешь прийти когда тебе удобно. Стукнешь трижды, потом четырежды, когда откроют, то скажешь пароль: Могу я видеть пана Казимира? Если ответят, что он ушел, убегай. Ответ, мол, дома — войдешь. Ты запомнил?

Я буркнул в подтверждение.

Скинул халат, лег обратно в постель, зарылся в перины, коснулся ее плеч, бедер. Геля была совершенно иным телом, нежели Саломея. Она была телом спортивным, везде, где можно, мускулистым, с грудью твердой и сильной, мягкость имела иного рода, нежели та, другая, была чистокровным телом, а Саля имела красоту ладной дворянки.

Гелена. Помню ее на пике ее красоты, два года назад, в Париже. Мы поехали на выставку, нас пригласил Юзек, потом мы были на банкете, я даже видел там Шпеера, лишь издали, конечно, никто нас не знакомил. И вот стоим мы с Юзекком, немного потерянные, в чем, конечно, я бы тогда не признался, и я вижу, что на Гелю все время таращится какой-то парень с зачесанными назад волосами, настырно таращится, взглядом по моей молодой жене водит, мне хотелось дать ему в морду, но я боялся скандала, поэтому спросил, кто это, и не успел Юзя ответить, как я увидел, что парень идет в нашу сторону. Подошел, на австрийском немецком представился: *er heißt Thorak, er ist von ihrer Schönheit entzückt und bittet seine Kühnheit zu entschuldigen, aber würde die Dame ihm Modell stehen?*<sup>1</sup>

Гелена не знала, кто это, но я знал, и Юзек тоже знал. Потом в отеле были долгие споры, Юзя, разумеется, был против, Гелена колебалась, а я ее уговаривал. В итоге мы позвонили, да, мол, хорошо, мол, согласны, мол, но в Париже задержимся всего три дня.

На следующий день Геля стояла голой посреди большого гостиничного номера, все шторы раздвинуты, чтобы впустить больше света, *mehr Licht*, даже лампы электрические включили, я сидел в кресле, хотя Тораку это видимо не нравилось, он очевидно хотел бы побыть с моделью наедине, я бы охотно оставил их, но Геля возражала, потому я сидел в кресле, нога на ногу, куря сигарету и глядя, как немецкий скульптор рисует мою жену... И видя ее заново: мускулистые стегна и икры, рельефная спина, мягкие плечи, но мышцы на плечах заметны, выпуклы, грудь твердая, высокая, плавной линией спускается к ребрам, без залама, сильные бедра и шея, тело спортсменки, тело, вылепленное лыжами, стрельбой из лука, конной ездой. И свет из окон омывал белую, нагую Гелю, гордую тем, что мы так на нее смотрим — и я, и скульптор. Гордую не своей женственностью, женственности в ней не было, а мрамор был, гордую тела своего мрамором или

1. Его зовут Торак, он восхищен ее красотой и просит извинить его бесцеремонность, но не согласится ли дама ему позировать? (Нем.)

бронзой, сталью нержавеющей, как горды были бы своими телами рабочий и колхозница Мухиной в павильоне Советов.

И смотрел я, как смотрел на нее Торак: не как на женщину, но как на статую, что он тогда уже в ней видел.

Статуя, впрочем, не сложилась. Отец Гелены, чудный мой тесть, зачатый эндек, в 1918 году утратил передние зубы, выбитые прикладом немецкого ефрейтора, и с тех пор ненавидел немцев жгучей ненавистью. И запретил. Геля не поехала в Берлин, она послала Тораку идиотское письмо, где из патриотических соображений отказывала ему, невзирая на мое мнение, невзирая на то, что толковал ей я, акурат сейчас, как Гитлер сделался канцлером, отношения сильно потеплели, Германия веками не имела столь благоволяющего к Польше правительства, что Гитлер австрияк, прусских предрассудков по поводу поляков не имеет, лишь чехов и евреев не любит, не то что разные прусские кавалеры. Но Геля отказала. Торжественно объявила мне, что лишь поляку даст себя лепить или рисовать, и пара коллег, которым Юзек Шанайца передал это, вызвались было, но уже я не согласился чисто наперекор. Торака не захотела, так пусть никто из местных глинолепов ее не лепит.

Но то, что мне надо завести любовницу, я решил уже раньше, еще тогда в большом гостиничном номере в Париже, где Торак рисовал мою жену. Я смотрел на ее красивое спортивное тело и желал всех красивых женщин мира, но не свою жену, я желал толстых ягодиц, круглых рук, никогда ничего не поднимавших, мягких ляжек, никуда не бегавших, и тяжелых сисек, вовсе не намеревавшихся кормить детей, мне хотелось женщин мягких, распутных, избалованных, стройная спортивная чистота моей жены отвращала меня.

Но это было тогда, давно, в прошлом мире.

Сейчас я тронул ее бедра. Я прижался к ее теплому телу, подвинул ладони вперед, коснулся ее груди. Я хотел чистой любви, не порченой, как у Саломей, я хотел даже, чтобы этот акт породил нового маленького поляка или маленькую польку. Я залез под ее ночную рубашку, касаясь обнаженной кожи ее ягодиц.

— Костюшик, но тут ведь Юрчик спит, — сказала она, отстраняя мои ладони.

— Геля, — прошептал я.

Она ощущала мое возбуждение, не могла не ощущать.

— Исключено, Костюшик. Ложись на диване, — твердо сказала голосом познанского эндека, голосом своего отца, старый Пешковский именно так говорит, доминация евреев в юридических профессиях есть великая трагедия нашей родины, Костек, ложись на диване.

— Но я же сказал, что отнесу посылку Лубеньской, — простонал я. — И шоколад у меня для Юрчика...

— Костюшик, не делайся жалок, — ответил голос моего тестя устами моей жены.

В физической любви она не слишком нуждалась. Любовь телесная была для Гели частью гигиеничного образа жизни, что означало раз

в неделю отдаваться мужу. Не стоило безрассудно беременеть, что означало пользоваться брошюрами Польского евгенического общества, то есть брошюрки она читала, а чем пользовалась — не знаю, не спрашивал, не хотел иметь с этим дела. После отношений, как это у нее называлось, удалялась в ванную и там некоторое время что-то делала, вода шумела в кране. Решение, когда и сколько у нас будет потомков, принимала Гелена. И тесть, само собой. За обедом тесть рассуждал, что евгеническое мышление есть незаменимый элемент жизненной гигиены, как и регулярный туалет, правильное питание и хорошие манеры. Само собой, папа, говорила Геля. А как у вас с супружеством, спрашивал тесть за обедом, поскольку не считал, что “эти” вопросы следует стигматизировать, исключая их из обычного общения. Тогда я швырял ложку и просил разрешения удалиться и так далее, и все трое Пешковских за столом смотрели на меня евгенической сталью своих очей, полных презрения.

— Люблю тебя, — проскулил я. Подумал о том, что мог бы ее изнасиловать, тогда, быть может, она начнет бояться меня и полюбит по-настоящему.

— Я тоже тебя люблю, Костюшик. Спокойной ночи, Костюшик. На диване, — сказал мой тесть.

Я лег на диване. Подумывал было вернуться к Саломее, чтобы успокоить гнетущее меня возбуждение, но побоялся немцев, поэтому успокоил себя сам, в ванной.

А сейчас не могу заснуть. Не могу уснуть. Я не могу уснуть. Ты не можешь уснуть, не можешь уснуть, не можешь уснуть.

Не может уснуть. Лежит на том диване, запачканный лежит, под пледом лежит, лежит одинокий, маленький, глупый, лежит погранный. Лежит. Встает, ищет сигареты, ложится обратно, закуривает, лежит под пледом, думает. Я на него смотрю, за ним стою.

И до утра не сплю. Вместо сна: вопросы. Кто я? Зачем я? Вернее, главное, отчего я подонок, свинья, моральный ноль, подлец. Мог быть всем, чем захочу, имею все, чтобы быть великим, меня натаскивали на величие, я мог бы в половине Европы быть великим, в Берлине и Варшаве, мне даны шансы, мало кому давалось столько, а я только пью, пил в Кристалле или в Гастрономии, пью, кейфую и рисую нагих девиц, и каждая нагая девица, которую я нарисую, она моя сокрушительница, сокрушает меня, повергает, каждая голая девка, которую нарисую, имеет меня в своем владении. Поэтому уже не рисую почти. Я не художник, просто делал вид немного. Я никто тем больше, тем сильнее, чем больше мне дано, чем больше я получил, тем больше подлость моя, беззаконие мое, убожество мое и проигрыш мой. Я, нея, яникто.

Но славно, что я уже в своей квартире, к Анеле не вернусь больше. Псу под хвост такое прятанье. Чего прятаться?

Геля встала, встала рано, готовит завтрак, для меня готовит, встал и Юрчик, а я запачканный, измаранный, мерзкий, противный, лежу на диване в полусне, в несне, лежу и к себе чувствую отвращение, Юрчик подходит, ко мне приходит Юрчик, татусь дорогой, папуся

любимый, ластится ко мне, руки мои недостойны обнять первенца, но обнимают, сыночек мой, обнимают, и вот тут я вскакиваю и знаю уже, что мне нужно делать, я вдруг симулирую мужскую лихость, мужской напор, четкость, решение, решимость, давай, Геля, завтрак, пакет не должен ждать, пакет ждать не может, так что я быстро закидываю в себя все, что там есть для еды, есть мало, какой-то хлеб, я сам принес этот хлеб, помню, что принес, ем, пью кофе, кофе пока есть, у Анели нет здесь, а у нас есть, купил про запас, добрый запас, потому что я умный, а прочие люди дураки, глупцы, а я знал, я предвидел и купил, они же, дураки, верили, что дойдут до Берлина, коней водой из Шпрее напоят, так с чего бы в Варшаве не хватило кофе, угля, и я знал, знал, что они дураки, все дураки, а я знал.

Так что сейчас я пью этот кофе, настоящий кофе, одеваюсь, как следует одеваюсь и тепло, пойду к Лубеньской, занесу посылку, а там, безусловно, конспираторы за столиком, при свечах, потому как у нее может даже не быть электричества, на площади Спасителя могли еще не восстановить, не знаю, восстановили или еще нет, так что пойду, а там за столиком конспираторы, военная статья, но одежда гражданская, не подогнанная, как будто особый в том шик, в пиджаках слишком тесных и брюках слишком широких, итак, свечи на столе, они при свечах как виленские якобинцы, как юнкеры, как Тройницкий союз, как офицерский кружок Сераковского в Петербурге, как боевики Коменданта, при свечах, при свечах, револьверы в карманах, и сговариваются, и замышляют, а я приношу им посылку. Так что я пойду, а сейчас я пью этот кофе, Геля глядит на меня, хорошо на меня глядит, участливо на меня глядит, сердечно, видит во мне неменя, оттого хорошо глядит. А я уже постановил, поступлю как нея и пойду, занесу посылку Лубеньской на Спасителя. Но сейчас я пью кофе и смеюсь Юрчику, который уминает свой ломоть с маслом.

Наконец ухожу. По лестнице, вниз, по Пулавскую и дальше на Маршалковскую обесчещенную, разбитыми тротуарами, в город не мой. Нету моей машины. Магазин-кафе Веделя закрыт. Ненавижу тех, кто причинил это моему городу. Я захватил кастет, сегодня я больше не солдат, но я этого города, родины моей приемной, и, как варшавский апаш, я ношу кастет, буду этим кастетом защищать свой город. Еще я захватил карманный нож, малютку с перламутровой рукоятью, но это уже не оружие.

Моя ненависть угасает, медленно угасает, так как пробуждается жажда. Думаю о ноже больше, чем о кастете. Да хоть бы пару моих славных бутылочек, хоть бы одну. Но Яцек не даст, уж точно не сегодня, день за днем, вчера был одиннадцатое октября, сегодня двенадцатое, сегодня я обязан зарегистрироваться, вчера дал, сегодня не даст, не может дать, в конце концов, он мой друг, это очень много быть чьим-то другом, а быть моим другом труднее, чем другом кого-либо другого, нормального. Так что идти к Яцеку нечего, разве спросить что-нибудь об Иге, о какой-нибудь детали, что могла бы помочь в поисках, которых я вообще еще не предпринимал.

Почему я не ищущу Игу? Он не ищет, ибо не может, ибо долг, ибо он врач теперь, спустя две недели по окончании войны, в самом деле не может искать свою жену, ибо у него на руках умирают люди. Не может, нельзя, в самом деле нельзя. Я мог бы. Я обязан. В конце концов, Яцек мой друг, самый близкий, самый лучший, самый искренний.

И то, что между нами было, между мной и Игой. Давно, десять лет тому, но было, и немало это было, я был ее первым любовником и она была моей первой любовницей, хотя не первой женщиной, до нее была проститутка, но те не считались, поскольку в актах с ними не было элемента покорения, легли передо мной, потому как я заплатил им по десять злотых, а Ига покорила мне, потому что я, потому что я был мужчиной, подтверждая мою мужественность в той покорности. Думаю, что он и по сей день не простил мне того, что взял ее после меня, что я в его Иге наследил, напачкал. А ведь я не велел ему брать ее, я ее ему не сватал, уже не моей была, когда ее брал, сам взял, сам хотел, а обида как-то вот в нем расцвела, словно моя вина была в том, что он влюбился в Игу.

Значит, теперь пойду, сегодня буду искать Игу, теперь наверняка, сегодня должен найти Игу. Ради того следа, что я в ней оставил, ведь мужчина оставляет след в каждой женщине, с которой он был. Не физический след, но в ее ауре, в ее эктоплазме, возможно, в ее ином теле, в теле духовном, как говорил Стах моей матери. Даже если они друг друга возненавидят впоследствии, станут равнодушны, чужды друг другу, даже тогда не стереть этого следа, даже если оба сочтут отношения ошибкой, след есть, след остается, остаются нематериальные узы между бывшими, старыми любовниками. По этим узам я буду искать Игу, узам бывших любовников.

Но прежде с посылкой к Лубеньской. На площадь Спасителя, угол 6 Августа, к заговорщикам, к столу со свечами, к укрытым в карманах револьверам. Вперед.

Вперед. С пакетом. С портфелем.

Вперед. Взвод по двое рысью марш. Развернуть строй. Пики на бедро, сабли к бою. Взвод — марш-марш! Марш-марш! И идут молодцы в развернутом строю в атаку, идут, идут. Шли.

И я шел. Иду. В портфеле — пакет, который я должен отнести пани Лубеньской, в квартиру на площади Спасителя. Что в пакете? Для оружия слишком мало весит. Так что в пакете?

Не любопытствовать. Не мое дело, не любопытствовать, отнести. Не спрашивать, не проявлять интерес, не прояснять, не докапываться, выполнять. Выполнить.

Но прежде — к Лурсу. Однако же прежде. Так? Так. Мог бы, правда, пройти через площадь Спасителя и оставить посылку, но как-то хочется мне крюка дать. Итак, сначала к Лурсу, прежде к Лурсу. Чтобы забыть. Может, водки дадут.

Итак, напрямиком на площадь Пилсудского, мимо, мимо, еще не на Добрую, еще не направо, сначала к Лурсу, подталкивает меня тот, кто за мной идет, итак, идем, идем, день холодный, день дождливый,



день холодный, едут чемоданы и узлы на двуколках, в детских колясках едут, лавируют между ямами, среди развалин, между грудками щебня лавируют, едут телеги, курс десять золотых, всего десять золотых, купи, пан, купите, купите, купи, пан, купишь, пан? Я не куплю, я иду, пошатываясь, но тот, кто за мной идет, поддерживает меня за плечи, не дает упасть, хранит меня и водит долиной смерти.

Иду далеко, долго иду, полчаса, ноги сегодня свинцовые, но в итоге я здесь, стою перед Европейским и вхожу.

Вхожу к Лурсу. По соседству, в когдатошнем здании Генштаба, я должен сегодня зарегистрироваться, так требует с плакатов комендант Варшавы генерал-лейтенант фон Кохенгаузен, моя фамилия Виллеман, так что если я сегодня не регистрируюсь, то могу нарваться на арест. Так что нарываюсь.

Вошел к Лурсу, а там все по-прежнему, чему бы меняться.

С полудня до четырех алкоголь не подают, каждое заведение, которое имеет кухню, обязано неукоснительно приготовить для своей клиентуры хорошее и питательное блюдо, уготовляемое в одной посуде. Блюдо сие не может быть обычным супом, но должно неукоснительно содержать разом уготовленную пищу густую и сытную (картофель, макароны, крупы, овощи и мясо). Всякая попытка уготовления блюда сего в виде жидкого супа карается как персональным штрафом, так и полным закрытием предприятия питания. Цена блюда в заведении первой категории: один золотый и пятьдесят грошей.

Так написано на стене, в извещении написано, и у Лурса, пахнущего обыкновенно кардамоном, корицей, кофе, шоколадом и глазурью и дымом от хороших сигарет, у Лурса, где женщины пахли духами, а мужчины были мужчинами первого сорта, сегодня смердит, как в рабочей закуской, питательным блюдом, уготовляемым в одной посуде по золотый пятьдесят порция.

И мужчины первого сорта унижены, мундиры, эполеты и орден с них сняты, фраки и жакеты содраны, и брюки в полоску, затейливо сложенные носовые платки и гвоздики в бутоньерках содраны, шелковые галстуки сняты или, вернее, они их сами сняли, в знак своего поражения, сами понизили себя до категории низшей, не знаю, с каким порядковым номером, в первой категории расположились сейчас офицеры Вермахта, проходящие порой по улицам со странной гримасой, вроде бы торжествуя, но не ведая пока, что с этим триумфом сделать, а тут пятая или пятидесятая категория, без галстуков, без воротников, пейзаже а-ля Витос, сапоги, гримасы унижения, поражения, склоненные шеи.

А у меня галстук. У меня шелковый платочек в кармане пиджака из первосортного английского твида. У меня клетчатые носки и полуботинки, навакшены, блестят. Потому что меня никто не побеждал, я не сдавался, я не слышал приказа о капитуляции.

Ига. Об Иге я должен спросить, должен искать ее для Яцека, Яцек искал бы Гелю для меня, не спал бы и не ел.

Вдруг вижу: бац! Среди офицеров за столиком сидит Ярослав, Ярослав, с которым я имею честь быть на ты, и Ярослав этот печален, он напуган. Что с тобой случилось, Ярослав, за эти печальные дни, сидел ли ты в Стависко? Что случилось с твоей красивой головой, высоким лбом, с твоими элегантными нарядами? Чем занимался, прекрасный Ярослав, как твои дети?

Ярослав замечает меня, широко улыбается, сияет, отрывает свое большое тело от столика, манит меня своими красивыми руками, приглашает к столу. Присаживаюсь. Приветствую. Ярослав сидит, с ним еще двое, похожи на офицеров, сегодня многие похожи на офицеров, жертв насилия. Он жалит их взглядом, как хлыстом, те бормочут что-то себе под нос, какие-то оправдания, минутку, мол, сейчас мы, мол, встают из-за стола, а большая благородная голова Ярослава уже поворачивается в мою сторону, его большой и высокий лоб целит в меня как зеркало зенитного прожектора.

— Кофе в кувшине, гнусная бурда, жидкий, — говорит Ивашкевич. — Но угощайся. Изголодался?

— По новостям, — отвечаю.

Наливает мне кофе, фляжка из-под полы, хлоп в кофе символично коричневого оттенка алкоголь, понимающе подмигивает мне, но не лихо, только с такой кажущейся лихостью, утонченно кажущейся, а я кофе залпом и повторяю:

— Как, стало быть, дела, Ярослав?

Молчит некоторое время, улыбается как бы самому себе, большая грудь в этой одной улыбке вздымается и сразу опадает.

— Седьмого уехали из Стависко, потом одиссеи толика, за детьми... Вернулись неделю назад, — наконец выдавливает из себя. — Немцы на дворе, но верх для нас.

— А на что в Варшаву приехал? — спрашиваю.

— Поезда уже ходят до Щесливице. Далее на телеге. Ох, как же я не узнаю этого города, — отвечает он, но не на заданный мной вопрос.

— Так никто не узнаёт... — говорю я, он не слушает, нецеремонно перебивает меня, будто не слышит.

— Зашел давеча к Шимону и Стецкому, думал, там тебя встречу. А там одни немцы и Людвик Шимон за столиком, сидит и ест обед как ни в чем не бывало, о Выспяньском скорее всего думает. Вокруг немцы, а он себе обед, словно бы он не был тем, кем есть.

Я позволил ему говорить, я люблю, любил его голос. Точнее сказать, он не позволял себя перебить.

— Последний раз я был там пятого сентября. Тогда было пусто. Еще раньше, тридцать первого августа, тогда было нормально. Тебя уже не было, тебя мобилизовали уже. А сегодня — немцы и Людвик Шимон сидит, кушает свой грустный айнтопф и думает о Выспяньском.

Он замолчал, задумался, но все смотрел на меня глазами большой грустной рыбы.

— А как ты войну перенес? — спросил он, не отводя с меня взгляда, будто на миг смущенный тем, что все время говорил о себе.

— Обыкновенно, с полком... — я махнул рукой.

— С девятым уланским?..

— Да.

— На Бзуре? — спросил он, его глаза приклеились к моему лицу.

— Паженчев, затем Кампиноская пуца, мы там несколько танков фрицам спалили, а затем Варшава и до конца Варшава, от форта Домбровского и Лазенок, до самой капитуляции. В плен не сдавался.

— Мы проезжали через поле боя на Бзуре, — говорит Ярослав, на меня не глядя. — Груды седел в несколько метров высотой, целые снопы винтовок, штыки хрустели под копытом, под колесом.

И мы молчим оба, как будто внезапно материализовалось между нами наше общее поражение, как будто обрело вещность и расплелось на нашем столике, заполнило нас собой, смутило.

— Ига пропала, Ига, жена Яцека Ростаньского, Ига Ростаньская, — говорю минуту спустя.

— Яцек Ростаньский... это тот приятный, красивый доктор из Уяздовского, которого ты порой приводил в Земянскую?

— Тот самый. Ига исчезла как раз перед капитуляцией.

А если бы это была Геля? Тогда что? Я бился с немцами в форте Домбровского, еще на Парковой и Гурской у самых Лазенок, Яцек штопал дырявых хлопцев в Уяздовском госпитале, в километре оттуда Геля пряталась в подвале нашего дома. Юрчик был у тестя с тещей в деревне, Геля осталась, рыла противотанковые рвы, эти царапины в сухой грязи. Исчезни она по пути на какие-нибудь общественные работы, что бы я сейчас делал?

Яцек две недели делал лишь то, в чем нуждались раненые, а я, что бы я делал?

— Задумался, Костюшик, — говорит Ярослав.

— Да. Прошу прощения. Должен искать ее, но не знаю как. И молчим опять.

— Я переживал, не знал, перенес ли ты войну, не видались почти два месяца, — говорит Ярослав.

Такое признание, а я пожимаю плечами, но не в небрежении, а так, признательно, что он переживал, а пожимание плечами в том смысле, что переживать было не о чем совсем.

— А по поводу Ростаньской. Раз не объявилась в две недели, то я бы не рассчитывал. Но, разумеется, не стоит терять надежду.

— Но ты закинешь удочку, Ярослав? Мол, ищем? Игу Ростаньскую. Мол, муж ждет.

Смотрит на меня своими рыбьими глазами, понял или нет, но я уже знаю: мне надо уйти прежде, чем он ответит, ответом мог бы все разрушить, так что я всячески кричу ему спасибо, большое спасибо, как же я благодарен! Спешно прощаюсь и бегом от Лурса, Игу не профукал, помнил об Иге, связанной со мной двойными узами

Иге, жене друга моего Иге и бывшей моей любовнице Иге. Закинул удочку то есть. А как еще мне ее искать?

Камни в руинах отваливать?..

Теперь: к Лубеньской с посылкой, долг исполнить.

А что на сердце, на сердце моемъ — моемъ, поскольку сердце у меня дореформенное еще, мое сердце всегда мое, никак не моё — итак, что на сердце моемъ? Звучит ли в сердце моемъ труба маршей и атак, поет ли мн рог долга?

Никакая труба не звучит в сердце моемъ. В сердце моемъ одна мечта, одна жажда. В сердце, но прежде всего в животе, настойчивом в позывах рвоты. И в крестце, готовом лопнуть. Во лбу, с обоних висков стиснутом, будто столярной струбциной.

Так зачем мне лгать себе, зачем идти мне с этой чертовой посылкой в квартиру пани Лубеньской на улицу 6 Августа, угол площади Спасителя, зачем, если мог бы сначала пойти на Повисле, на улицу Добрую, на добрую улицу, на угол Радной, это намного ближе, и там есть гадкая старая каменица, где живет Саля, она сегодня будет любить меня сильнее, потому как вчера я дал ей в морду, так что сегодня я буду для нее настоящим мужчиной, в отличие от Гели, которую я никогда не бил, попробуй я только, она покинула бы немедленно дом, а старый пан Пешковский пристрелил бы меня в тот же день. Хотя сейчас его пистолет у немцев, так что, наверное, забил бы меня тростью.

Хорошо, могу пойти на площадь Спасителя, но могу также сначала пойти на улицу Добрую на Повисле, туда ближе, и там меня Саломея ждет не дождется. И если скажу ей: “Иди!” — она пойдет, дам денег, она пойдет паскудными дворами и возвратится с бутылочками либо с порошком. А деньги-то у меня с собой, целые триста злотых, сколько счастья можно купить за такие деньги! С посылкой схожу позже.

Стало быть, теперь — на Добрую, на Добрую!

Идет, стало быть: такой жалкий. Идет в надежде, что случится нечто, что смогло бы сделать его другим, нечто, что изменило бы его жизнь, нечто, что-то, нечто, что угодно. А ведь ничего не случится. За ним иду, стало быть.

Тот, кто идет за мной, близок, близок.

Иду, идем, идет. Близко, близко. Откос Вислы, виадук-улитка.

И вот, вот добрая улица, паршивые доходные дома, паршивая компания.

И вот лестница, взбирается по ней, и вот дверь, покрытая отслаивающейся краской. Стучит. Чим. Стучим. Не звонит. Нет. Звоню. Не звоню.

Дверь дрогнула, цепочка, за ней большие глаза на вульгарном лице Саломеи и ее медные кудри. На плечах шелковый халатик, она под ним голая, блестящая ткань скользит по груди, рыжие волосы в промежности. Вижу сразу, что она пьяна, потому что лицо как бы нечеткое, мышцы одрябли и черты размылись, и глаза блестят. Я люблю, когда она пьяная. Даже через дверь чую запах алкоголя. Но

и запах мужчины. Мерит меня взглядом, словно бы не узнает, смотрит на меня, смотрит на меня, наконец бормочет, ноги у нее разьедаются, плывет взгляд:

— Костек, пашол вон...

— Впусти, курва этакая, — рычу я и толкаю дверь. Цепочка, помню, держится на одном гвоздике, должна впустить.

И выпускает.

— Костя, шел бы ты отсюда, — лепечет Саля, пытаясь меня остановить, я отстраняю ее и вхожу. В крохотной кухне пусто и пустые бутылки, ставлю портфель на стол, дальше в комнату, там двое мужчин, бутылка водки, много дыма от хороших сигарет.

Смотрят на меня. Я смотрю на них. Правая рука в кармане брюк, потные пальцы вскальзывают в латунные кольца кастета как черви.

Оба в нижних рубашках. Один худой, на спинке стула висит куртка фельдграу, офицерская. При виде меня он тотчас вскакивает из-за стола, правой накидывает куртку, левой допивает рюмку водки, собирает свое барахло — шапку, пояс, кобуру — спешно, но без страха, без испуга, он просто не хочет оставаться здесь ни секундой дольше, хотя меня не боится абсолютно. Выходит, ни слова не говоря. Мимо меня, близко, близко.

Глаза водянистые, как у Ярослава, бледны, велики, теплы, влажны. Облизывает меня этими глазами, липко, и я вижу в них, что мог бы убить меня между двумя глотками кофе. Я тоже могу его убить, но только издали, из винтовки, из пулемета, сбросить бомбу с бомбардировщика, даже саблей рубануть в атаке или пробить копьём. Но он мог бы убить меня вблизи, обливая меня своим мокрым взором.

Мы могли сплестись в захвате, а он вонзил бы зубы мне в гортань, перегрыз бы трахею, артерию, горло, хватил бы большой глоток крови, а потом, разжав окровавленные зубы, открыл бы их миру.

Правая рука у меня в просторном кармане, как в кобуре, окованная сталью правая, бронированный кулак, в уличном боксе набитый кулак апаша.

Мимо прошел. Ни слова. Я не оборачиваюсь ему вслед, шаги, закрывает дверь, и Саломее ни словечка.

Смотрю на второго, он тоже на меня смотрит. Толстый. Глазки мелкие за круглыми грязными стеклами, рожа мясистая, в щетине, над проволокой оправы брови как у нашего Маршала, под ними эти сверла глаз, сверлят.

И точка, ну о чем еще думать, коли я вижу, что он нож нашаривает?

Итак, бронированная песть рвется из своего укрытия, я прыгаю на него и молнией единой своей окованной руки валю его наземь, громлю за то, что осквернил мою Саломею или же продал ее швабу, вопросов не задаю. И не задам, может, попозже, задам, когда Саломея приведет его в чувство. Умею в харю врубить, не то, что весь этот столик в Земянской. Верно, оттого меня ценят, что говорю с ними наравне о Прусте или Ницше, а при том однажды в ужасе наблюдали,

как не побоялся вломить жиганам, желавшим некого нищего поэта лишиться последней одежды, единственного его имущества. В пьяном виде я бывал благороден, решил, что не могу этого допустить, не испугался ножа и сбил жигана на мостовую. Понравилось им, что я как бы двумя ногами в двух мирах, хоть это неправда.

Так что я не боялся. Драться я не боюсь. Чуть страшнее, чем в бою, на кулаках и ножах страшнее, чем с пулеметами и пушками, но не настолько, чтобы я не прыгнул на толстяка с бронированным кулаком, с пестью-молнией.

А голова толстого уклоняется от моей молнии, и я вдруг оказываюсь на лапе у толстяка, который поднимает меня к низкому своду, как я поднимаю Юрчика для игры, и я лечу, медленно лечу к доскам пола, и доски стонут, принимая мое тело, и я бы стонал, если бы мог вздохнуть, но дышать нечем, а толстый не дает прийти вдоху надежды, и падает мне на грудь коленями, правая рука моя мертвым зверьком, запутанным в силке кастета, правая рука моя бела и мягка, как головоногий моллюск, правая рука моя бессильна.

Толстяк вздымает огромный кулак, слышу, как от него смердит сивухой, и кулак падает мне на скулу. Слышу треск костей. Кулак толстяка вздет во второй раз и во второй раз упал и конец, конец, темень.

Где я, где я лежу, на каком свете? Открываю глаза.

Толстяк стоит в центре комнаты, Саломея обняла его за шею и что-то шепчет ему на ухо. Толстый взглядывает на меня, в это время Саля целует его в седую щетинистую щеку.

Итак, толстяк стоит, Саломея целует его в седую щетинистую щеку, я тоже стою, а он лежит на полу и приходит в себя. Саломея целует толстого, толстый отпихивает ее, грубо, резко, так же, как отпихнул ее он, хотя толстяк не бьет ее по лицу, итак, отпихивает ее, отворачивается, идет на кухню и сразу из этой кухни назад с мощным тесаком в руке.

А он лежит на полу как дохлая рыба, ему хочется встать, он опирается на локтях, его мягкий кулак опутан кастетом, толстяк подходит, будет убивать.

— Та и красивого пана кончу за такий абрух, — бормочет он с кресовым акцентом и гадко улыбается, скалит щербатую челюсть.

А он внизу довольно протрезвел, чтобы начать смеяться. И смеется: ведь жутко, ужасно так смешно, что он не дал немцам убить себя, весь сентябрь провел максимально осторожно, чтобы не схватить пулю, шрапнель или страшное звание “труса”. А тут он приходит к девке, и его убивает какой-то толстый альфонс либо ее хахаль, либо обычный рахубник, или, вернее, батыр, убивает кухонным ножом. Не справились танки, лаптежники, не справились господа Маузер, Мессершмит и Вальтер, а справился пан Золинген.

Смеется, значит, смеется, не дышит, но смеется.

И плачет, о Юрчике думает. Думает и о Геле, но уже без грусти: пусть убедится, как много потеряла, как мало его ценила. Впрочем,

с грустью, ведь, надо признать, многого Геля, несмотря ни на что, не теряет. Теряет половину мужа и половину мужчины. Сколько их топчет землю? Полумужчин, полу-, скорее, типа-творцов, полуотцов, полумужей, всего по пол, хватит, чтобы посулить, хватит, чтобы вызвать доверие, не хватит, чтобы сдержать обещания. Значит, полумужчина, ведь стало его на то, чтобы полюбила, чтобы наполнила им то место для мужчины, что в каждой женщине есть: в ее теле, в ее сердце, в голове, в душе, но не на то, чтобы не оставалось там места для тоски по чему-то — по чему, кстати? По чему-то большому, кому-то большему, кто больше, кто гораздо, кто гораздо.

Значит, полухудожник, ведь что такое: эскизы и графика в той мере хороши, чтобы не быть пачкуном, и достаточно плохи, чтобы никогда не стать подлинным художником, одновременно хороши и плохи, чтобы сойтись с подлинными художниками, но что это за дружба, разве может кто-либо вообще дружить с ними? Никакой дружбы.

Значит, полуотец, да, конечно, зачал Юрчика, но в какой мере его обеспечивал? Обеспечивал, но сам ли? Когда бы не мать, в какой квартире пришлось бы жить Юрчику, в каких одеждах ходить, что Геля могла бы класть ему на тарелку? Что за недостаток ему от моей графики? Хочу забыть о своей графике и эскизах, ведь мир не сможет о них забыть, ведь мир не имел возможности их узнать.

Значит, полумуж, ведь так, временами давал Гелене опору, скорее в здравии, нежели в болезни, болезни отвращают меня, так что чаще не давал, с такой силой меня порывалась пожрать собственная моя меланхолия. Когда Геля была беременна Юрчиком, а я уехал на полгода в Вену учиться, хотя ничему не учился, только в хойригерах пил вино в веселой компании, посиживал в галереях, а осенью ел каштаны, запивая молодым вином, штурмом, прямо на улице запивал, с пением, и с танцами, и женщинами, а Геля с большим пузом еще в старой квартире одна, четыре стены и папаша эндек, все серьезные, правильные. Патриотичны и евгеничны.

Так лежит он, наполовину человек, наполовину быдло, и смеется навстречу своей гибели, он смеется пану Золингену, он улыбается пану тесаку. Комм, герр тесак!

Толстый кресовяк теряет уверенность. Не привык, чтобы смеялись.

Саломея же виснет на правой руке толстяка, он помешкал, она успела-таки и висит на его толстом предплечье, не дает ему замахнуть тесаком, висит и воет, словно желая оборонить нечто ценное, а не только полумужчину, что лежит на досках, смеется и плачет.

Зачем воет Саломея? О воях Саломеи он мыслит теперь, сквозь слезы и сквозь смех, воя Саломеи не разумея, его ли она желает оборонить, да кто он ей, зачем не хочет дать толстяку развалить тесаком лоб, так прекрасна была бы эта смерть, на войне невредим, Крестом Храбрых украшен, храбро хочет и дальше с немцами, пан полковник, не в плен же идти, а теперь лежит на досках, и толстяк разобьет ему лоб тесаком, которым Саломея рубила говья-

дину с костью, чтобы сварить большой котел бульона в надежде выдержать несколько дней морфийного полета, а может, варила такой большой котел бульона с целью накормить целый легион залетных хахалей из сферы искусства, а сейчас этот тесак родом из прекрасного города Золингена разобьет ему лоб, не немецкая пуля, не бомба, не шрапнель немецкая, но немецкий тесак в руках толстого батяра.

Итак, он лежит на полу и смеется, смеется как безумный и как безумный плачет.

Толстяк стряхивает с себя воющую Саломею, толстой ладонью бьет ее в лицо, но не так, как пощечиной женщину ласково приводят в порядок, а со всей силой, так что голова Саломеи описывает круг, будто жук, и тянет за собой все тело, а он лежит на полу, смеется и плачет, и спрашивает себя, сломал ли этот удар ей шею, упадет ли Саломея наземь уже бездыханной? А она падает, если с дыханием, то определенно без сознания, кувыркается в пируэте и лежит, выгнувшись дугой.

Сам толстяк трактует ситуацию как в высшей степени неуместную: он не любит психов, не возится с психами, психи вызывают отвращение у толстого батяра. Толстяк не убьет Костека, толстяк сплевывает на Костека густой слюной, вот приговор и наказание тебе, нетебе, полулюдь, нелюдь, психованный. Швыряет тесак на землю.

Отворачивается, цапает свою одежду, висевшую на стуле, недопитую бутылку водки цапает и уходит, хлопает дверью, уходит, уходит, сквернословя.

А он лежит, лежу, я лежу, рядом с ним Саломея, дугой, Саломея жива ли? Гляжу на нее с любовью, каковой он к ней не питает, а я люблю женщин, с какими он встречается.

Почему он меня не убил? Теперь придется идти с посылкой на площадь Спасителя. Потому он лежит и плачет. Предпочел бы не жить.

Потому я становлюсь возле него на колени и обнимаю его, чтобы он почувствовал мою любовь, я вся одна любовь. А он плачет.

Плачу. Касаюсь собственного лица, а тот, что следует за мной, тот, что при мне, становится на колени надо мной, голубит меня, блюдет и бдит надо мной, отчего не хотел удержать меня, когда я шел сюда, мог же вернуть меня еще с лестницы, мог указать путь к площади Спасителя, мог наставить меня в тот путь, чтобы познал добро и зло. Тот или та?

Никто.

Встаю, поднимаюсь. Миг размышления: Саломея или лицо? Выбираю зеркало. Я.

Я-нея. В зеркале. Щека набрякла, кровь приливает, опухает веко на правом глазу, касаюсь носа, цел, не сломан. Ощупываю пористые, раздавленные ткани, я это или не я, да я ли эта набухшая щека, это веко, медленно затекающее кровью?

Саломея выгнулась дугой. Лежит на полу. Я уже подле нее, это я подле нее?



Итак, он подступает к ней, склоняется над ней. Халат разлетелся в стороны, лежит нагая, тяжкие груди приподняты, ноги врозь, рыжие волосы меж ног, под мышками, запах водки, мужчины, соития. Жива. В сознании. Избита, измочалена, но дышит и в сознании.

— Саля.

— Костя, я тебе велела: пашол вон, говорила! — шепчет.

— Кто это был?

— Не твое дело, — отвечает мне дерзко.

Она встает, заворачивается в халат, внезапно трезвеет, внезапно стесняется своей наготы, она никогда не стеснялась нагоности, не была натуралисткой, осознавала силу наготы, оттого не расточала свое обнаженное тело по пустякам, но никогда ничего не стыдилась. Она ждала там, на полу, ждала, когда подойду, ну я и подошел, но если это был экзамен, я его не сдал. А может как раз сдал, не подходя?

— Чего ты от меня хочешь, Костя?

— У меня деньги. Иди купи морфия в городе.

— Где же? — удивляется.

— Ты-то знаешь где. Я здесь подожду.

Она молчит, ошупывает шею, ребра, сквозь шелк халата чешет промежность.

— Пойдешь? — спрашиваю.

Она глядит на меня, и взгляд ее меняется, завершение ее взгляда выглядит иначе, нежели начало взгляда, взгляд рождается из утомления, дурмана, вражды, боли, завершается взгляд вожделием, губы приоткрываются, ясное дело — губы также относятся к взгляду, взглядом я смотрю на то, как она смотрит, взгляд не сводится к одним глазам, взгляд есть место встречи ее и моего созерцаний, взгляд является перекрестком видений, и в моем видении находится именно ее рот, и по ее губам, приоткрывшимся, читается вожделие, тех мужчин, немца и толстого, уже нет, а я есть.

— Пойдешь? — спрашиваю.

— Пойду. Но прежде ты пойдешь со мной, Костя.

Хватает его за отвороты пиджака, толкает его перед собой, халат распаивается, она голая, он одет, толкает его на кровать, он поддается, ведомый, идет спиной к постели, она расстегивает ширинку, совокупление, разложение, омерзение, одичание, а я стою подле него, гляжу, как она об него трется, как в него втирает всю свою блядскую женскую суть, гляжу, как спаривается с ним, как подмывается после над тазом, как обтирается без стыда.

В результате я ощущаю на себе ее запах и запах мужчины, совокуплявшегося с Саломеей прямо передо мной. Не знаю, кто это был, немец или толстый батяр, я думаю, немец, Саломея брезговала тучными мужчинами.

— С которым из них спала? — спрашиваю.

— Как это: с которым? — удивилась она, натягивая толстые чулки.

— С которым, с толстяком или с немцем?

Она рассмеялась.

— Почему они здесь были, кто это вообще был, а, Салая? — попробовал копнуть я.

Но Саломея не отвечала, она смеялась, продолжая одеваться. Потом она ушла. А я остался, остался со всей своей напрасной жизнью.

Остался я с тем, как отправлялся в Грудзёндз, хотя я ненавижу лошадей и армию в целом ненавижу, мундиры, петлицы, галуны, полированные пуговицы, зеркальные сапоги, буланых коней, вороненые сабли, оксидированные стволы, поганые рожи, головоломную ругань. А ведь мог же не пойти, многие не шли, отвертеться, отсрочить было не так уж и трудно, человека даже переводили потом в запас как резервного вольноопределяющегося и всего лишь пару дней в году рыл он траншеи в обществе жидовских апашей и прочей сволочи.

Из Грудзёндза я вышел прапорщиком, на учениях в Теребовле, по дополнительном курсе для резервистов, я стал подпоручиком, поскольку это важно, быть офицером, само собой, поэтому я стал офицером, хотя сам ненавижу приказывать и подчиняться приказам тоже ненавижу.

Все ради их очей, ради образа, отраженного в этих очах. Чтобы показать, что я достоин. Для очей моей матери, чтобы в ее тусклых, светлых глазах я превозмог образ своего отца, юноши в кавалерийских сапогах, что, побледнев, едет на войну с французами, как будто ехал сразиться с Наполеоном, палаш, доспехи, седло и стальные грозы в окопах. И сейчас у Саломеи, с портфелем для Лубеньской, тоже для матери.

Он пытается вспомнить, лежит на измятом лежбище, лежит, Саломея отлучилась, то есть она ни покорна и ни властна, нету ее, а он пытается воссоздать последний миг, в котором все еще было. Ведь теперь-то что есть? Теперь ничего нет.

И видит, видит себя самого в зеркале. Свое лицо видит в зеркале, тонкую шею и тонкие плечи. Помазок в дрожащей ладони. В другой дрожащей ладони чашечка с пеной.

Помазок фирмы Omega. Итальянский. Барсучья шерсть с серебристыми кончиками, мягкая, красивая, отлично выписывает петли, скребя пеньки щетины, мягкий крем для бритья, с пышной пеной, которую Константин энергично взбивает кистью в чашке. Ручка у помазка эбенового дерева, аристократичная. Двенадцать злотых.

А потом петли барсучьей кисти на щетинистой щеке Костека, окна в ванной нет, биде возле умывальника, по-за биде ванна во всю ширину, роскошь, люди дорогие, думает Константин в электрическом свете, а шерсть хищника танцует у него на коже, нанося пену марки Truefitt & Hill. На основе глицерина. Прекрасная, крепкая пена, от радости вне себя Константин, что заменил мыло для бритья от “Омеги” кремом Truefitt. Пена намного лучше. На основе глицерина. Пена густая и крепкая. Аромат лаванды.

Это утро. Летнее утро. Год 1937. Август. Под кожу Константину из шерсти барсука просачивается барсучья сила, барсучья хищность. Год 1937, август. В Испании франкисты бьют республиканцев под

Мадридом, сообщают газеты. В Союзе Сталин затевает чистки, так мило они это называют, чистки. Чистюли. Коммунисты коммунистов, сообщает радио.

Радио Elektrum Glogia, подарок от тестя. Семьсот злотых. Экономический кризис. Тестя он не коснулся. Его ничего не касается.

Радио сообщает, что крестьяне бастуют. В Касинке Малой в Лимановском повяте девять убитых. Миколайчик пишет: в данный момент все крестьяне в Польше — за исключением Померании, Виленщины, Вольни, Восточной Малопольши и Верхней Силезии — обязаны ничего ни покупать, ни продавать. Не ездить в города, выполнять лишь необходимые работы в своих хозяйствах. Мы призываем вас, крестьяне, следовать нашему призыву. Будьте солидарны. Оповещайте других — дайте урок штрейкбрехерам. Просите о содействии и помощи у других слоев общества, особенно у рабочих.

А в Москве революционные тройки. Ежовщина, сообщают газеты. Сегодня эта, завтра та, поет Бодо в новой комедии “Этажом выше”. Хищность просачивается под кожу Костеку, станок марки Меркуг соскребает светлую щетину.

Сексапил то женское оружие. Слабый пол. Волшебное еї, волшебное. Та кичится жемчугами. Только ямки на щеках, напеваает Костек. Sex appeal. Адападибидибамба.

Костеку все трын-трава. Костеку двадцать восемь, Костек бреется перед зеркалом, в спальне Геля забавляет малыша Юрчика, Юрчик говорит “абла-бла-бла”, а Костек бреется, поет с паном Бодо, вбивает в щеки лосьон после бритья, застегивает рубашку, повязывает галстук, надевает кремовый костюм, льняной, из польского льна, реклама в газете: плод рук человеческих и польской усадьбы, покупай плоды польской усадьбы, будто господ из усадьбы лично лен ткали. Бело-черные брюки-гольф, еще не разношены. Целует Гелю, он ее искренне любит и ей, пожалуй, верен, Геля говорит, они с малышом на солнышко, на террасу на крыше, ну, ступайте, милые, ступайте, целует сынка, его же попечением, перед зеркалом надевает шляпу, лихо к правому уху набекрень. Сексапил то женское оружие.

Как же он счастлив, спокоен, собран. Он пока что не видел свою жену, омываемую взорами Торака в Париже, в Париж они собирились лишь через несколько дней. Все пока хорошо.

Так что, посвистывая, он выходит из квартиры, лифтом на первый этаж, ах, как современно, ах, как в духе Корбюзье, дом на столбах, словно парящий в воздухе, солнце августа и где он, кризис, Франко, Ежов, Витос, бастующие крестьяне и полицейские шапки с ремешками под подбородком, полицейские сабли, ружья и кони, где оно все, когда глаза от солнца скрыты светлыми полями шляпы. Заходит в магазин на углу их дома, в фирменный магазин, магазин-кафе E. Wedel, на кофе, шляпу свечой на вешалку, она крутится на вешалке, уважает панне, панна Ядя румянится, ведь хорош пан Константин, что ни день садится он за столик и встряхивает простыню “Курьера”, кофе и пончик на завтрак, нога на ногу, ножка на ножке,

новая черно-белая туфля качается под льющуюся из радио утреннюю мелодию, клетчатый носок, жизнь, люди добрые, жизнь ключом, полной грудью, с полным животом, со здоровым телом, чистой рукой, зорким оком, острым умом, светлой головой. Панна Ядя даст еще кофейку, на здоровье, уже варится, пан Костек.

Тысяча забот у него: и стыдно малость, что это деньги матери, но мать говорит ему: Константин, это не мои деньги, это твои деньги. И забота: никто его рисунков не ценит. Или купить не хотят. И конкурс Журавского на художественную программу для магазинов Веделя проигран, Журавский по плечу хлопал, говоря: “В следующий раз, пан Костюшик, в следующий раз”. И в Земянской, “на горке”, что-то плохо на него смотрят. И Яцек все еще обижен после всей той истории. И в машине в двигателе зловеющий свист. Тысяча хлопот.

А после кофе идет Костек на улицу, переходит на другую сторону Мадалиньского, с террасы, с крыши, из-за решетки, из-за двухметровой буквы Ш в слове ШОКОЛАД наклоняется Геля с Юрчиком на руках, машут папуге, а папуся машет им, Костюшик отпирает дверь своего маленького опелька, получил деньги на опель Olympia в подарок от мамы и взял желтый, погода прекрасна, он скатывает крышу в аккуратный рулон на корме автомобиля, лишь рамы окон остаются, и спокойно едет по Пулавской на олимпиаде с оригинальным кузовом, как же иначе, ведь это цельнокузовная конструкция, скромная машинка, зато своя, заправляется на площади Спасителя, станции Standard Nobel, полный бак, шеф? полный, и дальше, Маршалковская, затем направо Иерусалимские, затем налево Новый Свят и к Шимону, на полноценный завтрак в полноценной компании. Что-то зловеще свистит в двигателе, солнце греет обивку сидений авто.

И куда все это делось? Что осталось? Берлога Саломеи, липкая постель, зловоние. Автомобиль реквизируют второго сентября, как утверждает Геля, Константин был реквизирован двадцать девятого августа, магазин-кафе все еще работает, но настроение не то. Немцы украли у него город, украли немцы кафе и рестораны, и банкеты, и дансинги, автомобильные поездки за город, всё украли, но того внутреннего покоя он лишился уже раньше, задолго до войны.

В Париже что-то в нем сломалось. После того, как Геля позировала Тораку, они оба вернулись в свою комнату и молчали, а после Константин заперся в ванной и стоял перед зеркалом четверть часа и еще четверть часа, пытаясь прочесть на своем лице ответ на вопрос: что же такое случилось?

Не разумел тогда, что глубоко в душе его что-то такое сломалось. Не знал тогда даже, насколько важна эта перемена, насколько фундаментальна, не ожидал, что вывернет она ему жизнь наизнанку.

Если у него вообще была какая-то жизнь. Раньше, позже. Когда они вернулись в Варшаву, никто ничего не заметил, никто не понял, что случилось, одна мать знала.

Старая, мудрая и сумасбродная мать Константина, на четыре десятка старше своего единственного сына, притом постаревшая до

времени, ведьма с распущенными седыми волосами, узкими струйками спадающими на плечи, на спину, на иссохшие груди, живот и ляжки, силезская колдунья с костлявыми коленями под пледом, злая королева в кресле на колесах; Константин вернулся из Парижа, глядел на свою мать и видел старого индейского вождя: длинные седые волосы, плед на коленях и трубка, короткая трубка, мать курила в ней смесь табака и трав, поставляемую целым сонмом шарлатанов, сосущих ее богатство.

— Варшава не славянский город, — шепчет она, не знаю, мне ли или просто так шепчет. — Послушай только: Варс-Сава. Это не славянские имена. Полагаю, этимология их кельтская или иллирийская, но я ее пока не исследовала. Работаю над этим.

Ее состояние казалось бесконечным; плод усилий двадцати поколений Strachwitz, освоенный пани Виллеман, и плод четы Виллеман, сама мать после развода вернула девичью фамилию, капитал отдан в управление Федербушу, Розмарину и Партнерам, безопасные вложения капитала, золото и недвижимость в Америке, никакого бизнеса, никаких бумажных денег, только вещи, золото, дома на Лонг-Айленде...

Мама, сказал Константин, мама. Катажина Виллеман, по первому мужу Штрахвиц фон Грос-Цаухе унд Каминец дома Виллеман, старый вождь, Белая Орлица, с лицом как из камня, как из песчаника, дождь выдолбил морщины, морщины глубоки и, как и в камне, недвижны. Константин в дорогом костюме у ее ног кажется себе неожиданно маленьким, неожиданно недостойным, ведь это ее милостью эта одежда и та, ее милостью желтенький опелек с крышей из брезента, от ее щедрот, ее сумасбродства, ее договора с евгеничным тестем жил Константин своей, и неплохой, жизнью, жизнью в квартире на четвертом этаже шоколадной каменицы на Мокотуве, в духе Корбюзье и Журавского, в иллюзорном мире, в мире, навороженном деньгами ниоткуда. Но все равно откуда-то.

И сидит, такой недостойный, на табурете у ее ног, глаза индейского вождя глядят на стену, а на стене распятие.

Простое дерево креста мореного дуба, дуба, окаменевшего в речной воде и твердого как камень, черного, на нем Христос из серебра, обычный, но вместо Иисусовой головы голова птичья, орел или ястреб, и не клонится плечу, а торчит вверх, глаза в потолок.

Ее взгляд следует взгляду хищной птицы к потолку, обратно к Костеку, медленно, тщательно ощупывает комнату, из которой она не выходит уже двадцать лет и которую уже двадцать лет не позволяет обновлять, будто в посеревших стенах, в клубках пыли и паутине скрыта тайна, и не какая-нибудь, тайна человеческого существования...

Итак, прозрачные глаза вперены в распятие, двадцать семь костей каждой ладони обтянуты засохшей, полупрозрачной пленкой кожи, желтые ногти мягко царапают картон книжной обложки, и Константин видит название: "История глаза". Константин знает эту книгу, он ее не читал, потому что его французский не для Батая, но

он знает, в курсе, о чем она, серебряные глаза индейского вождя вперены в распятие, под шершавыми кончиками пальцев страницы перверсий. “Ты повзрослел, Константин”, — сказала тогда мать. Желток из вагины. Мальчик в тебе треснул пополам и задохся.

Повзрослел, чтобы стать поляком.

— Но я поляк, мама, — говорит тот Константин.

— Потенциальный, сынок, — отвечает мать голосом, подобным мантре буддийского монаха, подобным голосу радио, низким, без модуляций. — Хоть череп у тебя и кельтский, зародыш в тебе польский, однако твоя почва была бесплодной. А нынче это издохшее дитя оплодотворит ее, и польскость взойдет, возрастет и изольется. Теперь не забудь спариться со многими женщинами, выбирай тех, что распутны, развратны и порчены, в чьих скважинах гостил не единый мужской меч, чистых женщин не трогай, дев стерегись как огня, девы выпьют из тебя твою силу мужскую. Твоей польскости нужен навоз, клоака, полная жижи, а не сухой женскости девственниц.

Молвит свои безумства, еле отворяя уста, не дрогнет у нее на лице ни мускул, а смотрит она на барельеф на стене: выбил в бронзе мою мать Стах из Варты: ее челюсть служит мне шлемом, из подбородка ее вырастет моя малая голова, я в голове той мальчик с огромными глазами без зрачков. Когда-то она была ослепительно хороша, прежде чем превратилась в седого вождя индейцев. А шальной была всегда.

Встречаются взгляды ее и его отца, ей сорок, а его отцу шестнадцать, встречаются впервые на бюргерском приеме в Kattowitz, Obererschleizien, который почтил присутствием своим граф Штрахвиц с сыном, сыну шестнадцать, в его юных чреслах дремлет половинка Константина, какие шальные у нее глаза, она шепчет, встретив его в вестибюле, шепчет ему в мальчишечье еще ухо, пальцами скользнув по его скуле, на которой едва прорастает щетина, шепчет ему: *Komm morgen zu mir, in die Richard-Holtze-Straße, 1, im ersten Stock, du erkennst es am Namensschild*<sup>1</sup>, ее ужасная в то время чувственность, о которой Константин знает, свидетелем не был, но знает, что была, ныне ее чувственность похожа на потухший кусок угля, не горит и уж не загорится, но есть. Он видит глазами отца, как тот, дрожа в школьном мундирчике, взбирается по каменной лестнице катовицкой каменицы на второй этаж, как стоит перед дверью с карточкой Катажины Виллеман и как стучит в эту дверь, Константин стучит, как если бы сам был своим шестнадцатилетним отцом с очень старым и очень долгим именем, как если бы был собственным отцом и должен был себя зачать.

Болко Штрахвиц стучит в дверь, бумажная визитка в жестяной оправе дрожит, имя, исполненное курсивом, дрожит: Катарина

1. Приходи завтра ко мне, Рихард-Хольтце-штрассе, дом один, бельэтаж, на двери табличка с фамилией (нем.).

Виллеман, и дрожит Катажина Виллеман, исполненная сорокалетнего голодного тела, тела, о котором полагает, что оно бесплодно, тела, которое не сумел удовлетворить ни один из множества любовников и в котором ни один из множества любовников не сумел начать новую жизнь.

Откуда Костек знает это, откуда знаешь, Константин, откуда знаешь о материнских любовниках? Я глажу Костека по лицу и задаю ему этот вопрос.

Разве не она говорила мне об этом, когда мне было десять? Когда мы поездом ехали в Варшаву, разве не треснула дверью пульмановского купе первого класса престарелая матрона, что поначалу не верила своим ушам, а поверив, прибегла к нюхательной соли из флакончика и созерцала, как горит ее мир, как рушится в прах викторианская сценография ее жизни: возле ее сидит чинная, эффектная дама лет пятидесяти, в застегнутом под горло платье, и повествует десятилетнему мальчугану, которому могла бы приходиться бабкой, но приходится матерью, говорит ему на нелепом, неуклюжем польском языке про своих любовников. Горше всего был, в своей неуклюжести, этот польский, а она говорила.

О том, как было ей шестнадцать, и она соблазнила двадцатипятилетнего Эфика, своего первого любовника, коренастого парня, который ухаживал за лошадьми и экипажем ее отца, потому что отец держал лошадей и экипаж, это был год 1885, а они тогда еще жили в Гливицах, где не было ни одного автомобиля.

Катажинка соблазнила Эфика, с которым она росла, который учил ее польскому, ведь в доме говорили на вассерпольши только со слугами, но дом был прогрессивным и слугами не брезговали, слугам случалось даже есть за господским столом два раза в год, а добрая старая пани Виллеман из дома Пионтек посвящала много времени просвещению этих бедных вассерполяков, обучая их манерам и культуре, в том числе немецкому языку, и наставляла свою единственную дочь Касю, что нельзя брезговать человеком, презирать вообще нельзя, презирать можно только грех и нечистоту, и, конечно, нельзя презирать того, кто умеет говорить только по-вассерпольски, ведь где бы он мог научиться правильно говорить, когда и мамулька, и папулька говорили с ним по-вассерпольски? Наставляла по-немецки, но ровно так: “Мамулька унд Папулька”. Негоже брезговать, надо обучать языку, культуре, нужно поднимать с колен, а не отпихивать с презрением.

Так что Кася поднимала и не отпихивала с презрением. Nein, Fräulein, ich darf nicht, ich darf wirklich nicht, so geht es nicht, Fräulein<sup>1</sup>, говорил Эфик, а Кася крепко держала его за толстую шерсть жилета, по сей день помнит грубое сплетение ткани, крепко держала его и тянула к себе, а ее язык искал его рот. Nein, Fräulein. А она расстегивала

1. Нет, барышня, этого мне нельзя, правда нельзя, так не годится, барышня... (Нем.)

его пояс, так было ей интересно, что она там найдет. И нашла: ни мал ни велик, но гораздо, гораздо больше, чем у греческих статуй, которые она тайком разглядывала в отцовских альбомах, что ее несколько удивило и очень взволновало, совсем мягонький и инертный, Эфик больше боялся старого пана Виллемана, нежели желал его дочь. Знал, однако, зачем шел за ней на конюшню. А Катажинка изучала этот здоровый мужской член с интересом натуралиста, он же от ее интереса рос и так ей понравился, что она его поцеловала, наконец Эфик перестал на миг бояться старого пан Виллемана, взял девушку на руки, положил на мешки с овсом, задрал то, что задирают, содрал то, что сдирают, и раздрал то, что раздирают единожды.

После она неоднократно отдавалась ему, пока их наконец не накрыл ее отец, давно подозревавший, что дочь его больна психически. Истеричка. Нимфоманка. Собственно, он не раз видал через приоткрытую дверь, как она трогает себя под одеялом или в ванной. А теперь он видел жирные ягодицы конюшего, его широкую спину, а за этой спиной лицо его собственной дочери, и она его видела и знала, что сейчас будет, но решила не бояться и не боялась. Глядела отцу прямо в глаза через плечо Эфика, положив руки на его ягодицы и притягивая его к себе, а ее отец замер глыбой льда, замер в бессилии, стыд окислился в контакте с бесстыдством, как натрий в воздухе.

И старый пан Виллеман, мой отец и твой дед, которых ты никогда не знал, старый пан Виллеман среагировал лишь тогда, когда Эфик сбил ритм совокупления, выпрямился и завыл, приглушенно, скрипя зубами, но завыл. Отчего он завыл?

Оттого, что как раз свершилось, сын мой, в первый раз тогда мужчина внес свое семя в мое лоно.

Тогда старый пан Виллеман, мой отец, схватил вале́к и ударами валька сбросил жирного кнехта с поруганного тела своей дочери. Однако Эфик, возбужденный мужским деянием, почувал в себе силу и, утратив контроль над своими деяниями, вскочил с земли, вырвал у старого пана, отца моего, оный вале́к и ударил им моего отца. Он не хотел убивать, ударил в колено, свалил старого пана Виллемана с ног — и убежал. Однако старый пан Виллеман тотчас умер, ибо сердце не выдержало.

А потом мою мать, мать Константина, заперли в недавно отквившемся учреждении для душевнобольных в Рыбнике, Обершлезен, и семья переехала в Каттовиц, в новый город, город, который только начал расти, так что в этом росте и развитии можно было спрятать, похоронить и забыть свой позор.

В Рыбнике она нашла своего второго влюбленного: соблазнила молодого врача-психиатра. Рассказала ему о славянах, германцах и кельтах, изучала его череп, определив его как очень нордический, изучала и целовала все его стройное медицинское тело и очень любила этот вздорный встающий член, который Бог вложил мужчинам между ног на их позор и погибель, любила то, что могла поднять его одним взглядом, так что он торчал туго, как зеленый гусар



на страже, ей нравилось, что, взяв его в ладони, она брала в руки всего мужчину, будто сжимала поводья скакуна.

Тогда-то, по прочтении гулявших по больнице номеров “Верхнесилезской газеты”, видимо забытых младшим персоналом или самими душевнобольными, она надумала стать полькой, отчасти в честь мужчины, что порвал ее девственную плеву, слегка наплевав на мать, собственное происхождение и кровь; стать полячкой было несложно, она и стала.

Психиатра звали Альфред Риттер фон Конечны, и благодаря ему, благодаря его безумной страсти, благодаря тому, что, цинично и расчетливо отказывая ему в своем теле, могла заставить его сделать что угодно, единым обещанием по выполнении ее просьбы раздеться для него и допустить к себе. Это было нелегко для нее, поскольку он ей снился, она хотела его и жаждала быть наполненной им, вжатой в простыни, зацелованной что ни ночь; но еще больше она хотела покинуть эту обитель помешанных, и покинула ее наконец исцеленной, восемнадцатилетней, а он благодаря ей вычеркнул из отцовской фамилии полученные за заслуги “Риттер” и “фон” и сразу добавил “й”, став Альфредом Конечным, став, благодаря сумасбродной девушке, поляком, хотя знал, что славянская фамилия, которую он носит, чешская, а не польская. Она сама сказала ему об этом. Исток ее навязчивой идеи: черепа нордидов и альпинидов. Фамилии славян, обряды кельтов, бог Таранис, пальмы и строительные обычаи.

А сейчас она говорит, говорит, говорит об этих любовниках: о польских политиках, немецких офицерах, еврейских купцах и их обрезанных шишаках, о кучерах и шахтерах, о босяках и графах, и о том, что никто, никто не мог зачать в ее теле новую жизнь, и никого она не хотела надолго, хотя все хотели жениться. Врача она бросила два месяца спустя после выписки из больницы: займись польским вопросом, а не моей попой, — велела ему.

Так доходит она до отца. И Костек видит ее его глазами: он видит ее на дрожащей карточке, Катарина Виллеман, и видит ее, когда открывается дверь, Костек чувствует, как шею отца жмет жесткий воротник мундирчика, а она открывает ему дверь, ведет его по коридору в комнату и ведет его по коридорам своего тела. Каким видит он ее тело?

Он видит ее зрелое тело, но без тех знаков, что видал, подглядывая за служанками, уже имевшими детей, без белесых растяжек на животе, грудь тоже другая, ни разу не кормившая, иными кажутся ему даже дебри волос под мышками и в паху, такие красивые и по-звериному женственные.

Женщины кажутся ему самым загадочным видом домашних зверей: лишь частично прирученными, склонными к дикости, опаснее нехолощенного жеребца, страшнее бешеной собаки. Требуется мужчина, чтобы взнуздать этих бестий, так же, как требуется мужество, знание и уверенность в себе, чтобы надежно оседлать чистокровного рысака.

Ее спортивное тело: ездит на бицикле, ни во что не ставя кислые лица, а таковых мало, Каттовиц, Обершлезен, это новый город, город свежий, Катовицы все равно что Америка. Иное дело Гливицы, в душном мещанском Глейвице было бы куда труднее.

В первый раз не столь многое удастся, ведь у юного Штрахвица Fräulein Willemann первая любовница, и первая их плотская любовь заканчивается прежде, чем началась, еще до того, как юный Штрахвиц успеваает избавиться от нижнего белья, но панна Виллеман направляет юношу умелой рукой, она муштрует его под себя, как муштруют коня, и скачет на нем, как на коне, учит его ритму, концентрации, всему его учит. Она не пытается делать его поляком, хотя могла бы, но поляк совершенно ей не нужен, поляк у нее уже был, оттого предпочитает юного прусского аристократа, это ей импонирует и льстит. И панич Штрахвиц наконец с ней и в ней ежедневно, это он домашняя тварь, а панна Виллеман его пани, пьет из него всю энергию, всю мужскую силу, занимая весь мир панича Штрахвица, и год 1909 после условного рождества Христова, а я наблюдала, наблюдала девятьюстами годами ранее, как родится Христос, а родился он, как всякая зверюшка рождается, в крови, и родился как человек, что сложнее, чем рождение животных, чей мозг в утробе не набухает так гротескно, как человеческий, итак, родился Христос из разорванной вульвы, в крике и боли, синий, в крови и слизи, а я смотрела, и все было не так, как написали позже, но было.

В лоне Катарини Виллеман завязь Константина, как завязь Иешуа в лоне Мириам, но с поправкой. Старый пан Виллеман давно мертв. Эфик, он же Йозеф Шиндзелорц, это кучка костей, зарытых в китайскую землю, без черепа, череп нарвался на острие пики ихэтуаня, маленький триумф Китая над варварами из Европы, позже отомстили за Эфика максимы и маузеры, большой триумф Европы над китайскими варварами, а череп конюшего из гливицкого дома Виллеман, вместе с торчащим из него наконечником стрелы, лежит на чердаке гадкой деревянной халупы на окраине Пекина. Костек этого не знает, мать его не знает, знает лишь, что Эфик сбежал из Гливиц и так и не был пойман.

Я знаю. Могла бы шепнуть Константину на ухо, но не шепну. Могла бы рассказать об ужасном вояже несчастного über Breslau und dann weiter<sup>1</sup>, до самого Гамбурга, могла бы рассказать о людях, которых он встречал, о ремеслах, какие он имел, об армии, о походе и, наконец, о войне на китайской земле, но я не расскажу. Какое Константину дело до судьбы первого любовника матери, крепкого кнехта из Гливиц, какое ему дело до любовной связи из прошлого века, когда он стоит в паскудной кухне Саломеи и у него украли портфель, а с портфелем пакет, а с пакетом достоинство, польскость, человечность и всяческую честь?

1. Через Вроцлав и далее (нем.).

Но зачем он думает сейчас о своем отце, которого почти не знал? Зачем глядит на него глазами матери, а на мать его глазами? Есть ли в этих глазах какая-то любовь, что есть любовь, Константин любил Гелю, может, все еще любит Гелю, любит единственного своего сына, но зажгла ли хоть какая-то любовь глаза его матери и отца, любовь случилась ли между ними, могла ли случиться?

Константин пытается понимать. Отец ради Катажины Виллеман отказался от всего: хорошего имени, карьеры, очевидной для природного аристократа, вместо берлинского гвардейского провинциальный, хотя и старый, полк, гливицкий полк силезских уланов, семейная рознь, затем знаменитый громкий суд, поток первых полос в газетах, сенсация, громкая даже для Берлина: силезская буржуазка лет сорока, силезский аристократ лет шестнадцати, затем восемнадцати, затем свадьба, затем все прочее.

Затем последнее воспоминание об отце: Костеку двенадцать, у отца серый мундир, шестнадцать лет разницы и шрам на лице, страшный шрам, и еще страшнее невидимый шрам, ниже форменного пояса, и еще более страшный шрам в душе. Мать все расскажет Костеку. А что за черный орел на мундире? Фрайкор Оберланд. Константин, испуганный ребенок, не понимает, что творится в его семье, отец его побежденный солдат, кавалерист, загнанный в грязь окопов и в той окопной грязи утопленный, он не понимает, что творится в его семье, отец стоит на коленях перед сыном, Костек боится этого молодежьего лица без нормальной щетины, вдавленного шрама, сбегаящего со лба, стягивающего вниз уголок левого глаза и сбивающего гладкую линию скулы узлами блестящей кожицы, сама щека бессильно обвисла.

— Hüte dich vor der Mutter, mein Sohn, denn sie ist wie ein wildes Tier, ein ungeheueres Tier. Sie ist wie die fleischgewordene Sünde, eine Sünde, die in seidenen Strümpfen durch die Straßen schlendert<sup>1</sup>, — шепчет он.

А семидесятилетний индейский вождь, мать Константина, слившееся с комнатой тело, гладит Костека по светлой голове. Стах Шукальский из Варты на стене, мать в кресле, седые волосы водопадом. Год 1936 на дворе, Константин красив и весел.

— Помни, сын, что ты, входя в их жерла, не едино удовлетворяешь своего зверя, помни, так ты достигаешь единения с квинтэссенцией Польши. Не думай о тех женщинах, они суть мясо: думай о Польше. Я есть Польша.

Хотел бы я возразить, ты обезумела, мама, это безумие, хотел бы, но как возражать, когда двадцать семь костей материнской ладони, пленкой кожи обтянутые, сжимаются в кулачок, четыре кос-

1. Остерегайся матери, сын мой, ибо она словно дикий зверь, чудовищный зверь, она словно грех во плоти, грех, который расхаживает по улицам в шелковых чулках (нем.).

точки указательного пальца выпрямлены и указывают на секретер. И губы матери произносят:

— Поддай мне чековую книжку, мальчик.

Подает: книжку, ручку, и мать недрожжащей рукой, шевеля одними лишь ладонями, выписывает чек. Варшавский филиал Почтовой сберегательной кассы учтет этот чек в рамках предоставленного мне кредита, чернила проникают в волокна прозрачной бумаги, Константину Виллеману, мое имя и фамилия на пунктирной линии, тысяча злотых.

И он ушел, облитый ее безумием, с чеком на тысячу польских злотых в кармане пиджака, нежно хлопая себя по этому карману и наслаждаясь тенью бумажного шороха, приглушенного мягкой фланелью, а безумие матери шелушилось и отставало крупными хлопьями и пятнало тротуар, как мертвые медузы, а когда позже он посещал Адрию, Золотую утку, Лурса, Шимона или Земянскую, то снова был Константином Виллеманом, который, как известно, избрал Польшу, хотя мог быть и прусским аристократом, с дядей графом и майором немецкой бронетанковой дивизии, кирасирским офицером и известным спортсменом. Опозоренный отец позор свой искупил кровью на фронтах Первой мировой и пал от польской пули в виду горы Святой Анны, говорят, искал смерти из-за любви к матери. Константин видел его, я видел его пару месяцев назад в последний раз.

Вместо черного силезского орла на шапке он носил череп и кости гусаров смерти, так она говорила, а он, Константин Виллеман, носит ее фамилию и является поляком. Вот это триумф!

Он помнит тот серебряный череп на шапке, помнит шапку на отцовском черепе, помнит отцовский череп, венчающий отцовское тело, череп, спрятанный в мягких складках тела, череп, спрятанный по-за лицом, и все-таки выпирающий там, где его зацепила английская шрапнель, выгрызла кусочек, выцарапала. Ущерб зарос поэтической тканью шрама, розовой и безволосой, побледнел, затвердел, но он есть, и череп под ним скрыт, но обнажен, потому что шрамы затягивают уроны, но не скрывают их.

О черепа наших отцов и черепа отцов наших отцов! — думает Константин.

О череп старого пана Виллемана, о череп старого пана Штрахвица, о черепа рыцарей, сгинувших под Легницей, черепа безымянных купцов, прибывших в Силезию черт знает откуда, из Франконии или Валлонии, черепа варваров, надетые на колья, из уважения либо для устрашения, все истлевшие черепа, ставшие пылью, капель черепов в капиллярном кровотоке пожирающих их насекомых, черепа, кружащие в жилах птиц и с мертвой птицей павшие в чернозем и взошедшие житом и колосающиеся хлебом, съедаемые своими потомками, и циркулирующие в их венах, в их выгребных ямах, канализационных трубах и сточных коллекторах, черепа, текущие в море.

И черепа плывут к морю, а это 1937 год, хороший год, счастливый год, Константин сидит за столиком на полуэтаже в Земянской,

тут и Закопане, и Балтика, и Краков, на кабриолетах, на лыжах, на пикниках, Стависко, все близко. Серебряным локхидом в Вену, такой каприз. Белые лошади в венском манеже.

Теперь все погасло, те кафе и аэропланы, а я остался один в комнате с кухней на улице Доброй, один, но не один, здесь я и она, много ее в папках для рисунков.

Итак, встал в конце концов, обтерся простыней, влез в брюки, защелкнул подтяжки. Еще раз перед зеркалом, лицо мое, в отеках.

В первый раз остался у Сали один, а раньше с чего бы мне оставаться у нее одному, если я в ней вовсе не нуждаюсь, в смысле, не нуждался когда-то.

Когда-то в ней не нуждался, а теперь нуждается. И остается. И раскрывает папки.

А в папках она. Она. Фотографии. Фотографировали ее по-разному, это видно, три Саломеи на одном отпечатке, не знаю, с трех пластин или с одной, проявленной трижды, три Саломеи и ни одна ни чуточки не походит на мою. Моя Саломея как Лилит, несет в себе всю женскую бесовщину и демоничность, сама ее сексуальность как из пекла, каждый оргазм ее грех, и каждый взгляд ее грех, каждое прикосновение ее грех.

Саломея на снимках — как девочка. Лицо, тело те же самые, это ясно. Но взгляд — даже если он порочен, это порочная невинность. В моей Саломее нет и следа невинности, ни даже памяти о ней. Запечатленная на фото Саломея не испытывает оргазмов, Саломея отдается любимому мужчине из любви. Моей Саломее требуется мужчина для нее самой.

Так, следующая папка.

Карандашные рисунки. Не знаю чьи. На папке имя: Германн. Два “н”. Рисунки карандашом. Парнишка влюблен: портреты Саломеи, силуэты Саломеи, жизнь чтоденная, Саломея читает, Саломея пишет письмо, Саломея ест яблоко, Саломея причесывается. Женщина — полна любви и полна жизни. Такую хотелось бы иметь матерью своих детей — не поиметь, но иметь, чтобы видеть ее с младенцем на ласковых руках. Насколько же эти рисунки лживы. Такой Саломея не могла, не может быть, в Саломее и капли нет от тех женщин, готовых лопнуть в промежности, даря миру очередного напрасного человечка.

Людам скорее должно умирать, нежели рождаться, рождение недостойно, низко так домогаться бытия путем явления в мир. Смерть есть акт самонадеянный, зато гордый, обращаясь к неприсутствию, мы выбираем то, что достойнее, поскольку в присутствии, в жизни есть нечто имманентно постыдное, существовать это как громко пердеть за ужином, быть — это жалко, быть это смешно, быть это плохо. Не быть это утонченно. Небытие элегантно. Стыжусь того, что на мне лежит ответственность за оплошность быть собой, за бестактность рождения, за неловкость того, что еще живу, вместо того, чтобы застрелиться или дать застрелить себя нем-

цам, прийти к элегантности путем смерти. Саломея не знает стыда, но знает и отличает утонченное от грубого. Рожать пошло. Саломея не родила бы. Солгала своими взглядами, своим добрым — для него — лицом, солгала Герману с двумя “н” своими кудрями, платьями и задумчивым взглядом над книгой, Саломея не такая.

Итак, следующая папка. Не подписана.

Открываю, опять фото. Вытаскиваю первое и моментально прячу. Но нет, страх побеждается любопытством. Человек же я, в конце-то концов. Человек оттого и человек, что любопытство побеждает страх.

Смотрит. Саломея, полностью голая. Это порнография, но изготовленная не только для того, чтобы раскрепостить желание. Студийно. Саломея и мужчины. Много. Саломея и женщины, ей подобные. Серия фото, отдельный конверт, надпись “Дионисии”. Козленок, голые женщины в венках из виноградных листьев держат козленка за ноги, за голову, очередные фото, с пластин почти слышен визг убиваемого животного, какой звук, какой крик отчаяния вылетает из горла убиваемой, мучимой козы? Костек не знает, но какой-то визг явно доносится с этих фото. Козлиный визг и вой голых женщин. Еще фото, козлик уже растерзан, Саломея в ожерелье из вырванных козлиных кишок, голые, залитые кровью женщины вкушают сырое мясо, зубами отрывая его от костей. Затем бичевание: голые мужчины секут женщин плетью. Однако не так, как в порнографических историях из жизни английской аристократии, это не кара, даже не игра, никто и ничто этих женщин не связывает, они сами подставляют свои хребты и задки под кнут, ягоды ищут бича, боль словно способствует экстазу, который виден на их лицах. Затем совокупление.

Лица. На одной из фотографий я вижу лицо Иги Ростаньской. Козлиная кровь. Я не хочу дальше лезть в папки, где живут разные Саломеи.

— Ты смотрел мои папки, — говорит Саломея.

Как она вернулась, когда вернулась, он не смотрел ни на стенные, ни на наручные, папки сложены там, где они лежали, когда он сложил их, когда привел их в порядок? Я знаю. Он не знает, он забыл. Не знает даже, как оказался за столом, на месте толстого батяра, сидит, щупает отекавшее лицо.

Сколько времени прошло? Я не знаю. Сумерки за окном. Ига. Ига Ростаньская на снимках с Саломеей разом.

— Знаешь Игу Ростаньскую? — спрашиваю.

Это ведь может быть какой-то след, какое-то новое направление поисков, если она бывала на таких оргиях у Саломеи, на оргиях, где вдобавок кто-то позировал, снимал, то, может, в эту сторону двигаться, или спросить у Яцека, хотел бы он узнать о своей жене что-нибудь такое? Да еще от меня, чей неизгладимый след Ига носит внутри, знак, оставленный ее бывшим любовником, могу ли я сказать ему, что видел Игу на снимке нагой, рвущей зубами козью

плоть, разнузданной, окровавленной, скотски спаривающейся с мужчинами и женщинами? От меня он узнать не может. Но мне хватило бы всего лишь схватить этот след, эту нить, а Ядек знать не должен. Поэтому спрашиваю во второй раз:

— Знаешь Игу Ростаньскую?

Но Саломея не отвечает. Вместо этого достает из сумочки золотисто-коричневую бутылочку. Полную. Дай Боже, чтобы жидким морфием полная, дай Боже, и это выйдет до тридцати, может, сорока упоений, забвений, бегств!..

— Что это? — спрашиваю.

— Морфий, — отвечает Саломея. Протягивает мне бутылочку, на ней золотисто-коричневая аптекарская этикетка, вот оно, мое жидкое золото, мое счастье, в бутылочке раствор двух граммов морфия, так что, если использовать экономно, то двадцать раз упаду в теплое никуда. Внезапно бдительность возвращается.

— Почему была бутылочка?

— Отдала сто злотых, — говорит она и возвращает мне двести.

Тепло и радость внезапно увядают. Сто злотых, сто злотых! Сто злотых, моей Геле, моему Юрчику принадлежащие, деньги, которые я обязан менять на их счастье, судьбу их этими деньгами исправлять, сто злотых, обмененные на бутылочку моего теплого счастья, моей жизни прекрасной, моей маленькой, карамельной радости.

— Врешь, сука! — проревел я, и мое опухшее лицо от этого рева тотчас подернулось болью. — Пятьдесят самое большее могла стоить, остальное ты украла!

А она смеялась. А я, разъяренный, иду на кухню, чтобы спрятать остаток денег в бумажник, который лежал в портфеле, вместе с пакетом, который я должен отнести пани Лубеньской на площадь Спасителя.

Однако портфеля на кухне не было.

### Глава III

Нет портфеля.

Моего портфеля нет. Стою на паскудной кухне моей Саломеи, на кухне, которой неведом запах еды, Саломея дома не готовит, не готовила, но теперь-то ей что-то готовить надо, итак, на кухне, которой неведомы касания пытливых детских пальцев, ласкавших дверцы буфета в поисках сладкого, детей у Саломеи нет. Портфель мой лежал на стуле.

Упадет в обморок? Не упадет. Но что-то такое от пола тоненько струится, сквозь тапочки и носки, под тонкую кожу между пальцами, его тело капилляром всасывает страх, страх входит в него. По венам, в ногах тонкие струйки сливаются и утолщаются, чернея, поднимаются выше, через бедра и пах, выше, в брюшную полость, толстым щупальцем протискиваются среди кишок, находят желу-

док, обвивают его, и вот он ощущает, как на животе затягивается жуткая петля страха.

Большого, нежели страх смерти, он же помнит свой страх под пулями. Жуткий. В лесу меж Грабиной и Розтокой, вжатые в палый сентябрьский лист, а в ста метрах за ними, за нами, в ста метрах позади нас выходят два танка, не с той стороны вышли, с другой должны были, и плюют в нас из малокалиберных пушек и пулеметов, и растут вокруг нас маленькие вулканы смерти, и лопаются деревья, и командир Колодзейчак тащит галопом наш бофорс, а я втискиваю лицо в листву и боюсь, боялся, но не так, как сейчас. Чего я тогда боялся? Боли? Умирания? Исчезновения? Чего?

Полковник выкрикивает приказ за приказом, хороший командир, знаю же, приказы прямые, простые, с таким командиром хочется воевать, веришь ему, доверяешь. Можно умереть с таким, потому как знаешь, эта смерть потом что-то кому-то даст.

И не в том дело, что родине. Родина редкая чушь, мало кто это знает, но я знаю. А сейчас, проиграв войну, почти все об этом забыли, но я помню, что родина чушь редкая, я и тогда помнил, и умереть был готов, потому как смерть я тогда тоже понимал.

То было диковинное время, сентябрьская наша печальная и нездоровая эскапада, этот наш, прости Господи, боевой путь, когда мы в основном ползли по лесам, мы не были разбиты, но и ни одному вражескому соединению угрожать не могли, не та огневая мощь, говорит полковник Рудницкий. Нехватка артиллерии, говорит он. Коноводы не встают в строй, человеческий ресурс пропадает. Все это он объяснял нам в те диковиннейшие дни, закольцевавшие капитуляцию в Варшаве, в дни между войной и невойной, невойной в том смысле, что также и непокоем. Но больше никто в меня не стрелял. Сейчас в меня тоже никто не стреляет. Но лучше бы стреляли, чем потерять портфель.

До того, как все это началось, я был готов к смерти. Сразу, едва сел в особый поезд, мобилизационная карта без красной полосы, год: 1909, Удост. гл. кн. (карты) вед. доп., род войск (служба): кавалерия, чин: подпоручик, фамилия, имя, имена родителей: Катажина Бальдур, приписан к 9-му Малопольскому уланскому полку в Тереховле (название формирования), предписание: см. стр. 2, вышеозначенный имеет возможность бесплатного проезда поездом, Геля с Юрчиком на перроне, самый, вероятно, счастливый миг ее жизни, муж ее, поляк, офицер, красивый такой, горло стянуто змейкой по воротнику, сел улан, сел в поезд на войну. Может, погибнет улан, может, орден привезет. Мститися ей сине-черная лента *Virtuti*, но не дали, и знала ведь, когда я вернулся, что дали малиново-белую ленту Храбрых, она же хотела *Virtuti*. А тогда Геля отмечала в памяти каждую секунду этой встречи, крошечные часы на ее запястье отмеряли эти секунды, а Геля отмечала в памяти, чтобы после заметить в своем крошечном дневнике крошечными, изящными буквами, что проводила сегодня Костека, что разрывалась,



когда чувствовала, что с одной стороны любовь, а с другой Польша, что хотела бы удержать меня, но должна отдать меня Польше. Захлопнет свой блокнот, закроет свое вечное перо марки Pelikan из зеленого бакелита и закроет свои глаза белого и зеленого вещества, яркий прямоугольник окна будет светить даже сквозь опущенные веки, и будет переживать себя саму, такая сытая своим трагизмом, такая счастливая в себе полька, ее чистое лоно дало Польше Юрчика, а ее чистое сердце отдало Польше меня. Готовая уже сейчас, в этот миг, стать прекрасной вдовой со строгим лицом, если какие-нибудь черные немецкие птицы нападут на поезд, везущий меня в Теробовлю, как напали они на Гернику. Такая счастливая в своей тревоге, подлинно тревожная и подлинно счастливая, я могу умереть, тогда она может остаться одна, поэтому стоит теперь на перроне и плачет, а каждая слеза, что твой алмаз. Что острое сверла.

Я не чувствовал к ней ненависти; была она мне безразлична. Одного Юрчика жалел, знал, как она его воспитает, если я погибну. Знал, впрочем, что воспитает его точно так же, если не погибну. Пропал Юрчик.

И когда это я перестал в ее лице видеть ее саму, а вижу лишь познанское лицо тестя и присягу Польше?

Итак, был к смерти готов. Ничто меня не волновало.

Я сошел в Теробовле, перешучиваясь с парой уланов, которых встретил в поезде, мы, дескать, прибыли аккурат на праздник полка, ведь было 31 августа. Ровно годом ранее я был в Теробовле, тоже 31 августа, с женой, с Юрчиком, полковой праздник, как тогда гордилась она своим подпоручиком! Кроме Гели, все видели во мне штатского в форме, никого это не раздражало, тогда я был всего лишь резервистом, в конце концов. А месяц с лишним тому я, Костек, я талант нереализованный резервист мобилизованный маршем прошагал в казармы, получил задание и был готовым к смерти: тогда, и когда полк спустя двенадцать часов погрузился в вагоны, и когда мы высадились первого сентября под Неклей, неподалеку от Познани, проехав всю Польшу.

Тогда я видел себя не офицером, не патриотом, готовым сложить голову за отчизну, но наблюдал себя, как бы глядя на лист, несомый течением реки. Было это упоительно: не думать за себя, и не в том суть, что я подчинялся приказам. Суть в том скорее, что несла меня история, я был ее частицей, молекулой воды в потоке, что внезапно перевалил через горный порог и рушится вниз. Если я втискивал лицо в траву, армия "Познань" втискивала лицо в траву. Когда стреляли в меня, то стреляли в генерала Кутшебу, а когда стреляли в Кутшебу, то стреляли в Польшу. Я был людской массой.

Сегодня я боялся по-другому. Чего мне было тогда бояться, что Крест Храбрых посмертно дадут? Судьбы Гели овдовевшей и сынка осиротевшего? Во славе жить станут, малыш вырастет в тепле мертвого отца, лучшего, чем был бы живой.

Ну какой из меня отец для него, даже будь я жив?

Лучше бы я тогда умер. Блаженны те, что в аду; им в конце концов уже не нужно терпеть этот мир.

Лучше бы я тогда умер.

Но я не умер, и вот посылка для Лубеньской пропала, что там могло быть, деньги наверняка, деньги, которые исчезли.

Известно, что о нем подумают. Что он украл. Кто же мог украсть, как не он? Геля: сжав губы и бедра, иди вон. Юрчик ничего не понимает. Гесть, эндек познанский, шипит: висеть должен и висеть будешь, подлец, тать, иуда. Все пропало. Украл, потратил на шлюх и наркотик. Украл, ибо мог украсть, а они так в него верили, поляком позволили быть, гордились, что поляком хочет, а он пакет для Лубеньской украл, сучье семя, сучья кровь.

Лицо онемело, меньше болит. Угасает боль, угасает все. Даже Саломея угасает. Что еще? Стыд. Следствия. Сжатые губы и бедра.

Когда это началось, думай, когда?

Когда превратился в того человека, в какого превратился? Худшего, не худшего? Какой я, кто я, что со мной творится? Кто я есть? Есть ли...? Что не так со мной? Мной ли...?

Стоит как дурак с разбитым лицом в кухне Саломеи, стоит и смотрит в мучительно пустую точку на стуле, в точку, куда положил портфель, и надо же, кидается в глупые поиски: под столом, под буфетом, голова в синяках при каждом наклоне приливает кровью и пульсирует, вот-вот лопнет. Но знает ведь, что нету. Уж коли нет, то нет.

— Он унес, Костя, унес его, — говорит Саломея.

Значит, случилось оно, случилось. Случилось то, от чего я убежал целую жизнь, от чего пытался спрятаться и чего боялся: я перечеркнул себя. В их глазах. Недостойн! Как бежал я пули и слова “трус”, сильнее всего боясь последнего, бежал слова “отступник”, “не-поляк”, мне даже нравилось в польскости то, что так легко в нее продвигаться, что стать поляком просто, они всех принимают, вот и меня приняли. Лстыл их польскости каждый немец, который желал стать поляком, поскольку втайне они себя презирают, мы себя презираем, а тем не менее стал я поляком.

А нынче утратил вверенный мне пакет. Как утратил? На почве женщины утратил? На почве крови утратил? Или на почве того, что недостойн?

Когда это произошло, когда Константин Виллеман из милого, порядочного юноши стал Константином Подлецом, когда стал он циником? Ведь это и привело меня сюда, в квартиру этой разнуданный шлюхи, где немецкий офицер встречается с бандитом.

Что довело меня до ее пизды, в которой киснут соки столько мужчин, чего сбежал я к этой параше от чистого лона моей евгеничной жены, от чресл ее чистых, как польский алтарь, от лона ее, похожего на цветущий луг, от этого польского нерестилища, что с радостью впускало мое семя, дабы возвращать поляков, однако же хуй мой впускало с отвращением, ибо разве подобает кому-то тыкать польской женщине между ног хуем? Мое тело было для нее

неизбежной и мрачной обузой. Желалось бы ей, чтобы у нас не было тел. Но ради Польши и это могла вынести.

Геля в процессе совокупления: на спине, отвернув лицо, обнимает меня руками за шею, не целуя, потому что поцелуи чисты, значит, принадлежат к другому миру, ногами обнимает меня за бедра и выпускает меня, так безвольна, чиста и пассивна, не шелохнется даже, Геля скорее позволит мне сделать что-то с ней, нежели что-либо сделает со мной, и лишь иногда, в самом конце, сдерживаемая дрожь пробежит по ее телу памятью об иной женственности, подавленной в ней чертовым воспитанием.

И поначалу мне, глупцу, этого хватало, а затем познал я блядские штучки, блядские уловки и стоны, блядское верчение попкой и блядские ласки, ловкие блядские ручки на моем теле, обман все это, но как же хорошо быть так обманываемым.

А нынче утерял портфель. Утерял портфель, портфеля нет. Себя утерял в их глазах.

Не примут его, оттолкнут. Как ему помочь? Обнимаю его, утишаю его идущую кругом голову. Мозг мой лопается.

Целая моя жизнь, все вдребезги. В пыль. Немцы раздолбали. Рыдз раздолбал. Гитлер раздолбал. Варшаву раздолбали. Я сам все раздолбал, нет Варшавы, нет Гели, нет Юрчика, ничего нет, только портфель украли, я все это связал воедино, все нити истории сошлись во мне, а я распался и все распалось, когда я распался.

Все у меня было, что осталось? Ничего. Портфеля лишился, в портфеле его гонор поляка и честь офицера, в портфеле он целиком, толстый батярь выкрал портфель и, крадя портфель, украл Константина, Константина больше нет, Константин украден.

Так что же делать, ему уже ясно и неясно одновременно. Мама. Но это не лучший выход, это вообще не выход, но ему ясно, а я хотела бы удержать его, хотела бы сказать ему: не иди, Константин, к ней, она тебе не поможет, она тебя не спасет, она засосет тебя в простор своего безумия, не иди, Константин, не иди, хотела бы выйти из тени, обнять тебя, удержать, куда идешь, Константин, глупый, не иди к ней! Уже ничего не может тебе дать.

Итак, я выхожу, и вот, словно бы она шла за мной, не Саломея, не мать, а она. Идет за мной, следует за мной медленно, неохотно, однако не может от меня оторваться, должна идти за мной, и я знаю, знаю, что она женщина, а точнее женская, в стихию феминную погруженная, в стихию земли, влаги и луны. А я не слушаю ее, так же, как не слушал бы сейчас Саломею, даже если бы та не молчала, и выбегаю, деревянная лестница, улица Добрая, и вдруг на месте кругом! Ведь у нее, у Саломеи, осталась моя добрая бутылочка, бутылочка, полная счастья за сто злотых, как же ее забыть, как бросить, как не забрать?

Кроме того, вспоминаю: комендантский час. Вспоминаю: на моем запястье часы, проверяю время, девятнадцать тридцать две. Уже полчаса как.

Так что возвращаюсь по лестнице, рассеянно, рассеянный, будто бы по ветру, будто я по кускам возвращаюсь, будто одна одежда меня сплачивает, портфель утерян, я это, я, уже заперто, портфель утерян, закрыто на ключ, поэтому стучу в дверь, портфель утерян, стучу в дверь, прогрыз бы тонкое дерево, но она отпирает, отпирает, стоит передо мной, курва она, Саломея, поэтому даю ей в лицо уже в передней, так нужно с ней разговаривать, я не забыл кнут, раз уж иду к женщинам, я Константин Виллеман и моя есть сила и моя власть, она же, Саломея, должна признать и признаёт эту силу, я опять тот Константин, какого она знает, какого она захватила и захомутала и какому в то же время, захватывая, сдалась. Портфель утерян.

Идем в постель, постель принадлежит нам, златогардый шприц, игла и жидкое счастье уже течет моей веной, а она, с лицом побитым, с лицом зареванным, делает то, что ей надлежит, счастлива в своей сдаче. Или это я стою на улице?

Что с тобой, Константин?

— Что с тобой, Костя? — спрашивает Саломея.

Стало быть, я у нее, объятый ее губами, голый на опороченном белье ее курвиной постели, жидкое счастье ласкает мой мозг, и она ласкает меня, ее ладони на моих бедрах.

Так для него безопаснее, хорошо, что он не пошел к матери, хранят его мои тонкие руки, стережет его мой прозрачный взгляд, я сама его охраняю, но я не защитила его от той женщины, что пичкает его наркотиками и ласкает, я не защитила его от его матери и не защитила его от Польши.

И я падаю в пух, тону в патоке, моя прекрасная, добрая Саломея, моя нечистая, запачканная, опороченная Саломея, сколько мужчин в твоём теле нашли свою маленькую смерть? И я умираю большой смертью, сто раз умираю у нее во рту, а она смеется, она знает, что принадлежу ей, а не Геле, не Польше, я ее, именно она держит в зубах и может раздавить меня, если бы только хотела.

Мир обволакивает меня теплой пеной, вокруг стены столетние вьются шелковой шалью, каждый кирпич касанием неги, гипс что твои губы, прижатые к телу так легко, что не сминается их розовая тонкая кожа.

И я спрашиваю сквозь простыни, перины и одеяла: так кто он, Саломея? Куда делся с моим портфелем тот толстяк из Львова? Там была у меня великой ценности вещь, пакет, который Польша велела мне доставить на площадь Спасителя, на второй этаж дома на углу 6 Августа, где живет пани Тереза Лубеньская, а это важная квартира, моя прекрасная, добрая шлюха, ты должна понять, моя чудная Саломея, поэтому я должен найти портфель и посылку, тащущуюся в его темени, ты понимаешь, Саломея?

А она смеется, задыхается и смеется. Ведь ты не умер, так где ж твой юмор?

— Что? — спрашиваю.

— Ведь ты не умер, так где ж твой юмор? — поет Саля голосом Адольфа Дымши. Я засыпаю, я впитываюсь в белье, простыни вокруг меня, затхлый воздух жилища Саломеи, стены старой каменицы на Дobreй, вокруг меня Варшава, где-то в Варшаве толстяк и мой украинский портфель, а я засыпаю, пропадаю, падаю, падать немного.

Будит. Его. Меня. Утро. Открываю.

Глаза. Открывает. Рядом с ним она. Чудовищная. Часы. Восемь двенадцать. Число: тринадцатое. Восемь или двадцать? Окно: светает. Восемь. Октябрь.

Улыбается. Костек тоже.

— Шлюха, ты.

Говорит он. Костек. Говорю я. Она улыбается.

— Я твоя шлюха, — мурлычет.

Как это звучит, аж кровь закипает в жилах, как звучит это “я твоя шлюха” в мире, где полно женщин, которые не едят, не подтекают и почти не дышат, являются эфирными фантомами и даже не рискнут погулять с мужчиной, чтобы не спровоцировать слухов. Как хорошо, что ты моя шлюха, моя прекрасная, липкая Саломея.

Мурчит. Изумительно. Засыпает. Засыпаю я. Костек засыпает. Я почти. Опиумное скольжение, скольжу вниз, в медово-сладкую патоку, сахарно-обморочно-карамельную.

Портфель. Нет портфеля. И вдруг все доходит, дошло до меня, все всплыло, о Боже, о добрый Боже, который есть, и ты, Боже, которого нету вовсе, черт подери, все лупит в меня, как панцердивизион, а я вдруг обретаю силу, все знаю и всем властвую: портфель толстяк адрес пистолет, фотографии оргии вакханалия Ига Яцек госпиталь, морфий Геля Юрчик мой сладкий и хороший будущее нации тесть, эндеки эндеция корпорация Веления, шоколадный дом Пулавская Мадалиньского Ростаньского Журавского, негоция наличные банк отлично, площадь Спасителя Лубеньская Ярослав и рука красивая, акция оккупация конспирация регистрация, Лурс Земьянская столовая питательная полковая конюшня, и всё. Всё. Все охватывает мой разум, надо всем властвую. Силу имею.

Не знает Костек, не знает, что никакой силы он не обрел. Это я ему дала, я его силой напитала. Откуда же я ее беру, откуда у меня?

Осматриваюсь по сторонам. Саломея спит, голая, нагая рядом со мной нагим. Ноги раскинула, белые ягодицы лопнули, в черных зарослях скрыты мягкие складки зловещего срама, врата маленькой смерти и врата жизни, пропасть, в которой мужчина прекращается, сердце тьмы, к которому плывут по ужасной реке женского тела, вверх по ее течению, на заклятие в пра- и нечеловеческом.

Я тоже голый, мужеский член дохлой крысой. Вонь человеческих тел в нетопленной комнате циркулирует иначе, нежели в жаркой духоте и, пожалуй, более неприятна. Сажусь в постели, отворачиваясь от кожи Саломеи.

Итак, теперь план, офицер всегда действует по плану. Во-первых, одеться.

Одеваюсь. Как холодно, нет в Варшаве угля.

Что дальше? Рубашка застегнута, галстук повязан, туфли зашнурованы, подтяжки застегнуты ровно, жилет застегнут без нижней пуговицы, пиджак помят адски, скомкан в углу, делать нечего, война, не до слез по измятому пиджаку. Кастет на полу, в карман его. Что дальше? Портфель. За портфелем — Ига. Ига — на фотографиях в папках Саломеи. Но прежде — портфель, в нем посылка.

Чтобы найти портфель, нужно выяснить, кто таков жирный львовский батяр и где может находиться.

Так действует офицер, именно так: без эмоций, рационально, сдержанно, спокойно, и я таков: рациональный, сдержанный, спокойный.

Саломея может быть единственным потенциальным источником информации о whereabouts батяра, как говорят англичане. Whereabouts, красивое слово, батяр, Щепко и Тонько в одном жирном теле, чтоб ему... Как говорят англичане?

Нет. Офицер так не действует. Не поддается. Эмоциям. Сейчас я офицер. Запаса, но офицер таки. Подпоручик запаса Константин Виллеман, девятый Малопольский уланский полк, четвертый эскадрон, командир третьего взвода, награжден Крестом Храбрых.

Я уже одет. Хорошо. План: где батяр? Саломея. Сама она не скажет. Она мне не скажет? Не скажет.

Устрашить. Так точно.

Кухня, кухонный нож, ножа нет, есть тесак, на полу лежит тесак золинген, которым толстяк собирался меня убить, но Саломея не дала. С тесаком оседлать Саломею. Внезапно меня мутит, меня тошнит и я блюю, меня рвет на пол, я даже не знаю чем, полностью переваренные остатки чего-то, желчь, голова кружится, опираюсь о кровать, по-прежнему сидя верхом на этой прекрасной, гнусной шлюхе.

Курва просыпается, переворачивается подо мной на спину, словно уж вьется в моей мокрой ладони, словно не имею я над ней никакой власти. Нагая, прекрасная, ее полные груди дивно стекают к подмышкам, но сейчас я офицер, и должен вернуть свой портфель. Зловоние ее тела ползет, сочится в ткань моей зимней одежды.

— Где найти толстого? — спрашиваю самым прямым, самым простым образом, как и надлежит спрашивать, ровно так.

Саломея уставилась мне в лицо и ничего не понимает, не проснулась еще, и я вдруг осознаю, ищу глазами полную счастья бутылочку, бутылочку добрую, и вон, вон, вижу, трети недостает, сколько же морфия загубила эта темная паскудная сука, спрашиваю сам себя, сколько в свои нечистые вены впустила?

Но-но-но, не до подобных вопросов, подобные вопросы неуместны сейчас, сейчас я офицер, сейчас у меня есть план. Добавить к плану: где взяла Саломея добрую бутылочку, полную солнца, радуги и радости, этот контакт Саломеи установить, но не сейчас, а потом, после портфеля, пакета и Иги.

Бью ее по лицу, с силой, голова дергается и поворачивается, в мягких грудях дрожь, будто я швырнул камень в зеркальную глубину пруда. Так не по-джентльменски, не по-офицерски, офицер не даст по лицу даже девке, девке прекрасной и мудрой, как Саломея, но сейчас она не женщина, сейчас она носитель информации, а я дознаватель, кроме того, по лицу затем, чтобы разбудить, едва ли это насилье, влупить для отрезвления по лицу. Стало быть, дал. Стало быть, проснулась. Тесак в моей левой, и я внезапно стыжусь этого тесака, разве затевал я рубать тесаком мою прекрасную, добрую Саломею? Как можно, сама угроза кажется такой глупой... Стало быть, тесак канул куда-то в постель, беру ее за лицо, сжимаю ей щеки, сдавливаю и спрашиваю, отделяя каждое слово зловещей паузой:

— Где — найти — толстого — говори!

Шиплю, не говорю, я должен быть страшнее толстяка, она должна бояться меня сильнее, чем его, я должен ее ужасать.

А она стонет что-то, этот стон невнятен, она все еще падает, она все еще глубоко в сладко-карамельно-медовой патоке.

Поэтому беру с умывальника кувшин и плещу на нее, плещу. Приходит в себя, приходит. Зачем, Константин, ты говоришь все это вслух?

Кто спрашивает, неужто Саломея, Саломея не спрашивает, Саломея молчит, неужто я говорю вслух, все время говорю?..

Я спрашиваю. Константин меня слышит. Свои мысли проговариваешь, Костек, все время, вслух.

— Все время проговариваю?

Вербигерация, одержимость, говорю, насущная психопатология, слова повторяю, слова.

— Вербигерация, одержимость, насущная психопатология.

— Костя, я ни панимаю ничево, ты что, Костя, что?

Этот стон внятен, конкретен, я этот стон разумею.

— Где найти толстого, как его звать, говори, женщина!

Она отворачивается, лицо в подушке, стонет.

— Дай попить, — шепчет сквозь перья, сквозь наволочку.

Я тебе дам попить, паскудная ты курва! Сполах гнева, и я кидаюсь на нее, лицо ее вбиваю в подушку, держу за космы на затылке, спину прижимаю коленом, а голову вбиваю в подушку, в матрас. Она задыхается.

Офицер так не поступает. Я поддался эмоциям, Костек поддался эмоциям, нельзя так, но раз уж я здесь, то отступать теперь не можно, verboten, нельзя отступать, поэтому я ору, где толстый, орет Константин Виллеман, подпоручик запаса, девятый Малопольский уланский полк, четвертый эскадрон, третий взвод, три линейных секции, секция ручных пулеметов, вестовой, коноводы по одному на секцию, только один, все остальные в строю, взвод спешиться штыки ночь цепью стрелковой шепотом цепью стрелковой пригнись ночь в лес двадцать семь уланов, Гаврилюк, Новак, рыжий Ковальчик, старший улан Бочага с пулеметом, зато без верхних резцов, с

шиком сплевывает через эту щербину и очень тихим шепотом клянёт курва вашу мать гитлеровские псы ебанные фрицы немецкие, наводчик секции щербатый старший улан Бочага, пулеметчик жирный Хайке, Земба, Киневич, все идут, мой взвод, у кого гранаты? Спи, дружище, в темной могиле, пусть снятся тебе курвы. Тихо. Стрелковая цепь. Ветви и листья.

Сейчас, сейчас, почему сейчас? Саломея?

Эскадрон крупнокалиберных пулеметов, ротмистр Хохол и пулеметы, орудия обр. 1930, Грудзёндз, в Грудзёндзе курсант Виллеман, а с ним вахмистр из царских уланов, что есть пулемет обр. 1930, пажалста, честь имею доложить, пулемет обр. 1930 групповое автоматическое оружие, предназначено для поддержки пехоты и кавалерии в их действиях путем стрельбы прямой и не прямой наводкой, лады, харашо, Виллеман, сядайте, пулеметы во вьюках, пулеметы на тачанках, толстые стволы согласно регламента приторочены к вьючным лошадям, одна лошадь орудие на станине два ящика патронов вторая лошадь четыре ящика патронов один конюх необходимость запасной ствол приклад для зенитной стрельбы третья лошадь шесть ящиков унтер-офицер вестовой коновод сменный стрелок.

Боже, что со мной, что с тобой, Костек, Саломея трудно хватает воздух, Константин трудно дышит рядом, он ее пустил, дышит, опершись о сервант, что за лес, что за цепи стрелков, враг на левом фланге, с Богом, заряжай, на предохранитель, ночью тихой ночью лесной раздаётся визг золотистых смертей, любовно скользят в зарядные камеры, оттуда наружу выгорев, дымясь, семенем ствола плюнуть, щелкают флажки предохранителей, что с тобой, Константин? Гаврилюк, передайте гранаты первой шеренге, шепотом.

Саломея уже сидит, в какой момент она села, Саломея вжала плечи меж подушек, полностью отрезвела, полностью проснулась, полностью в себе, обеими руками сжала тесак и выставила его перед собой, но у тесака нет острия, который тонким своим концом оградил бы ее от Константина. Лицо красное, почти посинелое, карта подушки оттиснута на этом лице, Саломея в ужасе, обнажена и жирна, тяжелые сиськи, круглый живот, а над моей головой, высоко, стрекотанье медных цикад, стонут источенные деревья, сыплются нам на головы сучья хвоя листва как зеленый снег, как детский розыгрыш, что с нами, я не знаю, не знаю? Но мой взводный капрал знает. Станковый, кричит он в тон визгу далекой очереди, этой разодранной простыне, теперь понимаю, теперь знаю, в укрытие, кричу я, в укрытие, борюсь с кобурой, зачем, зачем? Подать сюда ручной!

— В укрытие!

— Костя, с ума сошел, Костя, что с тобой? — вроде обычный голос, а на самом деле крик, боится, хорошо, хорошо, хорошо. Саломея.

Я возвращаюсь. Нет леса. Нет цикад. Есть каменица, улица Добрая. Уже ближе, я уже ближе. К себе, к ней ближе. Уже на месте.

— Ты меня душил! — плачет Саломея с укоризной. Но тесак положила.



— Где найти толстого? — спрашиваю.

Внезапно протрезвел, абсолютно, вчистую.

— Где найти толстого?

Бойтся меня. Бойтся.

— Улица Лешно, номер шестьдесят, против городского суда. Возле скорой помощи. Квартира номер тринадцать, пятый этаж. Он там у сестры, — говорит неожиданно трезво, без сопротивления, как будто сообщает мне незначущий адрес, и сообщает достоверно, как требуется, строго.

— Как фамилия?

— Туманович.

Смеется. Смешно.

— Глупо.

Саломея пожимает плечами.

— Каетан. Каетан Туманович, из Львова.

Знаю! Вернее, уже знаю то, что мне нужно знать. То, что важно. Теперь: уйти!

Двери за мной захлопнулись, сбегая по деревянным ступеням, выбегаю на улицу, хватаю воздух, да, да, ушел. Морфий остался у нее. Не хочу я морфия.

## Глава IV

Здравствуй, Варшава изнасилованная! Утро.

План: Туманович Каетан, уроженец Львова.

А бутылочка, полная солнца и радуги, текучая детская улыбка, текучее малиновое мороженое внутривенно, что с моей бутылочкой, полной добра и тепла?

Оставил у Саломеи. Забрать с собой не мог, должна была там остаться, у меня ведь план. Я офицер, офицер должен свое исполнить, у него своя работа, иначе быть не может, а с бутылочкой в кармане я буду как влюбленная институтка, бутылочка должна была остаться у Саломеи.

Поразила меня сила собственной воли, насколько же я стоек, предан своей стране и долгу, ведь Саломея, скорее всего, будет кейфовать за мои деньги так долго, покуда не сгинет в ее черных жилах все мое счастье, не будет поглощено ею, отнято у меня навсегда. А все-таки не взял бутылочки с собой, у нее осталась.

Что теперь?

Домой не могу пойти, там Геля спросит, что с посылкой, доставил ли я, что сказали, станет ждать ответов. Так что вернуться бы надо.

А день хорош.

И вдруг само возвращается. Мундир, пистолет, приказы. Две недели тому назад, ну, почти три, стоим мы на Горской, враг на расстоянии удара, форт Домбровского уже сдан, Антек Венявский из второго

шеволежеров должен был отбить, но ведь всё сдали, Советы вошли, немец уже в Варшаве, а тут Рудницкому придают из бригады эскадрон, наш полк усиливают, и Венявский должен был отбивать форт с этим эскадрон. Но он не отбил, смели его по пути, эскадрон рассыпался под огнем, и мы стоим. Всю дорогу до Теребовли поездом и от Теребовли поездом, верхом и пешком, чтобы закончить войну в километре от собственной квартиры. Людей по погребам хоронят. Труп женщины, пополам на уровне бедер разорванный, обрывки кишок, черные лобковые волосы на этом огрызке человека, пара пухлых ног, одна в чулке и туфле, рядом с трупом ребенок, лет, может, двух, не задет, совершенно голый, живой, плачет беззвучно, рот открыт широко, ребенок белый весь, будто его мелом натерли, пытается ртом своим что-то провить, но безуспешно. А за ним дом — факел в три этажа, знамена рыжего огня в окнах третьего, черные хвосты дыма.

Кто-то заберет этого ребенка, спрашиваю, кто-то его заберет? Ксык берет его на руки, бежит с ним куда-то, мундир весь белый, глаза широко распахнуты. Не спрашиваю.

Так воевали в Мокотове, кавалерия в Варшаве. На Мокотовском поле приземляется самолет, последний польский самолет, который я видел, странного типа, на караса похож.

Как это вообще звучит, воевать в Мокотове, как это звучит, воевать в Чернякове, как звучит, когда противник атакует через Вилянув, с юга, никакой противник не должен атаковать через Черняков, никакие бои не должны идти в Мокотове, на Мокотове живут и пьют кофе в фирменном магазине-кафе Э. Веделя, и горячий шоколад, дом из шоколада, Юрчик машет из-за Ш в огромном слове ШОКОЛАД с крыши нашей каменицы, на улице стоит мой желтый опелек, опелек мой стоял припаркованный, как мог ходить по этой улице немецкий солдат, как могли идти по ней немецкие легкие танки, если на ней стоял мой желтый опель Olymria с откидной крышей, мой кабриолетик, в котором я возил жену и разных шлях тоже возил?

Однако идут легкие немецкие танки по улицам Черняковской и Пулавской, а шли и тяжелые, с востока Советы шли, так даже лучше, что немецкие, а не большевистские танки идут по Черняковской, а на моем опельке наверняка какой-нибудь генерал или другой инспектор жирный удрал в Румынию, дай Бог, фрицы по дороге развалили его с самолета, с авиационной турели снаряды проббили брезент на крыше моего опелька, а то и лучше, было тепло, он ехал с откинутым верхом, и очередь легла так, что сделала дырки только в толстом генерале и его курве, которую взял с собой, жену и детей еще в августе выслал в Париж или куда-то там, значит, лег генерал головой на руль, а мой опелек просто сбросил скорость, встал на шоссе и ждет какую-нибудь душу, что нежно позаботится о его желтых боках, салон от крови отдраит.

А то, может, где-то под Бучачем или Тернополем большевики выгнали генерала из опеля, обобрали как липку, генеральскую курву изнасиловали и убили или сделали из нее подстилку комиссарскую, и ездит

курва на моем опельке, у красного комиссара под бочком... Чтоб им всем, значит. Уже бывал мой опелек под Бучачем и Тернополем, был у нас такой пробег, мой опель, два шевроле и три польских фиата, два пятьсот восьмых и один пятьсот восемнадцатый, точно помню, мы организовались через автоклуб и даже в газете писали, состав не слишком шикарный, не слишком элегантный, но ралли все равно вышло красивое, пумпы и каскетки, а у дам даже кожаные кепи, пилотки и полетные очки, у Гели были полетные очки, и мы ехали большей частью с открытым верхом, шоссе номер восемь, но в Румынию не въезжали, хотя сначала был план ехать в Хотин, но не поехали, только осмотрели Окопы Святой Троицы, а затем обратно, навестили полк в Теребовле, Тернополь, Львов, Томашув, красивое шоссе на Люблин и Варшаву.

Когда же это было, когда?

Три недели назад в Варшаве я поехал с Рудницким к генералам, что советовались, как бы получше сдать столицу, и слагали в головах правильные фразы для биографий в энциклопедиях и биографических словарях, видать, последний самолет доставил приказы аж из Румынии от Рыдза, а потом снова в полк, на Горскую, между торчащими елдами зениток и под взглядами наводчиков и столбами прожекторов, у нас штатная перестрелка, и тут появляется идея, сколько-то оружия закопать, я подсказываю: сестры-назаретанки. Красиво, как в романе: оружие и в монастыре. Зарыть. Правда, это еще и школа, а это уже чуть меньше похоже на роман, ведь разве уместно подвергать риску жизнь учениц?

Но каким-то образом назаретанки остаются. Ксык, мелкий, уса-тый Ксык и слышать не хочет, как это, зарывать оружие, он умрет с оружием, но не зарует, но с остальными мы договариваемся, Рудницкому ни слова, да и зачем.

Находим ящик, довольно приличный, жестяной, облуживаем его, долгие дискуссии, что прятать? Для войны, для заговора, для партизанской борьбы? В итоге гешефт по-краковски, решаем, что винтовок не берем, жалко места, три ручных пулемета, пистолеты разные, у кого что было, несколько vis'ов, несколько парабеллумов, в том числе и мой, длинноствол, какой-то испанец и большой тринадцатизарядный браунинг, отбирали так, чтобы все девятки, девяток у нас еще есть несколько коробок, Белецкий настоял, чтобы мы еще пару дамских добавили, шестерок и семерок, что помещаются в кармане и в работе конспиративной весьма полезны, так ему говорили старые боевики из ПОВ, итак, дамских несколько, в основном астры и какие-то вальтеры, но патронов мало, всего, может, сотня шестого и седьмого. Кроме того, гранаты. Хотели спрятать еще одно противотанковое, новенькое, его нам дали только при мобилизации, но не лезло в сундук, решили зарыть его рядом, не пакуя, долго не протянет, но, может, хоть немного, обработали ружье смазкой, водонепроницаемый брезент, шпагат, смазка, снова брезент, может, и протянет.

По крайней мере, нам было чем заняться. Пара уланов взялись помочь, поклялись торжественно хранить тайну, ящик запаляли,

клятве никто, естественно, не верил, поэтому выбирали тех, кто так и так возвращался в Теробовлю, за советский кордон, к семьям. На вездеходе доставили к назаретанкам на Черняковскую и пошли говорить с сестрицами. Естественно, сестрицы в восторге, чего-то там поопасались, но так, для проформы, просят уланы такие красивые, галантные, офицерство, во имя Речи Посполитой, разве откажешь Речи Посполитой, сестрицы неровно дышат, как и любая полячка при виде уланского офицера, а как же, и не отказывают, мы роём яму в саду, сундук в яму, засыпаем, уже ночь, стоим над этой ямой, будто хороним в ней что-то, труп что ли чей, в зеленых мундирах стоим, змейки на шеях выются, португеи, ремни, галуны, кобуры, планшеты, сапоги, шпоры, конфедератки и препуции, всё так, словно опять сорвался какой-то мятеж, какая-то инсurreкция, а мы, польские офицеры, закапываем оружие на будущее.

Собственно, так оно, может, и было, может, эти двадцать и один год Польши были именно таким затяжным мятежом, мы говорим об этом меланхолично, с грустью, Ксыка с нами нет, и он не заглушает нас задорными покриками, и тогда я чувствую, чувствую себя поляком, я был поляком, потом наш полк перебрасывают на Пия XI, потом капитуляция, безумие Ксыка, он хочет взять эскадрон и погнать, геройски атакуя позиции неприятеля. А может, вовсе не хочет, но счел, что следует, чтобы офицер хотел. Рудницкий увещевает его, Ксык рвет воротник мундира, как бы срывая крючки, треплет усы, ротмистр Хохол говорит, что тоже не сложит оружия, будет прорываться с добровольцами в Румынию, на юг, а потом Рудницкий велит мне идти домой, переодеться в гражданское тряпье — это он о моей одежде: тряпье! — и лишь напоследок: Виллеман, я не для того отпускаю пана, чтобы пан перестал быть солдатом, отпускаю пана, чтобы пан мог и далее быть солдатом, биться на другом фронте. Умения пана, пан Виллеман, будут теперь на вес золота, не стоит пану в лагере гнить, да и я, в общем, не собираюсь. Но пан, с его немецким, со знанием врага, пан должен и далее биться за Польшу. Есть, пан полковник. Очень мужское рукопожатие.

И, может, я так и думал тогда, я был тогда очень поляком, разбитым приняла меня польскость, в грязном мундире со звездочками подпоручика, по одной на каждый погон, я думал, что пойду домой и стану биться далее.

Варшава тяжело дышит, с сожженных, разбомбленных заводов Ректификации Варшавской груды угля пересыпают в электростанцию, земля поднимается и опускается в ритме дыхания Варшавы, Вислой подмывает Варшава воспаленный срам.

Откуда, зачем постоянно такие сравнения? Что с тобой, Константин? Я бы хотела обвить тебя руками, хотела бы лелеять тебя как мать, целовать твои соломенные волосы, как мать ни разу не целовала, но нет у меня ни рук, ни рта, могу только идти за тобой.

По улице Доброй, по моей доброй улице снуют вшами пешеходы, велосипедные мандавошки и один клоп пролетки с толстым ку-

чером. Нет трамвая, что обыкновенно ходил по Дobreй, моего опелька нет как нет, так что же мне делать? А Варшава велика, пешком всю не обойдешь.

— Пана красивого отвезти куда?

Нечто вроде рикши. Велосипед, спереди два колеса и ящик довольно тарного вида, на вид очень неудобно и довольно опасно, шатко, но мускулы сидящего на седле человека каким-то образом дотолкали экипаж аж досюда.

Корма велосипеда укомплектована тощим водителем в пумпах, в грязных гольфах и жокейке.

— На Черняковскую к назаретанкам, — командую, будто бы садясь в такси, и лезу в ящик, усаживаюсь как-нибудь, подтянув колени к подбородку, и сижу словно еврей на подводе, не как джентльмен в дилижансе. Но джентльменов давно уж нет.

Поехали, значит.

— Пусть пан хороший почитает себе, — мрачно нудит велосипедист голосом как из канализации. Подает “Официальный вестник столичного города Варшавы”. Ну что, читаю, оперев газету в колени. Извещение о приведении в исполнение смертного приговора водителю автомобиля Каролю Лешневскому. За то, что прятал дома оружие.

— Видишь, пан, немецкие порядки. Двадцать лет назад то же самое было, я молодым был, а помню, пан. У тестя моего светлой памяти брата двоюродного расстреляли. Чужое прибрал, правду сказать, но так чтоб сразу расстреливать? Этим немцам, пан дорогой, расстрелять завсегда любо-дорого.

А значит, мертв Кароль Лешневский, кем бы он ни был, какое мне дело, с чего бы меня трогало то, что он мертв, меня вот что трогает, сообщение об опасности владения оружием и хождения с оружием, но кто здесь будет ходить с оружием?

Миновали стоящих на улице продавцов всего, записочки на стенах, не читаю, кто там кого ищет, мне неинтересно.

— Красивому пану не нужна какая-нибудь сиротка, чтобы заботиться о ней в целях более или менее матримониальных за небольшую плату? — занудил рикша над моим ухом канализационным голосом, сопя и пыхтя и давя на педали.

Я пожал плечами, как будто именно этого мне сейчас не хватало, сироток, чтобы о них заботиться.

— Есть разные, — тянул рикша. — Евреечка одна есть, сладкая как мед, только бери, щипечки, пан милый, что пара персичков. Лишь бы ласкаться ей, такая. Темперамент, пан, вишь. И наших девчонок несколько, брюнетки, блондинки, сам пан увидишь, пан добрый. На часок или на постоянно, как хочешь. Может, отвезти, показать, попробовать?

— На Черняковскую отвези, — отрезал я, весьма гордясь собственным моральным превосходством перед военно-велосипедным мсье Альфонсом.

А тот крутил педали и продолжал вдыхать мне в ухо свою мантру:  
— Свежие, здоровые, не какие-то там курвы, пан шеф, сиротки, мама под бомбами убита, папа на фронте погиб, надо позаботиться, о том позаботиться, чтобы оно в заварухе не сгубилось, а какая кожа, пан красивый, как пена, ароматные, гладенькие, цицульки, пан, задочки пухленькие.

— Пан, вези, пан, что ты мне тут сводничаешь, мне курв не нужно, хлопот хватает, — буркаю я в конце концов.

— А говядины, пан, не хочешь купить? — засопел он, не сдаваясь. — Первый класс. Свежатинка. Прямо от коровки. Цимес. Не какая-то там конина, мяско, пан, как до войны.

— Езжай, пан, езжай — отрезал я.

Он наконец замолчал, лишь сопел и досопел от Сольца до Людной, до газгольдеров, и засопел дальше, с Людной на Черняковскую и дальше сопит по Черняковской, хатки из дерева, каменицы из кирпича, многое сгорело в бомбежках, велосипеды, телеги, на телегах классы выравниваются, как жидкость в сообщающихся сосудах, имущество меняет хозяев, семьи меняют квартиры с разбомбленных на норы в подвалах, обок тарыхтит немецкий вездеход с одиноким водителем в круглых очках, конные дрожки, обок дрожек возы на четырнадцать человек, изнасилованные люди на изнасилованной Черняковской, рикша и я.

А на стене сгоревшего дома рваная бумага: объявление о мобилизации, что лично меня совсем недавно, столетия назад, довело до Теревовли, плакат с гитлеровской лапой и пронзающим ее храбрым солдатом, “Прочь!”, и рваная афиша, еще довоенная — Летний театр, “Дверца в сердце”. Я даже на это ходил, дважды, раз с Гелей, а другой с Салей.

Я: гражданское лицо. Я: не вставший на учет офицер запаса, побежденный Костек, разбитый Костек, Костек, что потерял посылку, что вверила ему Польша, Костек-блядун, Костек-морфинист, Костек пустой внутри, польй Костек, Костек, судорожно сжимающий хрупкие перильца сидейки рикши, ухо забито сопеньем рикши-сутенера.

Минuem казармы шеволежеров, сюда перевели нас с Пия XI после капитуляции, вся кавалерия стояла в тех в казармах, еще при оружии, поскольку капитуляция почетная, все твердили как заклинание, почетна эта капитуляция, наша почетная капитуляция, с честью, честно капитулируем, офицеров при холодном оружии в лагеря, в знак того, что сдача почетна, блевать мне хотелось еще тогда, не говоря уже о сейчас.

После почетной капитуляции я получил в казарме свою ленту и медный крестик, в залах офицерских и солдатских страшная пьянка, даже какие-то бабы якобы были, черт знает где найденные, сам-то я их не видел, потом последнее собрание и домой, как велел Рудницкий, домой, мундир сгорел, от подгорелых сапог вонь страшная.

И за казармами сразу: заведение сестер-назаретанок. Я вылез, расплатился, одернул пиджак, поправил шляпу и вдруг почувствовал,

как жутко меня знобит, словно бы целый мир меня тряс, но ничего, иду, надо идти.

Во дворе заведения веселая суматоха. Сестрицы в черных хабитах хлопочут, учениц не видать, один попик молодой тоже суматошится, я вхожу уверенным шагом, так надо идти.

— Прошу прощения, пан?.. — заговаривает со мной сестрица в белой вуали, зарделась тотчас под моим взглядом, я тоже тотчас подумал, эх, мол, такое личико пропадает...

Но ерунда это, не до глупостей сейчас, не до них! Сейчас серьезными делами треба заниматься, связать, что порвалось!

— Я должен говорить с сестрой Евлалией, — произнес я очень уверенным тоном, как не я, точнее, как я перед войной, я в желтой олимпии и в Земянской, бонвиван и жуир, не тот, другой я, морфинист, потаскун и предатель, и не третий я, побитого запаса офицер.

Итак, произнес то, что произнес, глядя в глаза этой младшей сестре в белой вуальке. Чайного цвета глазища, ленивые и влажные, немонашеские, дивные глаза, кровь моя даже вскипела немного.

— Это оттого, что мы занятия послезавтра начинаем. Почистить нужно, — сказала она, словно объясняя суету визитом инспектора из самого Ватикана.

Я пожал плечами и так красиво отразился в ее глазах: такой красивый Константин Виллеман.

— Ах, сестра Евлалия, так... Прошу.

Я пошел за сестрицей, пытаюсь нарисовать под хабитом стан и бедра, и чего бы она там ни имела под тем хабитом, но не нарисовал, а она отвела меня в здание и в комнатку, где, как выяснилось, за скромным письменным столом изволила рядить сестра Евлалия, сама будучи возраста неопределенного, с неказистостью сухих, как щепки, старых дев, их не назовешь ни уродливыми, ни красивыми, ни старыми, ни молодыми, они из другого мира, словно бы никогда не были женщинами, полу полумужеского, почетные мужчины в хабитах, с плотью, увядшей в бумазее.

Я вошел в комнату со шляпой в руке, сестрица в белой вуальке встала у меня за спиной.

Сестра Евлалия уставилась на меня, не понимая, чего бы я мог хотеть, не узнавая меня, но вдруг что-то щелкнуло:

— Это пан, — молвила тихо.

— Так точно, сестра, — сказал я, чтобы прозвучало как можно более по-военному.

— В связи с тем, ну... багажом?

— Так точно, сестра.

Сестра Евлалия отослала послушницу отменно натренированным жестом. Сестрица в белой вуали среагировала сноровистой, нежели мои уланы реагировали на мои команды.

— Не слишком ли рано?

Итак, сестра Евлалия не только властна, но и рассудительна. Ибо хорошо понимает, что спустя две недели после капитуляции

ручные пулеметы никому ни на что не могут понадобиться, даже немцам от наших в целом неплохих пулеметов мало толку.

Но, слава Богу, в которого я не верю, ибо я человек современный, власть форм, в какие отливаются межличностные отношения, играет на моей стороне. Монахиня ведь не обвинит офицера во лжи. Она ведь не откажет ему в доступе. Тем более что я не скажу ей, для чего пистолет.

— Национальный интерес, — сказал я. Глупо, но сказал.

— Прошу прощения? — удивилась сестра Евлалия.

— Польша, — завяз я. — Польше в данный момент нужно оружие.

— Уже в данный? И пан совсем один...

— Сестра, прошу, — отрезал я, ибо самое время. — Тайна. Ручаюсь честью польского офицера.

Евлалия молчала, сестра Евлалия. Вероятнее всего, знала, как низко котируется нынче честь польского офицера. Может, уже имела дело с каким-нибудь генералом. Домб-Бернацким, к примеру. Или с другими легионерами. Поэтому она вглядывалась в меня, как будто видела меня насквозь, как будто моя кожа была прозрачной и обнажала пред ней все мое паскудство.

Но форма межличностных отношений сильнее логики подозрений!

— Хорошо, — просто сказала она. Так что надлежало действовать.

— Оружие остается на прежнем месте. Мне требуется лишь вынуть один пистолет из ящика. Таков полученный приказ. Мало того: потребуется помощь в извлечении, открытии и повторном закрытии ящика, поскольку на этом этапе никакими людьми я не располагаю.

Евлалия вглядывалась в мое паскудство, будто глядя в выгребную яму. Она видела: взгляд ее был столь пронзителен, столь силен, что должна была видеть.

Но форма сильнее ее взгляда.

— Поэтому от имени Речи Посполитой прошу сестру о предоставлении помощи при выемке, открытии, повторном закрытии и засыпании ящика.

Молчание. Паскудство. Выгребная яма.

— Речи Посполитой больше нет... — заметила Евлалия.

— Речи Посполитой не может не быть, сестра. Речь Посполита вечна, — ответил я с определенным размахом.

Евлалия кивнула головой, признание в ответ на размах.

— Но раскопки эти видимо ночью, не так ли?

— Так точно, сестра. Ночью.

— Значит, пан придет тогда или предпочтет здесь подождать?

— Подожду.

— Пожалуйста, располагайтесь в одном из классов и не ходите по коридорам.

Так что я вышел, нажал в коридоре на первую же ручку, сел на учительский стул за письменным столом и принялся ждать.



Я ждал. Минуты через две меня охватили жуткие сомнения, дождусь ли. А потом я представил себе сестру Евлалию, как побегут по городу слухи: один подпоручик девятого уланского пришел и потребовал оружие. Может, продать хочет? Может, немцам сдать?

И слухи множатся, текут из людских ртов в людские уши, затекают к Лурсу, к Шимону, где ресторанное бытие в полном цвету, где сидят не вставшие на учет офицеры, фамилия как, подпоручик Виллеман, пан, ну, с такой фамилией это ведь неудивительно, чему же тут удивляться?..

В каком мире будет жить мой Юрчик, какой мир я уготовляю для него, сам, наравне с Гитлером, Шмиглым и Сталиным?..

Юрчик. Юрчик: зачем папуся так поступает с тобой, зачем льет себе в вены жидкое счастье, жидкие деньги, жидкие злотые, лучше бы он хранил их на твоё будущее, копил, купил золото, закопал в укромном месте, но папуся любимый в свои вены и в вены этой темноволосой курвы вливает жидкую радость и утешение из златоигло и златогардного шприца, прекрасного шприца.

А в класс, сперва постучавшись, вошла дивноокая и дивноликая сестрица в белой вуали послушницы. Она принесла кусок хлеба и жестяную чашку чая, горячего и даже подслащенного.

Поблагодарив сперва, я поел, затем примостился у стены и решил использовать это время на восстановление сил. Так ведет себя офицер: он оптимизирует время и свои действия.

Стало быть, спим. Я сжался в комок у стены, за партами, стянул с себя пиджак и прикрывшись им, как одеялом. Закрываются глаза мои, пропитанные наготой паскудной Саломеи, пропитанные сентябрьскими боями, пропитанные обороной Варшавы и городом изнасилованным и хмурыми стенами жилища Анели.

Кто-то встряхивает меня.

— Пан поручик!

— Под, — отвечаю я машинально.

— Простите? — удивление в голосе сестры Евлалии.

— Подпоручик.

Открываю глаза. За голосом сестры Евлалии стоит сестра Евлалия, презрительно встряхивая мое плечо.

— Уже пора.

Я вскочил. Уже пора. Вспоминаю все: где я и зачем, монастырь закопанное оружие “Полония” Гротгера.

Я потер лицо руками. Озноб. О текучая радость, жидкое мое счастье, где же ты, почему я уже оставлен тобой, куда ты ушло, куда ты удалилось, течешь ли сейчас жилами паскудной Саломеи?

Избавиться должен от мыслей о своей бутылочке, не до них сейчас.

Я вышел за сестрой Евлалией на двор. Две сестрицы с лопатами, один мужчина неочевидной для меня профессии, но из одежды заключаю, что некто вроде дворника или швейцара.

— Копайте, пожалуйста, — распорядилась сестра.

— Никто посторонний сюда не придет? — удостоверюсь.

— Я отрядила караульных на улицу и при входе, если кто-нибудь появится, нас предупредят.

Одно хорошо, что темно, не видать, как я от стыда сгораю. Офицер из меня.

О нет, не так, Константин, не стоит так тратить нервы на себя самого, терзаться не стоит, сейчас важно достать из ящика пистолет и с его помощью вернуть посылку. Это важнее всего.

Лопаты заскрежетали по стали, показалась крышка, сестра Евлалия скомандовала, и сестрицы и по-пролетарски одетый пролетарий приступили к открыванию запаянной крышки с помощью долота, молотков и лома.

Я стоял рядом, просто стоял, даже рук не марал.

Ящик ощерился амбразурой. Я сошел вниз, стараясь не запачкать брючины, из металлолома на нашем депозите выдрал маленький браунинг, шестерку, проверил магазин, он был полон. Шесть пуль. Едва ли мне нужно больше, но для уверенности я выдрал еще пять из магазина другой шестерки, каковую затем бросил обратно в ящик, без пуль.

Положил пистолет в карман жилета, пять запасных патронов в другой, и выдрался из ямы, даже не слишком сильно изгваздавшись.

— Готово, — сказал я громким голосом.

— Как нам теперь закрыть ящик? — спросила Евлалия.

— У вас нет паяльной лампы? — глупо удивился я.

— Откуда же?..

Я пробежал взглядом по лицам сгрудившихся у ящика аргуса и двух утомленных копанием сестриц, снова посмотрел на сестру Евлалию.

— Полагаю, сестре как-нибудь удастся обеспечить сохранность нашего депозита, — я улыбнулся уверенно. — А пока что с Богом! Во славу отчизны!

И ушел, оставив сестру с проблемой, решению которой я не мог содействовать, не имея ни сил, ни времени, ни средств.

Вышел на Черняковскую. Похлопывая себя по жилету, я чувствовал радость и силу, навеянные тем, что я вооружен. Вооруженный человек целиком и полностью отличен от человека без оружия.

Неважно, что напротив, в кавалерийских казармах, полно немец. Мне их и видеть не надо, знаю, что гнездятся там, победоносные солдаты и офицеры, может, запарковали у наших, а прежде царских построек свои танки, большие и малые, пушки и броневики, пес их дери, в моем кармане игрушка шестого калибра, одиннадцать маленьких смертей при стрельбе с близкой дистанции, и я Константин Виллеман, сын графа фон Штрахвица и безумной Катажины Виллеман, что вот уже семь лет не засыпает, так утверждал Стах из Варты перед самой войной, когда мы пошли раз обедать к Шимону, мать очень хотела, чтобы мы встретились, и я встретил-

ся, но это был безумец. В любом случае, он утверждал, что моя мать не встает с кресла, не спит, не испражняется — да, он поведал мне о работе кишок моей матери, — поскольку не ест и не пьет, лишь курит сигареты и свои травы, и овладела тайным знанием индийских йогов, то есть сидит, курит травы и думает о Польше, или, как говорил Стах, думает Польшу.

А я ее сын, порождение ее чрева, чрева безумной старухи Катажины Виллеман.

И в моем кармане игрушка, и этой игрушкой я верну то, что утерял.

А сейчас комендантский час и полно немцев в округе. Я быстрым шагом дошел до Селецкого парка, спрятался где-то среди особняков, доходных домов и огородов, недалеко отсюда велись бои за Варшаву и ровно здесь Варшаву проиграли, но бой будет продолжен, пистолет в кармане. В конце концов я остановился, затаился в подворотне каменицы на Кашубской и продолжил думать над продолжением плана.

До Лешно, до Средместья, полгорода дороги. Комендантский час, риск слишком велик, а с оружием в кармане рискую быть расстрелянным. Дом рядом, с километр, может, но сегодня я домой вернуться не могу. Что делать? Не ночевать же в подворотне, да и к сестрам, от которых бежал в стыде и как можно скорее, я не вернусь, что же предпринять? Передо мной перекошенная вывеска: бритые 25, стрижка 50. Куда делись бритые, стрижка? Насколько я одинок в городе, который у меня отобрали?

Константин, бедный безвольный Константин. Бессильный Константин. Бесславный.

Я помню тебя, мальчуган, как ты впервые ехал в Варшаву с твоей пятидесятилетней матерью, ехал в темной, тесноватой одежде, и вы упражняли выговор и звонкое “р”, чтобы не говорить как немцы. Кордегардия. Карл у Клары украл кораллы. Твой отец мертв, так что ты уже не немец, тебя не зовут Штрахвиц, ты поляк и носишь свою фамилию, пускай она и звучит по-немецки, но это польская фамилия, ведь ее носят полячка и маленький поляк — ты, Костюшик. Она говорила с тобой, и она являлась всем твоим миром, такая высокая, худая, строгая и мудрая до бесконечности, и ты был тогда рассудительным ребенком, так что, возможно, ожидал, что эта ее мудрость перестанет давить на тебя когда-нибудь, когда повзрослеешь.

Оказалось, что не перестала, мудрость и безумие твоей семидесятилетней матери, сросшейся с креслом, этого индейского вождя, по-прежнему творят из тебя десятилетку, малого мальчишечку, смешного, слабого, глупого и послушного ей.

И ты как раз такой, мой бедный Костюшик, когда стоишь в подворотне, не зная, что с собой сделать. Я чувю твой страх, когда ты трезвеешь, когда опиум уходит из твоего тела и когда ты медленно принимаешь хоть каплю правды о себе, любовь моя, ты понимаешь. С пистолетиком в кармане жилета, слаб, безволен. Уже забыл?

Ты весь сентябрь прятался под гнило-зеленым мундиром, под рога-  
тивкой и под французским шлемом, мог и забыть.

Пойдем со мной, ангел, пойдем, я тебя поведу. Идем.

У тебя же слезы на глазах, мальчуган, так что идем, я тебя пове-  
ду, Костюшик, идем. Пойдем на Черняковскую. Не бойся, Костю-  
шик, не бойся. Я тебя поведу.

Утирает слезы, шмыгает носом, как маленький-маленький маль-  
чик, и мы выходим, я веду его, почти тащу, идем к Висле, в сторону  
Черняковской, улицы пусты, совершенно пусты, света тоже почти  
нигде нет, темно, Костек даже про оружие в жилетном кармане за-  
был, идет, не думая ни о чем, доверился мне.

Дошли до Черняковской. Здесь мы подождем, Костюшик. Ста-  
ло быть, ждем. Стоит, доверяет мне, совершенно мне доверяет.

Слышит шум идущей от Чернякова машины, и уже через миг  
подъезжает вандерер, крашенный бурой армейской краской в бу-  
рые пятна, фары шурются узкими полосками, затемнение.

Костюшик делает то, что я велю.

Помаша им, Костюшик. Машет. Они не тормозят. Загороди им  
путь. Загораживает. Они встают. Рассматриваем их сквозь стекло:  
два немца в форме, но не армия, без орлов на груди, сразу видно.  
Полиция какая-то, тайная или явная, или другой вид СС. Костю-  
шик делает то, что я велю.

Стучит по стеклу. Избитое лицо скрыто тьмой, затенено поля-  
ми шляпы.

— Что? — рычит немец, рукояткой опуская стекло сантиметров  
на пять вниз.

— *Bringt mich jetzt in die Leszno Straße, aber schnell*<sup>1</sup>, — говорит  
Костюшик на своем безупречном немецком с легким венским ак-  
центом, поскольку в семействе отца венский выговор считался  
наиболее совершенным, и гувернантка для отпрыска морганатиче-  
ского союза была выписана из Вены. А все-таки боится ужасно: до-  
кументы у него есть, но они польские. Офицер запаса, не вставший  
на учет. Пистолет в кармане. Ведь стоит спросить хоть какую-то бу-  
магу, смекнуть, что поляк, и расстреляют на месте, ничего не по-  
может.

Не доверяет мне Костюшик. Боится. Или, напротив, доверяет,  
раз, невзирая на страх, делает то, что я велю?

Немцы в машине смотрят друг на друга. Сержанты, унтерá, при-  
выкли к тому, что им отдают команды твердым и решительным то-  
ном. Хорошо одетый человек, говорит по-немецки будто венец, да  
и в себе уверен как, навскидку, полковник, самое малое.

Молодой блондин с пассажирского сиденья выходит из маши-  
ны, втискивается на задний диванчик, водитель указывает Кон-  
стантину на место рядом с ним.

1. Доставьте меня на улицу Лешно, только быстро (*нем.*).

— Ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung, aber wer sind Sie überhaupt?<sup>1</sup> — спрашивает немец за рулем, но спрашивает так, что даже Константин наконец успокаивается, это не вопрос, существенным образом испытывающий личность пассажира, это скорее вопрос, предупреждающий обвинение в избыточной наивности. Это вопрос часового, требующего пароль от прибывшего генерала не затем, что он его не узнаёт, но именно в силу того, что, узнав старшего офицера, желает щегольнуть своим рвением.

И Костюшик, мой Костюшик вновь делает то, что я ему велю. Ледяным взором он окидывает водителя, исподлобья, вполглаза, взгляд возвращается к улице, он ворчит:

— Das ist ein Staatsgeheimnis!<sup>2</sup>

И больше не отрывает глаз от лобового стекла, вместо этого вытягивает из кармана сигарету, разрешения, само собой, не спрашивая. Они не смеют спросить о разбитом лице. А, может, и не заметили в темноте. Блондинчик с заднего сиденья уже поспешает с огнем, водитель шурует рычагом коробки передач, едут.

А я не знаю, поверить ли. Не в происходящее, поскольку вижу, как оно происходит, понимаю механизм. Не могу поверить, что стало меня на такую лихость.

Где сыскал я в себе такую храбрость, швырнуть жизнь на чашу весов, пистолетик в кармане, дорога в петлю?

Извне меня та храбрость, снаружи. Однако едем.

Немцы Варшавы не знали, и я выдавал короткие указания, сюда свернуть, теперь сюда, Иерусалимские, Желязна, Лешно, суд есть, номер бо есть. Мы ехали в молчании и в сигаретном дыме.

Я велел на минуту остановиться, смерил каменицу через окно взглядом, немцы терпеливо ждали. Четыре этажа, цоколь, на цокольном этаже какая-то кондитерская, где я никогда не был, а в ней, вероятно, судебные неудачи подслащивались эклерами с кофе, а успехи обмывались коньяком. В ряде окон горел свет, видимо, электричество уже есть.

Вернее: суд здесь был, потому что какие теперь суды?

Впрочем, будут, пожалуй, нормальные, так что эклеры, кофе и коньяк будут, как и раньше.

Я велел ехать дальше, мы проехали Сольну, и лишь тогда я велел парковаться возле кинотеатра Femina. Вышел, не прощаясь, хлопнул дверью, повелительно махнул рукой: Los! Los!<sup>3</sup>

И они уехали. Перед тем, как началась война, я был на открытии этой Фемины в новой каменице в стиле модерн, а теперь что?

Остался на улице Лешно с пистолетиком в кармане и с сердцем в груди, что почти перестало биться, и с кишечником, сжавшимся, свернувшимся в жуткий узел.

1. Тысячу извинений, но кто вы вообще такой? (Нем.)

2. Это государственная тайна! (Нем.)

3. Давай! Давай! (Нем.)

И что теперь, когда я уже добрался, что теперь? Что могу сделать-то?

Я шел вниз по улице Лешно и не знал, с чего начать, добрый Боже-в-которого-я-не-верю, подскажешь мне что-либо ты или все твои дьяволы, что делать, что делать?

Кишки внезапно ударили жутким жаром, я знаю уже, что не выдержу, и влегаю в первые попавшиеся ворота. Хотел было справиться нужду у ворот, но толкнул их — они были открыты, так бросил их неградивый дворник. Может, из-за войны, а может, сбежал? Так что влегаю во двор каменицы с номером 52, прячусь в темноте за дощатой будкой и борюсь, изо всех сил сжавши ягодицы, с шестью пуговицами на подтяжках, затем с крючками и очередными пуговицами брюк, наконец мне удалось расстегнуть и спустить брюки вместе с подштанниками, внутри у меня кипело, но я еще подумал, что замараю пиджак, так что снял его и повесил на гвоздь, торчавший из досок, в последний миг я успел присесть и расслабить кишечник. Не имея выбора, потерся носовым платком, выкинул его в угол и, одевшись вновь, с отвращением обнаружил, что, спасая пиджак, замарал себе брюки.

А говоря точнее, обосрал себе штаны.

Мать натерла бы мне рот мылом за такое слово, но именно это я и сделал — обосрал штаны. Несильно, но все же, мокрым говном, брызнувшим из жопы. Обосрано. Говном.

Грязные слова у меня на губах, могут ли они как-то помочь с тем, что я замарался, нет, конечно, не могут. Платок был уже бесполезен, тем более что упал в то, что от меня оставалось во дворе многоквартирного дома по улице Лешно, 52.

Я достал спички, зажег, разглядел окружение: ничего полезного.

— А пан чего тут срьшь, это что, уборная? — возопил из окна мужской голос.

Я почувствовал себя не только запачканным, но и скомпрометированным в этой пачкотне, пристыженным, раскрытым.

Нападай, Константин, не то бежать тебе, как школьнику, застигнутому на онанизме. Ты должен нападать, любовь моя, должен!

— Schnauze halten, du Schwein! — крикнул я в ответ. — Ich habe den Krieg gewonnen, also werde ich auch scheißen, wo es mir passt!<sup>1</sup>

Громыхнул закрывшийся ставень.

Вот, значит, стою ночью, я, Константин Виллеман, во дворе доходного дома, улица Лешно, 52, стою, офицер запаса, рантье и бонвиван, стою с разбитой щекой в обосранных брюках из английского твида, и строю из себя немца-триумфатора, могущего срать, где ему нравится.

В принципе, я сейчас чувствовал себя в безопасности здесь, немца ведь не тронут, и потому я вынул из нагрудного кармана

1. Заткнись, скотина! ... Я выиграл войну, значит, и срать буду, где мне удобно! (Нем.)

шелковый платочек и тер им брюки как безумный, чтобы под конец кинуть его туда, где уже лежал носовой платок.

Такое ощущение, будто я целиком измаран в дерьме, будто даже в ноздрах и под ногтями у меня было дерьмо. Кстати, под ногтями могло и оказаться, рук-то здесь негде было вымыть.

Я вышел обратно на улицу и двинулся дальше, вонючий и, в принципе, несколько позабавленный всей ситуацией, без плана и замысла, что делать дальше.

Миновал скорую помощь.

Встал перед домом по адресу Лешно, бо. Витрина кафе все еще заклеена полосками бумаги, может, хозяин сбежал, в любом случае место выглядело закрытым.

Проверил: ворота заперты. Что делать, что делать?

Все просто!

Принялся ломиться в дверь, как на пожар. Через миг донесся издали голос сторожа.

— Иду уже, холера ясная, горит что ли, знаете, люди, который час?

На меня зыркнуло большое, квадратное око глазка. Встаю к нему не избитой щекой.

— Кто ты, пан, до холеры? — спросил аргус.

— Aufmachen, Polizei!<sup>1</sup> — прошипел я. Ох, как испугался подлец сразу!

Но отчего я подумал, что подлец? Подлая у него была рожа, разве недостаточно? У меня тоже рожа подлая, в синяках.

Ворота передо мной ощерились амбразурой.

— Прошу, пожалуйста... — униженно шептал сторож.

Я лишь махнул рукой и двинулся вверх по лестнице, запах дерьма за мной. Минувя четвертый этаж, я преисполнился абсолютной решимости, абсолютной уверенности в себе, не зная однако вовсе, что собираюсь делать.

Достал из кармана браунинг, передернул затвор, заряд из магазина прыгнул в патронник. Дверь номер тринадцать.

Прикладываю ухо. Тишина. Тихо, как только смог, нажал на ручку. Дверь заперта.

Думаю: толстый Туманович не расслышал порядком мой голос, и вряд ли сочтет, что я говорю по-немецки, как коренной венец. Саломея ему этого не могла сказать, сие Саломее неведомо, никогда при ней по-немецки не говорил.

Итак, коли сегодня уже три раза сработало, может сработать и в четвертый. Глазка в дверях нет, и славно.

Переложил игрушку в левую ладонь, правой нащупал кастет в кармане пиджака, вложил в него пальцы. Надеюсь, обойдется без пальбы.

1. Открывай, полиция! (Нем.)

А, может, все-таки нет? Может, не искушать все-таки судьбу, не изображать ни eine öffentliche, ни eine geheime Polizei<sup>1</sup>, но напасть врасплах, застать его в постели, дать в лоб...

Дверь выглядела хлипкой, поэтому я решил ее высадить. Один замок, выглядящий скорее убого, на высоте ручки.

Ты должен быть быстрым, Костюшик. Ты должен быть очень быстрым. Не хочешь стрелять. Стрельба из пистолета ночью в самом центре Варшавы это не лучшая идея. Не стреляй, Костюшик, слушай свою единственную подругу, помни, не жми на курок. Пусть пистолет будет просто угрозой.

Я должен быть очень быстрым. Как блицкриг. Иначе не выйдет. Потому делаю шаг назад.

В конце концов, не первая высаженная дверь в жизни.

Когда обнаружилось, что джентльмен не живет настоящей жизнью, и вошло в моду водиться с апашами с Керцеляка, пить дешевый бимбер по еврейским кнайпам в Налевках и биться на улицах с оэнэровцами из хороших домов, плечом к плечу с парнями с Милой, с Доброй, как бы назло, наперекор тестю-эндеку, который и сам носил щербец Храброго на лацкане, то интерес к политике не просыпался вовсе, социализм шел себе в задницу, как и все остальное, попросту импонировала эта левая, гангстерская среда, нравилась тяжесть в кармане: кастета, ножа, браунинга...

Я любил лупить эндеков, пить с ворами-евреями и играть с ними в карты, ходить с поляками-апашами к шлюхам и на танго и даже на дело, хотя туда меня брали разве что шофером, меня — а может, больше мой желтый опелек, больше, чем я, был им нужен.

Но двери выносились, одному-другому оэнэровцу зубы выбивались на раз, до того, как рыбий хер сиганет с кровати. Так было.

Я знаю, как пнуть, чтобы открыть. Так что ж я все еще стою?

Что ж не пинаю из всех сил в замок, он точно лопнет, дверь убогая, хилая...

Ты должен, Костек. Должен, Костюшик, дорогой мой, должен, у тебя нет выхода, не бойся. Я буду стоять за тобой, не переживай. Стану тебя беречь.

Пинок. Дверь лопается. Легко. Я внутри. Темно, но глаза уже привыкли. Прихожая, дождевик на гвозде. Кухня. В комнате кто-то сигает с кровати. Я уже вижу его. Толстый. Это он.

Щупает, где очки.

— Стой, стрелять буду! — кричу.

— Сукин сын!.. — слышу в ответ. Он больше не ищет очки, несется на меня.

Стреляю, в живот. Попадаю в бок, но это не сдерживает его, шесть калибр малый, толстяк большой. Стреляю во второй раз,

1. Обычная... тайная полиция (нем.).



почти вслепую, в белое пятно нижней рубашки, попадаю, он взревел и опрокинулся наземь.

— Не шевелись! — рычу я.

Он стонал, пытаясь встать, поэтому я с размаху пробил ногой в голову, будто мяч пнул. Хрупнули кости, он перекатился на бок и немного на спину. Умолк.

Я чертыхнулся, зачем он мне мертвый!..

Но подойти боялся. Ведь даже раненый, если он схватит этими руками могучими, стиснет... При умывальнике стоял кувшин с водой, плеснул в него. Он открыл глаза.

— Портфель, что ты украл у меня, лайдак! — рявкнул я.

— Пердоль мать твою в ухо, — шипит окровавленным ртом.

— Где мой портфель, сукин сын? — вновь рычу, стоя над ним с пистолетом. — Говори, если жизнь дорога.

— Отрежу у тебя хер и дам твоей жене на ужин, — отвечает.

И внезапно я как без рук. Вот он лежит, дважды подстреленный, у моих ног, в моей власти, беспомощный, окровавленный, и не боится меня ни капли. Чем я могу грозить ему, если он ничего не боится?

Сейчас ты должен быть немцем, Константин. Чтобы найти портфель, спасти себя как поляка, ты должен стать немцем. Верь мне, Константин, я твой единственный друг.

Каетан Туманович смеется на полу, дышит тяжело, встать не пробует, не боится, ни на что не надеется, не пытается защищаться, ничего не ждет. Лежит себе, смеется.

Будь немцем.

Мне пять лет. Отцу двадцать один и у него серо-зеленый мундир, два ряда пуговиц, квадратная пластинка уланского шака. Я сижу на его коленях, в коротких брючках, медная рукоять сабли у самых моих коленок.

У отца в руке листок, он читает его молитвенно дрожащим голосом:

— *Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, daß es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!*<sup>1</sup>

Мать равнодушно поглядывает на нас, сидя в кресле, что происходит между ними, между моей матерью и моим отцом, любовь ли это между ними?

1. Как тысячи лет тому назад гунны под предводительством их короля Аттилы сделали себе имя, которое до сих пор в преданиях и сказаниях вызывает страх, так и имя немцев спустя тысячу лет после вас должно звучать так, чтобы ни один китаец не осмелился косо посмотреть на немца! (Нем.)

И отец объясняет: речь сию произнес четырнадцать лет назад Его Императорское Величество. Перед солдатами, едущими в Китай.

Знает ли мать Константина, что те самые слова, которые она сейчас с отвращением слушает, слушал и ее первый любовник, Эфик, слушал в пикельхаубе и с винтовкой на плече? Не знает, откуда бы ей знать, она всего лишь безумная катовицкая мещанка, что вышла замуж за немецкого аристократа моложе себя на двадцать четыре года, вызвав тем самым ein Skandal vom gesamtdeutschen Rang und Bedeutung<sup>1</sup>.

Итак, не знает, но ее незнание не имеет здесь значения. Важно, что слова в ее ушах звучат так, как звучали они в ушах Эфика, а между любовниками возникают узы, которых не прервут ни время, ни смерть, и вот император Вильгельм и молодой Leutnant уланов Штрахвиц, говоря эти слова, звучат разом с Эфиком и Катажиной Виллеман в едином аккорде, большая терция гуннский речи императора и педагогического акта отца. Не знает этого и Константин, не знал этого тогда, на отцовских коленях, не знает и ныне, стоя над раненым Каетаном Тумановичем. Я ему этого не сказала и думаю, что уже не скажу.

Отец в сером мундире переводит. Чтобы ни один китаец впредь не смел взглянуть ни на одного немца свысока. Чтобы остался по нас в Китае лишь страх и ужас. Так, как мы еще и поныне помним о гуннах. Мы должны быть гуннами.

— Ich gehe jetzt, mein liebes Söhnchen, in den Krieg. Um der französischen Arroganz endlich ein Ende zu setzen. Damit sie für immer Angst vor uns haben, bis in die Ewigkeit<sup>2</sup>.

Таким должен быть, Константин. Ты помнишь немецкие слова отца твоего, но ты помнишь их по-польски, хотя отец ни разу не заговорил с тобой по-польски. Но ты должен быть немцем, должен быть немецким летчиком, стреляющим из пулемета по женщинам, копающим картошку. Ты сам видел этих женщин, рассеченных ровной двойной дорожкой из маленьких воронок, рядом корзина для картофеля тоже рассечена, пустая уже, потому что другие женщины пересыпали добыток тех, рассеченных, себе в корзины, откладывая картофелины с дырками и с брызгами крови.

Юная, несозревшая еще девушка глядит на вас с ненавистью: изнуренная колонна, тропа под Варшавой, первый эскадрон, второй эскадрон, уставшие, тощие кони, уставшие люди, намного более уставшие, нежели кони, кони добрые, армейские, для таких маршей бережены, для таких маршей предназначены, вся нация на таких коней пахала двадцать лет, а на конях седла и напрасные сабли под тебеньками, а на тачанках тяжелые пулеметы, а за ними самокатчики,

1. Скандал общенемецкого ранга и значения (нем.).

2. Я сейчас, сыночек мой любимый, иду на войну. Чтобы покончить наконец с французским зазнайством. Чтобы они всегда нас боялись, во веки вечные (нем.).

бофорсы в упряжках, третий эскадрон, четвертый эскадрон, в нем я, глядя друг другу в глаза, я и та девушка над расстрелянной мамкой, и ненавидит меня это дитя сильнее, чем того летучего немца, что уже сел где-то на дальнем аэродроме и попивает кофе и коньячок или шнапс пьет, а руки в индийском танце пилотов излагают камрадам военные истории: в бреющем полете так, бах-бах-бах так, рука руку мотет, он меня так, я с большого через крыло так, бах-бах-бах. О стрельбе по бабам в поле едва ли изложит. Знал ли, в кого он стреляет?

Знал. А может, не знал.

Но сейчас ты, Костюшик, должен быть как тот немецкий летчик, что знал, в кого он стреляет. Или как английский охранник в концентрационном лагере для буров.

Или таким ты должен быть, каким четыре года спустя будет многоглазый маршал Харрис, маршал о многих телах, спрятанных, как раки-отшельники, в саванах самолетов, маршал бомбежек Дрездена, тысячи его глаз английских, польских, канадских, любых глаз в бомбардирских прицелах, тысячи его пальцев на гашетках, тысячи бомб, высранных из бомбовых люков, пылающие стены, улицы и пылающая река.

Или как немецкий охранник в концлагере, которого нет еще куда, но оберфюрер СС Арпад Виганд именно сейчас стоит где-то на берегу Вислы, на берегу Солы и думает, вот здесь было бы хорошо. Тут было бы красиво, умно, экономично и логистично.

Или как тот, кладущий черную метку на японские города из бумаги. Или как тот, меряющийся: кто мечом лишит скорее шеренгу коленопреклоненных их китайских голов?

Или как Юлий Цезарь с его мертвыми галлами, его в притяжательном смысле, их смерть и мертвые тела принадлежат ему, как надувная лягушка принадлежит мальчику, который ее надул, она есть его, когда он так забавно плавает по поверхности пруда.

Как мать убивает собственное дитя: душа его плодом или раздвигая в клинике ноги, Костичек, или отдавая голого младенца лесу, как львица отдает львенка своему новому льву на съедение, тысяча и пять тысяч лет тому, и вчера, и послезавтра, и через тысячу лет. Плача или с каменным лицом. С лицом штурма Праги. Как всадник-лисовчик, зорящий округу после битвы при Гуменне, топчет мужчин, женщин, детей и собак. Особенно собак.

Ты должен видеть их сабли, лезвия, маятниками свисающие с запястий, бьющиеся о колени и о бока лошадей, должен видеть, Костичек, как он едет рысью, скачет и заряжает кручицу, а впереди тает расстояние между его подкованными копытами и босыми пятками тех, кто от него бежит, а под конец уже так, что кручица в кобуре, сабля прыгает с темляка в ладонь, и засохшая кровь смывается кровью свежей, девичьей.

Ты должен быть как зубы и когти человеков, как оружие человеков, как меч, пика, винтовка и бомба, ведь именно этим является человек.

Ты должен быть человеческим, Костичек. Должен быть человеком. Послушай меня, послушайся своей единственной подруги и не бойся своей человечности, Костичек. Будь человеком.

Тучное тело на полу словно кит на пляже, такой же тихий и равнодушный, он тебя не боится, поскольку не знает, на что ты способен, так что покажи ему, на что способен категорический немец. Будь сейчас немцем, Константин. Будь человеком.

На колени встает Константин Виллеман над Каетаном Тумановичем. Склоняется к нему, кулак железный, песть огненная.

Ты человек, Костичек. Будь человеком.

Каетан Туманович воет. Долго длится этот вой. Каменное лицо Константина что лица матерей, бросающих в лесу голых младенцев. В лесу славянском. В лесу кельтском. В лесу германском, илирийском, фракийском, эллинском, романском. Я вижу эти лица, Костичек их не видит, но я вижу.

В вое Каетана Тумановича мне предстает его жизнь, как кинообраз, наложенный проектором на дымы воспламененного города.

Проявляется Львов и дом польско-армянский, дом, из которого Туманович сбегает, потому как в четырнадцать лет уже понимает, что ненавидит мещанство.

Россия проявляется, великая, прекрасная, замечательная Россия, полная богатств, за которыми надо лишь нагнуться, Россия, исполненная шанса, Россия, цветущая богатством, Россия родня Америке, для подобных Тумановичу Иркутск, Владивосток, что твои полисы, растущие из американских прерий.

Затем революция, значит, бегство, значит, возвращение, поезд чешский, золото куда надо зашитое, Вильна, мир ножа и ствола — нагана, бонанза, мир пограничья и кокаина, офицеров неглубокой разведки и контрабандистов, внезапное богатство и жесткое сердце Каетана, еще более жесткий кулак, любовь к жидовской курве и все, что легко вписать в биографию авантюриста первой половины двадцатого века в Центральной и Восточной Европе, все это предстает мне в этом вое как в дыму, проявляя также причины, по которым Каетан Туманович сидел за одним столом с немецким офицером в квартире на Доброй, четко проецируя его отношения с тем офицером с водянистыми глазами и его отношения с прекрасной курвой на Повисле, но для одной меня, не для Константина.

Константин теперь человек, и он стремится к цели.

А Каетан Туманович воет, когда Константин карманным ножом в перламутровом окладе вырезает ему глаз. Он продолжает выть, когда глаз уже вырезан. И так завершается его жизнь, а ведь мог бы занять место Константина в моем сердце, мог бы оказаться под моей опекой, моей любовью питаться мог бы, но это Константин сидит на нем, а не он на Константине. Ему не хватало человечности. Возможно, повидал в своей жизни довольно трупов, не хотел видеть еще один, послушал прекрасную курву с доброй улицы Доброй, прекрасную шлюху с Повисле, даровал фраеру жизнь.

— Хочешь потерять другой? — спрашивает уже не фраер, спрашивает Константин, сидя верхом на фраере.

Что ты коснулся, Костичек, вырезав у него глаз? Не коснулся ли ты того, кем или чем ты есть на самом деле, или, наоборот, не отдался ли чересчур от себя самого? Или, может, ты прикоснулся к человечеству, чего сам не знаешь и чего не признаешь, ибо, хоть ты и мнишь себя циником, ты не сумел бы принять эту простую правду о человеке, эта простая правда мерзит тебе, Костичек. Когда бы ты дождался до тех времен, тебе мерзили бы люди с фотографий из Освенцима, правда? Однако не доживешь.

Тебе мерзил бы пилот, покидающий борт черного бомбардировщика, пилот, не сознающий того, что сотворил, но это не важно, сознает человек или не сознает, неважно. Тебе мерзил бы советский воин в кожаном фартуке, простреливающий неудачливые и дурные польские бóшки, мерзил бы вид шкварок, оставшихся от детей после бомбежек Дрездена, но ты не доживешь.

Спрашиваю. Я.

— Где мой портфель? — повторяю вопрос.

Каетан Туманович отвечает.

— А пакет из портфеля?

Вновь отвечает.

А я огненным кулаком ставлю ему на лоб круглый поцелуй.

И сразу же ругнулся на чем свет стоит: а вдруг солгал? Дурак, дурак, дурак! Бежать, щупать, паника. Игрушка не так шумна, как большие пистолеты, но выстрел есть выстрел.

Побежал в комнату, где он спал. Полез под кровать. Есть, есть! Дальше: лезу за кухонную плиту. Есть!

Пакет, который я должен был отдать Лубеньской. Бумага, бечевки взрезаны. Внутри паспорта. Республика Польша. Вытащил один: пустые бланки. Значит, не деньги.

Каетан Туманович мертв и неподвижен. Пятно крови на полу, на лице один глаз, большая красная дыра и маленькая красная дырочка во лбу, будто тилака.

Тилака?

Арийцы, завоевав Индию, пускай и деградировали в смысле расы, сохранили тем не менее чистый дух нашей пракультуры, понимаешь, Костичек?

Почему именно сейчас я слышу ее голос? Мамо? Mutti?

Стряхиваю с себя ее и ее арийцев, Индию, кшатриев и прародину. Urheimat. Я возвращаюсь на улицу Лешно, к жизни, которая есть.

То есть, потеряй я посылку, меня бы не обвинили в краже. Или все-таки?.. Ведь паспорта мог бы, в конце концов, обменять на морфий...

Нет-нет-нет. Выбрось эту мысль из головы, Костичек!

Но спросят: зачем пакет открыт? Тогда ответишь зачем, ответишь сильно, и они признают этот ответ, им придется признать, они склонят головы перед этим ответом.

Выбегая с портфелем в руке, я споткнулся о тело Каэтана Тумановича, упал, своим лицом к его дырявому лицу.

Боже, человек, что ты только что сделал? Спрашиваю сам себя. Вдруг ясность. Что сделал? Мгновением раньше я сидел верхом на раненом человеке, ничего не боявшемся, и знал, что должен достать его там, где он не меня ожидает, сделать нечто, чего он будет бояться, доказать, что я могу. И я доказал, мой карманный нож окровавлен.

Меня вытошнило. Я разрыдался.

Не плачь, Костичек, не плачь больше, дорогой мой, любимый мой, единственный мой. Не гнушайся человека в себе, Костичек.

Я что, вправду сделал то, что сделал? Кто правил моей рукой, узкое лезвие касается красного края слизистой, скользит под веко, откуда столько сил, Туманович-то дергается, но я сжимаю левой рукой его череп, ему не ворохнуться, а узкое лезвие кружит, скребет кость и рвет хрупкие волокна, откуда такая сила, что он не ворохнулся подо мной?

Меня продолжает рвать, пустой желудок дергается и скручивается, моя блевотина мешается с кровью Тумановича.

Встань, Костичек. Встань и иди.

Я вышел из квартиры, по лестнице вниз. Пара дверей нервно захлопнулись, но лицо мое, скрытое полями шляпы, никто видеть не мог. Мир кувырком.

Внизу сторож.

— So endet es, wenn sich jemand mit uns anlegt, blöde Polacken<sup>1</sup>, — прорычал я немецким голосом.

Чудесно, Костичек, чудесно ты с этим справился. Дважды послужил Польше: труп без глаза и с пробитой башкой падет на немец, они виновны в этой мучительной смерти.

## Глава V

Я вышел на улицу Лешно, портфель в кулаке, пакет в портфеле, осталось только дойти до площади Спасителя, и все будет хорошо.

А я вижу дальше, Костичек. Вижу канаты на стальных перилах балкона в той самой каменице, пенька натянута, что струна контрабаса, натянута тяжестью тел, вижу улицу, поделенную пополам, вы на нечетной стороне, вижу, и четную сторону вижу. Не сегодня, нет. Но их смерть в одной пробирке со смертью твоей жертвы.

Стою на улице. Стоял на улице. Он стоит на улице. Он стоял. Ничего не видит. Я вижу. На улице Лешно. Я. Дождь.

Он снял шляпу, на мокрый тротуар стекла струйка воды, скопившейся на полях и в углублении на тулье. Он чувствовал, как промокает, милый мой.

1. Вот чем кончается, если кто-то поперет против нас, болваны поляки (нем.).

Я промокаю. Хочется улечься в своей кровати в доме из шоколада, хочется, чтобы единственная женщина, которую я любил и люблю, села у изголовья этой кровати, гладила меня по волосам и тихим, низким голосом говорила мне, что все будет хорошо, хочется, чтобы они исчезли, моя мать, моя Саломея, морфий, война, Польша, и выколотый глаз, и пачка паспортов в моем портфеле.

Ему определенно хочется, чтобы я исчезла, но он просто не в состоянии это понять. Или же боится.

Заплакал. Я заплакал. Плачу. Когда?

Октябрь льется с неба, комендантский час висит в воздухе, пистолетик в кармане тяжел, как смертный приговор через расстрел. Течет вода по бульжнику, течет по улицам, которых я не узнаю. Город погашен. Я спотыкаюсь, падаю.

Выбрось пистолет, Костичек, сейчас он тебе не нужен, брось его в водосток, куда угодно, не носи с собой, это ведь смертный приговор в твоём кармане, Костичек.

Не выброшу.

Тебя же ни от кого эта игрушка не защитит, ты даже не добил магазина патронами, в немцев шестым калибром стрелять не станешь, да и достаточно ты в немцев настроился, выбрось, Костичек, выбрось.

Не выброшу, потому что не в немцев хочу стрелять, черт меня дери, а в себя, если сойдутся в этом время и неизбежность. Не выброшу.

Теку вдоль улиц, не иду, нога не касается ни мостовой, ни асфальта, теку. Железна: Холодная, Крахмальная и Гжибовская. Теку. Улица пуста. Немецкий автомобиль. Патруль немецкий.

— Halt!

И что теперь, Костичек, что теперь? Говорила: выбрось!

— Хальт? — недобро переспросил я, оборачиваясь. — Хальт?

Двинулся к ним. Два мальчика, не старше двадцати лет, каски, плащи, дождь плывет по каскам.

Винтовки с плеч, солдатики с затворами борются. Пристрелят ведь тебя, идиот, что ты творишь?

Пусть стреляют.

— Стоять! — верещит испуганный солдат. Я вижу: он выстрелил бы, будь он старше, умнее, знай жизнь получше. Либо опять-таки выстрелил бы, будь он моложе, дурнее, знай жизнь похуже. Но этот аккурат настолько глуп и настолько знает жизнь, что не стреляет.

Почему?

— Halte lieber deine Schnauze, du Drecksack! — советую недобро. — Ich bin doch ein Deutscher!<sup>1</sup>

Но нет, не выйдет, нет. Право же. Ни во второй раз, ни в третий, ни в четвертый. Не на этот раз. Винтовки на предохранителе,

1. Заткни-ка свою пасть, паршивец! ... Я как-никак немец! (Нем.)

стрелять не будут, но и не отпустят. Один в меня целит черным оком ствола и острым язычком штыка, другой медленно приближается, требует бумагу, вежливо, но решительно:

— Sind Sie Deutscher? Dann zeigen Sie bitte Ihre Kennkarte<sup>1</sup>.

Конечно, у меня никакой Kennkarte нет, но я знаю, что такое Kennkarte. Немцам из Рейха уже год как выдали такие, это в полку объясняли мобилизованным, на случай, если бы пришлось иметь дело с гражданскими немцами. Ничего себе. Но я не немец из Рейха, я Константин Виллеман, и у меня только польский паспорт, ничего больше.

Так вот кем он был: Константином Виллеманом с польским паспортом. Но, полагая себя Константином Виллеманом с польским паспортом и более ничем, ошибался: еще он носил смертный приговор в кармане и свое незарегистрированное офицерство.

— Ja, natürlich — говорит Константин и лезет за пазуху, будто за бумажником.

— Момент! — крикнул я ему в ухо.

И неожиданно дернул немецкого солдата, толкнул изо всех сил на второго. Тот поднял штык, чтобы камад на него не нанизался.

А Константин уже бежал.

Выстрелили вслед раз, другой, но Константин бежал, а я несла его, шевеля его руками, бедрами и коленями, крест его поддерживала, вела его. Стреляли вслед, мазали, бежали, стреляли, мазали, сдались.

Я теку. Я тек вдоль улиц, колеблемый волной дыхания.

“Фильтры”. Кошикова. Не иду по-обычному по Полевой, ушел на аллею Шуша. Немецкие флаги на наших министерствах слепо висят во мраке. Немцы кишат, но днем, а сейчас ночь, и я теку. 6 Августа, и я в порту приписки, бежал я или шел?

Площадь Спасителя. Рубашка липнет к спине, плывет по спине пот, избитое лицо пульсирует. Но вот он я, добежал, и никто не бежал за мной. Твид промок до нитки.

Вот он угол 6 Августа. Смотрю на часы: почти пять утра. Четырнадцатое октября. Ворота каменицы заперты наглухо. На что я рассчитывал? Гляжу вверх: цокольный этаж и четыре ряда окон, а еще выше черное небо и дождь мне в глаза.

Как попасть, не притворяться же немцем. Так что по-обычному, может.

Забарабанил в дверь. Та немного погода приоткрылась, страж высунул в щель свою рябую рожу. Я дал десять золотых. Он впустил.

По лестнице вверх, и я уже у дверей, за которыми ожидали моей посылки.

Стукнул три раза, пауза, затем четыре раза. На лестничной клетке горел свет. Через пару минут двери раскрылись вратами в иной мир, в темноте я увидел глаза.

1. Вы немец? Тогда предъявите, пожалуйста, вашу кенкарту (нем.).



Думаю, вид я имел не особо презентабельный, будучи избитым, промокшим, слегка окровавленным.

— Так, слушаю пана? — спросила тьма. Я колебался.

— Посылку принес...

— Пан, нам здесь не нужно никаких посылок, — ответила тьма со светлыми глазами, ответила твердо и недружелюбно.

— Это квартира пани Лубеньской? — спросил, сконфуженный.

— А какая пану разница, пан? Шел бы ты, пан, отсюда! — сказала тьма очень громко, почти крича.

А потом из этой тьмы о светлых глазах проистек шепот, едва ли не чревоушание, вроде бы даже и не из человеческих губ: “Пароль, пан...”

Да, вспомнил: разумеется. Конспирация. Пароль. Отзыв. Какой был пароль? Моя голова полна насилием. Я дал Саломее пощечину. Я истязал Тумановича.

В меня стреляли. Пароль. Пароль. Пароль. Я дракон. Духовная форма нашей пракультуры в самом чистом виде сохранилась в древнеиндийских эпосах. Молчи, мама.

Тьма молчит.

Пан Казимир, Костичек. Пан Казимир. Понимаешь?

— Могу я видеть пана Казимира? — спрашиваю в озарении.

— Ах, конечно, да, милости прошу.

Тьма меркнет, разгорается светом. Попрошенный, я вошел.

Глаза принадлежали мужчине средних лет. Может, чуть постарше меня. Большой нос, щеки отвислые, глаза заспанные, но при этом странно обаятельные. Одет в пижаму.

— А, это пан... — сказал он, встречая меня. — Прошу садиться и прошу также мне дать переодеться.

Исчез. Я уселся в кресло. Я человека не знал, а он, по-видимому, знал меня хорошо. Знал, что я приду. Что неудивительно, однако чувствую я себя от этого неловко.

Я долго сидел один. Из соседнего помещения доносились звуки утреннего туалета: чистка зубов, плеск воды, свист во время бритья. Вбивание одеколона в щеки. Некоторое время это продлилось.

Наконец он вернулся в гостиную. Причепуренный: черная кожаная куртка, бриджи, высокие сапоги. Странно. Я встал. Он протянул мне руку. Кожа матовая и сухая от одеколона с запахом лаванды. Очень аккуратно выбрит.

— Я Витковский.

Я пожал его мягкую руку, и, прежде чем я успел представиться моим настоящим именем, Витковский заговорил.

— Называю пану свое настоящее имя. Против правил конспирации. Тебе, пан, не нужно представляться, я все знаю. Здесь мне говорят Инженер, и так, пан, будешь ко мне обращаться. А фамилию свою настоящую называю, чтобы пан смог проникнуться ко мне доверием на основе рекомендаций людей, меня еще до войны знавших. Пани Тереза, само собой, но также и другие. В любом случае, видит пан, мы беремся с немцами, беремся с Советами, никому не дадимся!

— Ах так, — кисло сказал я.

— Да, так, дорогой пан Виллеман, — говорил он, расхаживая пружинящим шагом по комнате, обняв плечи руками.

Мне хорошо известен этот пружинистый шаг и эти руки на плечах! Кто-то когда-то выдумал, что так должен расхаживать храбрый офицер. Подозреваю, что англичанин какой-нибудь, это они более всех склонны к изобретению подобных образцов, каковыми потом травят всю Европу. Как отравили ее словом “джентльмен”, игрой в гольф или английской флегмой, или пиджаками из твида, как у меня.

А что изобрел англичанин, то с тупым обожанием скопировали немцы — народец настолько без ума от англичан, что специальным эдиктом немецких, в общем-то, королей Англии их можно было бы одарить званием почетных англичан.

Поляки же выучились этому у немцев. Той английскости, какую я и сам копирую: все эти мои твиды, теннис, автомобилизм и дендизм. И футболы.

Но одно дело, когда в зеркале гладко выбритая челюсть, чуб в помаде — тут меня не коробит. Другое дело — храбрый этот шаг... Всякий офицер в моем полку ходил так браво, особенно Ксык. Ксык этой лихой и пружинящей походкой мог даже в сортир идти и тем же способом ходить под огнем немцев, я по сей день помню.

И он так же ходит, этот Витковский, но я-то по нему вижу: если он и офицер, то в лучшем случае резервист, как я. Гражданский, одним словом.

— Мы боремся с немцами и с Советами, — продолжал Витковский. — Мы организуем разведку. Будем доставлять нашим союзникам сведения из тыла врага.

— Пакет у меня для пана, — сказал я.

— Ах да, пакет, ерунда, давай, пан!

Я полез в портфель, подал.

— Распакованный?

— Пан Витковский. Я знаю, что это не согласуется с *savoir-vivre* и вовсе не отвечает цивилизованным принципам, но война есть война. Я должен знать, что несю. Для доверия пока рановато, откуда же мне было знать, не провокация ли это какая-нибудь?

Слова сами всплыли.

Не сами, Костичек.

Слова сами всплыли, я их просто произнес и уже знал, что это верно, что в точку, что именно о том речь. Так это должно было прозвучать.

Он задумался. Смотрел на меня глазами, в которых я внезапно заметил нечто сверх всего только фанфарона-забияки, каким он казался мне прежде.

Да, Костичек, ты заметил и испугался пронизательности этих глаз. Хотела бы я как-нибудь оградить тебя от таких пронизательных глаз, от таких глаз, как глаза твоей матери.

Он упорствовал в этой пронизательности. Но внезапно эта задумчивость лопнула, так же внезапно, как и появилась — лопнула и исчезла.

— Пан прав! Пан ведь ни в чем не присягал, никому, пан верно сделал, — выпалил он внезапно, широко улыбаясь.

Вдруг снова смерил меня взглядом, будто в изумлении, будто только что внимание обратил.

— А где это, пан, ты так лицо расцарапал?

Не верь ему, Костичек, не верь, что он только сейчас обратил внимание. Сразу был должен обратить. Не зря он только сейчас спрашивает. Комедиант.

Я пожал плечами. Он принял это за ответ.

— Пойду уже, — сказал я.

— Ни в коем случае, прошу садиться, есть столько всего для обсуждения!

Я сел послушно. Зачем я сел послушно, хотя хотел уйти уже, хотел пойти к своей Геле, положить голову ей на колени, я, доставивший пакет на квартиру пани Лубеньской, которой тут нету вовсе, я, достойный своей Геленки, пускай она гладит меня по голове и пусть я позабуду обо всем.

Зачем же тогда сел?

Затем, что голос Витковского прозвучал подобно голосу твоей матери, драгоценный мой, ты не можешь устоять перед таким голосом, знаешь это не хуже меня. Любовь моя.

Инженер достал бутылку водки, два стакана, налил, мы чокнулись, до дна, мерзкая и теплая, налил по второй, отставил свою на стол. Не садясь.

И стал говорить, все время расхаживая. Левая ладонь на запястье правой. Пальцы правой руки в непрерывном танце, указательный, средний, безымянный и мизинец касаются подушечки большого и в обратном порядке, к указательному и назад. Медленно, в ритме фраз.

Говорил о себе прежде всего.

Он инженер. Он знает Мосцицкого, презентовал ему некое изобретение. Работал в Швейцарии. Вернулся в Польшу. Основал фирму. Изобрел двигатель на произвольном топливе. Ну, почти изобрел, прототип был, но недоработанный.

Он говорил о себе с бесстыдством или, точнее, будто вообще не знал стыда, без той неуклюжей, всегда притворной скромности, с какой хвастуны говорят о себе, преуменьшая свои заслуги, чтобы заставить слушателей уверовать в истинность этих их заслуг. Инженер говорил так, будто излагал чужую биографию: факты, успех того проекта, успех этого, презентация для Мосцицкого катастрофическая, зато фирма потом успешна.

Он хорошо знаком с Сикорским. И с Падеревским, еще с Мёржа, со Швейцарии. Связан с “Двуйкой”. Пан понимает, двойка, правда?

Я понимаю, читывал-таки газеты. Второй отдел, военная разведка. Похоже, немцы завладели всем архивом. Потом оборона Варшавы. Сражался.

Говорит: “Сражался”. А мне до сих пор этого не выговорить. Да разве я сражался? Выкрикивал какие-то приказы, ну, те, что помнились с Грудзёндза, парабеллумом машучи, мы атаковали Сераков или как там называлась та дыра, во всяком случае, там пал ротмистр Поборовский, мой командир, а раньше, под Грабиной, Ксык лежит за щитом бофорса, ус черный в резине окуляра, локоть на шине, целится, стреляет и танку кердык, а я-то, я-то, я-то что?

А ты, Костичек, не струсил. Никто не сможет бросить тебе в лицо это слово. Не дал себя убить, уланы третьего взвода четвертого эскадрона девятого уланского полка уважали тебя настолько, насколько улан может уважать тридцатилетнего подпоручика запаса.

В меня стреляли, я втискивал голову в землю, но из своего пистолета не выстрелил ни разу.

Не было необходимости.

— А пан сражался в девятом уланском, да? — неожиданно прервал свои рассуждения Витковский. Словно мысли мои прочитал.

Может, прочитал, любовь моя, милый мой, я тоже, в конце-то концов, читаю тебя целиком, словно плакат на стене. Но я не состою из плоти, признаю. Я атман, я дыхание, я Ева, Гелена, Мария и София, а в целом нет меня. Я воздух.

— Пан Константин?.. В девятом, верно я говорю?

Словно мысли мои прочитал.

— Прошу прощения. В девятом. Но я ни разу не выстрелил. Никого не убил. Так что не знаю, сражался ли, — внезапно говорю я в приливе какой-то глупой честности. Или честной глупости. Хотя, полагаю, убил ведь, одного. Зачем я вру, что ж мне, стыдиться теперь, что убил?

— Пан! Что ты говоришь! Офицер не стрелок! У вас ведь бойня была! А пистолет офицеру для того, чтобы в лоб себе пальнуть или дезертира застрелить, не правда ли?

Правда ли.

— Пан, ты! Стрелял своими уланами! Всем своим взводом!

Ладно. Молчу. Инженер качает головой с недоверием, ну да, что за тупица попался ему, этакий дурак, не сражался, будто сражение есть нажимание на курок. И вдруг осеняет меня: Инженер знает обо мне даже то, что я командовал взводом.

И опять начинает говорить, дальше. Говорит. Я не слушаю, дуваю. Сражался.

Не спрашиваю, но знаю: сражение есть нажимание на курок. Штыком в потроха. Глаз вырвать. Это сражение. Я командовал, передавая приказы сверху, приказы Шмиглых и Рыдзов текли сквозь бригаду, сквозь наш полк, сквозь наш эскадрон, вплоть до моего взвода, я прятался от пуль, размахивая, парабеллум в руке и к шее подвязан, сабля под тебеньком, а как же, не сражался ли я? Не сражался. Не знаю.

А он говорил дальше: из Варшавы после капитуляции пробрался к Клеебергу и там руководил диверсионной группой, вооруженной противотанковыми ружьями, такими, как у нас в полку, такими длинными, что Клееберг прозвал их мушкетерами, от этих ружей.

А теперь он в Варшаве организует. Вот кто может его рекомендовать: один, другой, имена картами из рукава, тех знаю, этих нет. Полковник Годлевский. Теперь его зовут Суходольский. Псевдоним Булава. Следуют перечни, задачи разведки, связные, легенды, большевики, Берлин, а всего важнее Будапешт.

— Будапешт, дорогой пан, важнее всего. Там у нас маршал, на нем все строиться будет, он к нам наконец примкнет, только пусть все это как-то нормализуется. Но все идет в правильном направлении, у нас есть две машины, шевролет “Мастер”, кабриолетик зеленый, и опель “Капитен” зеленый, очень красивый.

Ох, как я хотел такой опель, мы уже даже говорили с матерью о том, что олимпия тесна, что капитен мощнее, быстрее, современнее, кузов монокок, обтекаемость люкс-торпеды, современность немецкого автобана. Но потом капитен перестал мне нравиться, лучше уж бьюик с кузовом от Лильпопа, и столько шуму тогда об этих бьюиках. Но потом пришла война, и нет даже маленькой моей желтой олимпии, а у этого здесь есть сразу две машины, хотя неделю назад он еще стрелял в Коцке.

Он без конца что-то говорил: немцы, Советы, англичане, маневрирование, но я не слушал, я думал об автомобилях.

— А вот так, проше пана, мы будем экипироваться, когда уже победим! — объявляет он, показывая на себя. — Бриджи, длинные сапоги, кожаная куртка и металлический значок по эскизу, мной уже утвержденному. Это будет мундир наш. Разведчиков.

Не знаю: не спятил ли он?

И, словно уловив мои сомнения, он продолжил: о том, как он разослал группы, что ищут оружие — в лесах на Бзуре и возле Коцка еще полно винтовок и прочего, собиране, значит, консервация, зарывание, есть чем в немца стрелять, как час настанет, на аэродроме полевым отыскали самолет, разобрали и даже спрятали в сарае, а как же иначе! Контакты с польской и немецкой полицией очень хорошие, всё super, особенно о контактах с немцами заботятся, ведь без этого никуда.

— Пан, смотри, пан!

Он полез в карман, подал мне свиток какой-то ткани. На ткани подпись: Сикорский. Отдаю ему обратно.

И мне даже удалось при этом повторно пожать плечами, как-то смазав впечатление, которое он произвел на меня этой подписью. Пожимая плечами, я внезапно почувствовал силу, чтобы встать. И встал.

— Вынужден откланяться, простит меня пан, — сказал я, сгибаясь, словно покидал званое чаепитие. — Приятно было познакомиться.

— Пан Константин. Я хочу, чтобы пан со мной работал. Ради Польши.

— Польши нет, пан Витковский. Я хочу просто-напросто пойти домой, — ответил я.

Ты верно ответил, мой Костичек. Крепко. Сильно, как мужчина.

— Но пан мне нужен! Пан нужен Польше!

Нате вам, тот слишком, на мой вкус, фамильярный персонаж, куда-то вдруг делся. Не “ты, пан, ты”, а “пан”. Пан. Так держать.

— Пан говорит по-немецки как настоящий немец. У пана немецкие корни. На этом хорошо можно сыграть! Известно ли пану, что дядька пана, граф Штрахвиц, командует танковым батальоном в немецкой первой танковой дивизии?

Я не знаю. Мы ведь не поддерживаем контакта. Он слишком многое о тебе знает, Константин! Больше, чем ты знаешь о себе! Будь бдителен!

— Я слышал об этом.

— Он сейчас в Польше, дорогой пан. Пан мог в него стрелять, оба сражались на Бзуре...

И замолкает, а слова повисают в воздухе, словно они имеют некое значение. Несут какой-то смысл, под тяжестью которого я должен склониться.

Но я не склонюсь. Значений нет, есть только случаи; ибо ничто ничего не означает, кроме себя самого, десигнат равен денотату.

— Ну хорошо, но что из этого, пан Витковский?

— Пусть пан не использует мое имя в коммуникации, пожалуйста. Молчит. Уел меня, как школяра.

— Так как пан хочет, чтобы я к нему обращался? — спрашиваю ледяным тоном.

— Просто: Инженер. Я уже говорил. Пан не должен мне “панить”, пан знает, что на улицах говорят? Что панове на залэщицком шоссе кончились!

И начал смеяться, от души, громко, взахлеб. Я тоже начал смеяться. Однако понял: он сменил тему. Специально сменил тему. Таким образом мой вопрос упал в пустоту, не прозвучал. Но я не поддамся. Мне не интересны затемнения, откровения, за линию фронта проникновения. Занес посылку, как выяснилось, с паспортами — и точка, точка, точка.

— То, что дядя у меня немецкий офицер, не имеет никакого значения. Я поляк, даже фамилию отца не взял, меня не интересует Германия! — произнес я весьма решительным голосом и встал. — Вынужден откланяться.

Витковский, казалось, этого прощального затакта не слышал.

— Разумеется, пан поляк, пан Константин. Пан даже больше поляк, чем я или кто-либо другой, потому что пан не был обязан быть поляком и тем не менее стал.

Это чужь, Костичек, ты очень хорошо это знаешь. Ты должен был быть поляком, даже больше, чем по крови или иной причине

должен был быть поляком, такова была воля твоей матери. Ее воля вылепила тебя, залила твою мягкую ткань в форму польскости и обожгла в печи, и ты теперь застыл в поляке, обожженный, как кирпич. Волей ее.

Она тебя сейчас чувствует и слышит, любовь моя, знает о тебе, глядит твоими глазами, следует за тобой. Но не так, как я.

— Польша в панике нуждается, пан Константин, — продолжил Инженер. — Более, чем в те несколько недель назад, еще до первого сентября, нуждалась. Я собрался послать кого-нибудь в Будапешт, и пан идеально подходит, позволю себе просто предположить. Польша нуждается в немецком пана, в панском дядьке в Вермахте, в кровных узах пана с немецкой аристократией.

— Польша нуждается в могильной плите, пан Инженер. Не в моих узах. До свидания.

Я протянул ему правую ладонь. Он стиснул ее, но вместо того, чтобы встряхнуть и отпустить, сразу же стиснул и локоть.

— Пан не зарегистрирован, правда? У немцев, как офицер?

Я подтвердил.

— Значит, пану нужны новые бумаги. Пан больше не может быть Константином Виллеманом. Пан есть у них в документах, пан Виллеман. Ведь пан является сыном старого члена Freikorps Oberland, а там служили Гиммлер, Дитрих...

— Я не знаю, кто такой Дитрих, — перебил я.

— Зепп Дитрих. Крупная фигура. Но сейчас это неважно. Пан является племянником выдающегося офицера-танкиста. Абвер держит пана в ста тысячах документов. Едва они встряхнутся после войны, а встряхнутся скорее, чем ты думаешь, пан, не мешкая примутся за пана, — тихо сказал он, ведя меня за локоть к окну, глядевшему на площадь, последнему, в котором сохранились стекла, всё еще в крестах, в других лишь фанера и картон.

— Мой отец мертв, — сказал я.

Витковский демонстративно закатил глаза, как бы в нетерпении, я не знал, что это должно было значить.

— Пал при Аннаберге, — продолжил я. — То есть у горы Святой Анны. От польской пули пал, от нашей пули, пал в сражении с моими соплеменниками.

— Ладно, ладно, пан Константин, — перебил он меня. — Не в этом дело. Но это тоже имеет значение. И этот скандал с замужеством матери пана, была огласка, пан ведь не безымянный. Столбовое дворянство, Урадель. За паном следят, пан Виллеман. Пана будут искать. И найдут. Город для пана небезопасен.

Я пожал плечами.

— Пан хочет в лагерь? Сразу надо было, товарищи пана по девятому уланскому уже давно где-то сидят. Пан улизнул не без причины.

— Полковник велел мне идти, — возразил я.

— Он отпустил пана не без причины. Отпустил пана, ибо знал, что пан будет нужен, пан Виллеман.

Мы стояли у окна. Наступал день. Площадь Спасителя уже частично расчищена, печальный труп выгоревшей клумбы посередине, вырванный булыжник, воронки от бомб, рогатки, костел сгорел, одна из башен упала, будто громоздкая, несуразная конская туша, я видел много таких, изувеченных, обугленных с одной и гниющих с другой стороны.

— Вот она Польша, Инженер.

Какое-то время он молчал, озирает печальный вид за окном.

— Пан прав. И эта Польша пану нужна, пан Виллеман. Я дам пану крепкие бумаги на фальшивое имя. При необходимости оформим свидетельство о кончине Константина Виллемана, даже отыскать труп не составит труда, зато никто не побеспокоит жену и сына пана.

Теперь молчал я. А он продолжил этим тихим и сладким, как карамель, голосом, вливая мне в уши слова, будто давал лакомства домашней зверушке:

— Но прежде всего я задействую пана. Чтобы пан не разменивался на мелочи, чтобы дар пана способствовал чему-то большему. Польше нужен пан, пану нужна Польша.

Всю свою жизнь, Костичек, ты разменивался на мелочи и знаешь это. Эти рисунки, что никому не нужны, да ты их и сам не хочешь, столики в кафе, романчики, это все тешит душу, ты ее тешешь и стесываешь, стружки на пол, душа твоя истончается, Костичек, пока не истешешься совсем, ничего не останется.

Я буркнул что-то невнятное, не мог же я просто так согласиться. А я уже не знал сам, стоит ли ему отказывать. Сумею ли ему отказать?

Чтобы знать это, ты должен знать, кто ты, Костичек, есть. А я тебе этого не скажу, я и сама этого не знаю, так долго гляжу на тебя, любовь моя, и вижу серое пятно, хаос.

Ты помнишь, тебе было двенадцать, вы с матерью перед отъездом в Варшаву, парой дней ранее, пришли с визитом к дальней родственнице, настолько дальней, что даже мать сама не знала, кровное у них родство или не кровное и в каком колене, и предмет этот стал главной темой разговора.

Ты должен был играть с сыном той родственницы, мелким, щуплым мальчиком, что говорил лишь по-немецки и боялся тебя как чумы, поскольку был младше и слабее, ты же решил закрепить свое превосходство сразу, едва вы познакомились, парой лет ранее, еще во время войны, при первом визите, и ты его немного поколотил тогда, а после вдобавок унизил, стащив с него штанишки и подштанники и отмерив ему пинка в голую попку.

Поэтому он все еще боялся тебя, спрашивал, не хочешь ли ты почитать его книжки, а ты, в котором уже проснулась польскость, сказал ему, что если он будет говорить с тобой по-немецки, то получит по роже. Мальчик, а звали его Генрих, по-польски не говорил, но все понимал, поэтому сел на стул, уставил глаза в пол и сидел, объятый ужасом.

А ты, Костичек, стоял у окна и смотрел. Тетка жила в доходном доме на улице Школьной, и, когда ты выглянул в окно, на этой



Шульштрассе мятежные силезские перцы разоружали немецких погранцов. Смотрел в упор на драчку: двое повстанцев ненамного старше тебя, может, на пять, может, на три года, двое пареньков в узких жилетах задирали старого, седоусого деда в стальном шлеме. Дед в ярости, ты видел, что он охотно поубивал бы их, ведь для него они олицетворяют практически все, что ему ненавистно: поляков, коммунистов, пацифистов – хотя отнять у него винтовку они ведь хотят не для того, чтобы швырнуть ее на мостовую, а чтобы стрелять из нее. Они олицетворяют тех, кто не боится задирать немца в мундире, не уважает мундира, не уважает, стало быть, ни государства, ни императора, ничего, что дорого этому седоусому деду. Из-за таких проиграли войну, из-за таких уже неделю действует республиканская конституция.

Итак, дед охотно поубивал бы их, деду они ненавистны; но стрелять он боится. А хлопцы отняли у него винтовку и не боятся садануть ему прикладом в живот, для них этот мундир и усы означают все, что им ненавистно: немцев, которые привыкли относиться к ним как к силезским дикарям, годным лишь для работ в шахтах и более ни на что. Господ, которым эти рудники принадлежат и которые платят поденные гроши, пожирая икру и попивая шампанское. Хотя сивоусый дед икры, пожалуй, не ест.

Срывают экипировку: пояс, подсумок, срывают шлем. Дед на коленях на мостовой, на мостовой на коленях с ним вместе все кайзеровские немцы. Следует первый выстрел, помнишь, Костюшик? Это первый выстрел, что ты слышал в жизни, выстрел на Школьной в Шопеницах. До сего дня неведомо, кто стрелял – перцы или погранцы. После ты слышал еще много выстрелов, на стрельбах, на охоте и на войне, но этот был первым, а последним был тот, которым ты проделал дыру во лбу Тумановича в доме на улице Лешно.

За тем первым выстрелом, Костичек, последовало все остальное, начали стрелять те grenшущицы, которых хлопцы еще не успели разоружить, и начали стрелять те хлопцы, у кого уже были винтовки либо другие пукалки, сыпанули горсть пуль. Ты слышал крики:

– Эрих чирка! – И до сего дня ты не ведаешь, кто кричал, grenшущица или повстанец.

У тебя не было и тени сомнений, на чьей ты стороне. Вернее, против чьей: против серого мундира, козырька стального шлема и седых усов. Невзирая на то, что ты ведал, ты знал: такой мундир и такой шлем носит твой отец. Которого ты все-таки любил, как любит своего отца всякий двенадцатилетка, если только не терпит от него ущерба. А тебе он ни разу не причинил никакого ущерба.

Тут в комнату ворвались мать с теткой и увели тебя от окна.

Так что ты сегодня ответишь, Костичек? Ведомо ли тебе хоть капельку больше, чем в тот раз, когда ты услышал первые выстрелы на Шульштрассе в Шопеницах?

– Я не знаю, – глухо ответил я, глядя в стекло. Витковский хлопал меня по плечу.

— Я пана хорошо понимаю, пан Виллеман. Нелегко после такого приходиться в себя. Целую страну, двадцать лет работы, просрали за три недели. Мне это очень понятно, что пан не знает. Но надо взять себя в руки! Надо работать!

Стало быть, не отпустит, это я знаю. Иначе быть не может.

Думай, Костичек. Можешь согласиться, можешь — но так, чтобы достоинства не уронить, ронять достоинство ты не должен. Мне не хотелось бы тебя недостойного.

— Стало быть, ладно. При условии... — согласился я.

— Слушаю, — просиял Витковский.

— Пропала жена моего лучшего друга. В сентябре, в самом конце. Если пан поможет мне ее найти, то я буду работать для пана.

Витковский хлопнул меня по плечу, кивнул головой, крикнул:

— Как у Ллойдс! — И протянул руку, предварительно поплевав на нее, я понадеялся, что чисто символически. Будто мы два лошадиника, что ли.

Не спросил ни имени, ни подробностей, ничего. Не уронил я свое достоинство?

Я посмотрел на часы: полседьмого. До наступления комендантского оставалось еще полтора часа, и я вдруг почувствовал, как ужасно я устал.

— Мы вернемся к этому разговору, — сказал я. — Сейчас я иду домой.

Витковский на миг задумался, по-прежнему не выпуская меня из своих объятий.

— Пусть пан идет. Пока что пана не ищут, пока что не было на это времени у них. Пусть пан несколько дней побудет дома, но на этом точка, увы.

Я кивнул. Витковский внезапно оцупал мой живот.

— У пана есть пистолет?

Я подтвердил, куда деваться.

— Прошу отдать, — приказал он.

Он приказал тебе, Костичек. Ты слушаешься его приказов? Полагаешь, я бы хотела, чтобы ты слушался его приказов?

— Не отдам, — возразил я. Отлично, Костичек!

Рука Витковского стиснула мое предплечье, крепко.

— Прошу отдать, на хранение, ради собственного блага, — сказал он тем ужасным, тихим голосом, в котором было и увещание, и угроза, и неуступчивость.

Я достал браунинг, вытащил магазин, проверил патронник, отдал. Из кармана брюк выгреб запасные пули. Их тоже отдал. Витковский похлопал меня по плечу.

— А расписку какую-нибудь?.. — еще только произнося вопрос, уже знал, что ляпнул глупость.

Витковский лишь рассмеялся, как от доброй шутки. Вновь хлопнул меня по плечу.

— Ну что ж, я рад, рад. Прошу объявиться тут, у меня, через несколько дней.

И вдруг я спросил себя: кончено?

Это я спросила тебя, глупец. Я вышел.

На площадь. Площадь Спасителя. Без оружия. Надо было в водосток выбросить.

Под сгоревшим костелом обнищавший апаш в клетчатой фуражке общался с двумя усталыми солдатами. Бог и дьявол весть, что эти солдатики делали здесь в такое время, без оружия и шлемов, то есть не в патруле. Тощий лоботряс явным образом пытался солдатам что-то сбывать.

Я должен был пройти мимо них либо менять маршрут. Апаш продавал часы — их у него была добрая дюжина, приколотых к подкладке убогого пиджака, но не было никакого способа договориться с немцами, заинтересованными в их покупке.

Помоги ему, Костюшик.

— *Wie könnte ich helfen?*<sup>1</sup> — спросил я на своем венском немецком. Немцы и торговец с интересом посмотрели на мое избитое лицо. Зачем я их спросил?

— Я знаю польский.

И помог. Апаш сбыв две штуки, немцы ушли себе довольные, радостно взглядывая на свои новые браслетки.

— Ты кто, пан? — спросил он.

— Люблю помочь ближнему.

— Дельно.

Протянул мне ладонь.

— Равич. Моя фамилия.

Я пожал руку.

— Не могу открыть пану свою фамилию.

— Ладно, пан хороший, не нужно. Ежели что, спроси, пан, Юрека Равича на Тамке, покажут. Адреса не сообщаю, меняется. Если захочет пан что купить либо продать.

Он был очень худым, лицо что череп, обтянутый кожей, но голдным не выглядел, глаза его сине поблескивали.

— Пан так с немцами торгует? — спросил я.

— И торгую. На улицах. Комиссионер я. Поскольку мне, скажу пану, очень нравятся немцы. Порядок в городе будет. Панов прогнали, буржуев засранных. Я чисто пел, как они драла, сукины дети, прошу пана извинить, сукины ж дети, как драла на этих своих авто свинтусá и все их бляди, и все их выблядки в форменных штучках, как все это сдристнуло красиво, панове, а!

Ну что, Костичек, станешь защищать свою касту? Следовало бы. Он о тебе говорит, о твоего поля ягодах, таких, как ты. Как твоя жена. Как Яцек Ростаньский. Как Ига.

— И то, — сказал я.

Приподняв шляпу, я пошел домой.

1. Чем бы я мог помочь? (Нем.)

Пошел домой. Я пошел.

Не к Саломее. Не к моей бутылочке, полной добра и счастья. Домой, домой, спать. Там, дома, нет войны. Нет немцев. Нет ни трупов, ни выстрелов, есть только Геля, моя Гелена, моя прекрасная Елена, каковая любит меня превыше всего и каковую люблю я, и есть Юрчик, каковому я прихожусь отцом.

Прошел площадь Люблинской унии с памятником Авиатору, мало полетал, прошел Мокотовские заставы и уже иду по Пулавской, далеко позади меня моя Добрая улица, с недоброго Повисле на добрый Мокотов иду, далеко позади и всё дальше недоброе тело Саломеи, к чистому телу Гели иду, к маленькой жизни моего Юрчика, иду в Мокотов.

И вот он я, вот мой дом шоколадный, магазин-кафе закрыт совсем, ворота, клетка лестничная, двери в мою квартиру закрыты и нет у меня ключей, я стучу, и Геля открывает мне.

Ни о чем не спрашивая. Ни о синюшном лице, ни о двух ночах, когда меня не было, ни о костюме измаранном, из кармашка платочек белый не торчит. Ни о чем. Знает, сразу видит, что посылку я доставил, но сейчас я понимаю: ей абсолютно все равно. Она об этом просила меня, потому что ее отец, тесть мой евгенично гигиеничный, попросил об этом ее, рада, значит, что я это сделал, что доставил, но любит она меня не за это.

Как плохо ты оценил ее, Костичек, оклеветал перед самим собой, запятнал любовь этой доброй женщины не одной лишь возней с грязью Саломеи, ты запятнал ее плохими мыслями, а она сейчас снимает с тебя пиджак, развязывает галстук, расстегивает рубашку и пуговики ширинки и стягивает одежду с твоего тела, все еще пахнущего недоброй курвой, и видит, что ты не спал, поэтому нежно ведет тебя к кровати, укладывает твое разбитое тело в холодную постель, в квартире холодно, Юрчик еще спит, а она нечистого тебя, с кровью Тумановича под ногтями, кладет на сверкающую простыню, а голову в белизну подушки, укрывает светлой периной, вот он ты, Костичек. Смыкаешь глаза.

А она садится у изголовья кровати и гладит твою усталую, измученную голову, а ты засыпаешь и уже знаешь: баста. Никогда больше.

Ты не облакаешь это в слова, Костюшик милый, уже поздно, голова твоя утомлена походом, но ты чувствуешь и знаешь: баста. Никогда больше.

Больше никаких женщин, никогда. И уж точно больше никакой Саломеи. Хватит цинизма, злодейств, гнусностей, Костичек. Хватит. Больше никакого морфия.

Всему виной морфий. Не счастьем, не добром, не радугой полна бутылочка. Она полна окаянства, предательства и зла. Бутылочка, что ждет меня у Саломеи, — в ней живет лишь демон.

Нет, не так, не ждет тебя больше та бутылочка, Костюшик. Нет, не ждет. А, может, и ждет, пускай ждет, я не оправдаю ее ожиданий,

не пойду к Саломее и не утону в теплой карамели, уже никогда не окунусь в липкую сладость.

Ради Польши буду теперь. Но не оттого, что этого ждет от меня Геля. Не ждет ведь. Гелене дорог я, как я, Гелена же не отец ее, евгенично гигиеничный. Хелена дорожила бы мной предателем, мной ренегатом. Любила бы меня даже немцем.

А, может, немцем бы меня не любила, но без разницы. Уже без разницы. Не стану больше на мелочи размениваться, теперь стану жить по-настоящему.

Станешь жить по-настоящему? Я-то по-настоящему жила бы с тобой, за тобой, при тебе, вокруг тебя.

Буду интриговать, строить козни, коли потребуется, я убью, коли потребуется. Ради Польши.

Нет-нет, не оттого, что я вдруг решил, что так должно. Мне не должно. И не оттого, что вдруг поверил, что я чем-то Польше обязан. Не обязан. То, что задолжал, в сентябре я отдал с процентами. Я буду теперь ради Польши, потому что нуждаюсь в этом, мне нужно быть ради нее. Мне нужно служение, коли не стану служить, умру.

Правда, Геля? Правда?

— Да, любовь моя. Спи. Хорошо, что ты здесь, любовь моя.

Я засыпаю. В своей квартире засыпаю, Гелена гладит мою голову, и вот я уже сплю и чувствую, как она вскальзывает под одеяло. А как же Юрчик, думаю?

Ты не думаешь, ты спишь. Это я думаю, можешь ли ты вкусить сейчас своей жены, не придет ли твой сын, я забочусь о тебе, Костичек. Костюшик.

Итак, под одеяло твое вскальзывает жена твоя, Костичек. Зачем ты думал о ней так плохо? Зачем ты ненавидишь ее так, Костичек, пять лет брака все-таки не мало, разве не от нее видал ты много добра?

Ее ладони узкие, тонкие на твоем голом пузе, на нижней его части, касаются твоего мужского достоинства сомнительного, усталого, умученного телами шлюх, знает она или нет, ты ей не сообщал, но столько раз ты приносил домой шрамы от шлюхиных ногтей на спине, следы шлюхиного рта на шее, а Геля дома, Юрчика укачивает, и столь долго ты не хотел коснуться ее, Костюшик, тебе претило ее прекрасное, доброе, чистое тело, добротой и чистотой своей, но более всего тем, что она дала тебе это тело, что было это тело твоим, что сохранила его для тебя. Она отдала тебе свою боязливую, безболезненную невинность, отдала только после свадьбы, но отдала, принесла свое чистое тело тебе в жертву, а ты его выпачкал, спя со всеми девками теми, с какими ты спал, Костичек.

А она тебе это простила, простила, о том не зная даже, и ты себе прости, милый мой, подпоручик мой Константин Виллеман, любовь моя, бог мой.

И как она тебе отдавалась, помнишь? Не было в том грязных исканий собственного удовольствия, не было. Она дарила тебе всю

себя, принимая тебя в себе, ничего не искала, ничего не хотела от тебя, хотела просто дарить тебе себя и дарила.

А ты думал о том, будто лежишь в постели с ее отцом, которого ты ненавидишь, и с его евгеникой. Разве отвращалось лицо ее от твоего? Отвращалось. Однако не потому, что полагала тебя испачканным, пусть даже ты был испачкан. Отворачивалась от наслаждения, быть может, телесного, но изначально, прежде всего, скорее от наслаждения дарования тебе самой себя, Костичек. И зачем ты думал тогда, что она не дарила тебе поцелуев, когда губы ее искали твоих губ, Костюшик? Зачем думал о ней несправедно?

Неправильно, плохо?

Прости мне, Гелена, ты единственная, что любила меня. Прости, добрый дух жизни моей, что так обидел тебя. От сего дня я уже никогда не обижу тебя.

— Прости мне, Геля, — шепчу я. — Прости мне. Я тебя не достоин, Геля.

— Ш-ш-ш... Тихо, Костичек.

Ее рука на моей гнусной голове, на моем паскудном лбу, расчесывает мне волосы.

— Зачем ты отправила меня туда с этим пакетом, Геля? — шепчу, не сплю.

— Они нужны тебе, Костичек. Бездействие тебя убьет.

— Втянули меня в заговор. Я согласился.

— Знаю.

— Но я не ради Польши согласился. Польшу я в дупе видел. Обещали, что помогут найти Игу. А Яцек меня просил, понимаешь... Вот зачем согласился.

— Понимаю, Костичек. Спи.

— Геля, я человека убил.

— На войне? — спросила она, не прерывая ласки.

— Нет. Вчера.

Ее ладонь на секунду остановилась, застыла в трудной неподвижности, была ли эта неподвижность вопросом или легким замешательством?

— Видимо, пришлось. — Рука вновь двинулась в путь. Будто сказал, что истратил сто злотых.

— Пришлось.

Она кивнула. Верит, принимает, признает.

— Думаешь, Ига жива? — спрашивает без робости, не боясь произнести эти слова. Я втиснулся головой ей в бок, в бедро, куда-то, куда я мог втиснуться.

— Не знаю, Гелюшик, не знаю.

— Бедный Яцек. — Геля хлопает носом, будто собирается заплакать. — Бедная Ига. Бедная Ига.

Моя первая любовница, первая женщина, и я был ее первым мужчиной, а год был двадцать седьмой, и были мы на природе, на озере Мядель в Постапском повете, в усадьбе Рохацевичей, и был я

тогда восемнадцатилетним мальчиком, глупым, весьма ранимым на предмет своего произношения, нередко то силезского, то немецкого, поэтому нередко я попросту молчал, и выглядело это обычно так, что я говорил твердо, весьма правильно, но в те редкие минуты, когда я раскрепощался, начинало плавать “а” или, под влиянием странных и неопределимых токов в моей голове, акцент плыл в немецкую сторону, к раскатистому “р”, я слышал это, видел удивленные либо ухмылку и замолкал.

Был там со мной на природе Яцек, мой добрый славный Яцек, мой ангел бутылочек, полных добра и радуги, или, вернее, зла и смерти, мой гимназический товарищ, на два года старше, с которым я прежде не водился, и только там, в поместье Рохацевичей, в черед с сосновых боров, озера, прогулок и гребли на каноэ, там зародилась впервые наша дружба.

И была там Ига. Яцек тогда был без памяти влюблен в некую варшавянку, поэтому на Игу не обращал внимания. А Ига присутствовала очень сильно, словно весь тот дачный мир вращался вокруг нее.

Она приехала позже нас, двумя днями, и в первый раз мы увидели ее за завтраком. До тех пор общество нас разочаровывало. Два пожилых чиновника из Познани, скучных, как проповедь в Великий пост, один из них с женой, усохшей, будто вынутой из гербария.

Вдобавок строгая панна Алиса, широким шагом без сомненья шедшая к бездонному отчаянью старой девы. Но жар в ее теле еще пылал; возможно, она бы более благосклонно отнеслась к непосвященным в арканы любви гимназистам, когда бы случайно не услышала наше язвенье над ее полнотой. Притом язвенье напрасное, ибо, будучи полной, панна Алиса несомненно была сверх меры женственна, и, язвя над ее большой грудью и пышным задом, мы, пожалуй, не совсем с умыслом пытались осмеять то, что недоступно нам.

Да, Костичек, знай ты тогда побольше о женщинах! Ты знал бы, как расцветают их тела, освобожденные от скорлупы платьев. Но панна Алиса не умела употребить свое тело так, как многие другие женщины. В ней не было свойственной полным дамам сердечности и теплоты, коих источники загадочным образом бьют в телесном избытии. Панна Алиса была колкой и костлявой старой девой в теле упитанной женщины средних лет. Не знала, что можно быть вполне соблазнительной, не насилуя оной полноты теми жутко тесными летними туалетами, из-за чего спина ее казалась жирным, обвитым сеточкой балероном.

Да, Костюшик, милый, а ты помнишь, что и я уже была с тобой и за тобой, я, твоя серая тихая подруга без лица, Та, Что Следует За Тобой, ты помнишь, Костичек? Ты не помнишь, я подруга настолько серая и настолько тихая, что для тебя я всего лишь тень, и если ты ощущаешь мое присутствие, то на пороге подсознания, ни на йоту выше.

Я никогда не выхожу на свет. Так что вспоминай, Костичек, с головой на коленях у жены, доброй твоей жены, вспоминай.

— Я помню, когда мы познакомились, Ига, Яцек и я, — шепнул я.

— Да-да, на даче Рохацевичей. Она была твоей первой любовницей. Я слышала это столько раз, что уже давно простила тебе, что Ига и ты когда-то... — ответила Геля ни серьезно, ни со смешком.

Простила ли? Не знаю. Было ли вообще чего прощать?..

А в местности дачной, помимо познанских чиновников, жены, жирной горничной и бездетных господ Рохацевичей, была еще пара варшавских бонвиванов неопределенного типа лет тридцати, коим, очевидно, наскучила светская недостаточность малообещающих каникул.

От скуки и светскости они волочили за панной Алисой, без особой убежденности в этих ухаживаниях; она же, неловкая и неуклюжая в своей женственности, держалась на слишком большой дистанции, обусловленной приличиями. Не знала, что, возводя вокруг себя стену доброй репутации, должно оставить в ней лазейку тонкой двусмысленности, взглядов и жестов, лаз, через который любовь скользнет за стену доброго имени хотя бы на одну ночь. Жаждала, чтобы кому-то удалось проникнуть за стену, ночами трогала она свое тело, пробуя вызвать полустертые воспоминания о последних касаниях мужских рук, и боролась с этим огромным ужасом, растущим в ней с каждым одиноким отходом ко сну, страхом одинокой смерти, страхом, что те руки были последними в ее жизни, и те жуткие слова, которые она слышала после, были последними любовными словами, какие она слышала от мужчины. Эта жуткая клевета, это слово “курва” из уст поддлаца было плохим словом, но равно и словом любви.

Стало быть, лежала и мечтала, как под черным плащом конфиденции из комнаты в комнату потекут надушенные записки. Жду нынче ночью. Приду к Тебе. Дрожу, ожидая. Моя жизнь в Твоих руках. Твоя. Твой. Преданный. Старая добрая ложь чувственного романтического воодушевления сделает встречу возможной, конвенционально приоденет до возможной приемлемости животную правду о потребности удовлетворения, но также и животную правду о потребности в тепле другого тела, в том, чтобы кожа коснулась кожи и чтобы руки обняли шею, и чтобы в объятиях любовницы и любовника искать память о материнских объятиях и память о тепле материнского лона.

И мечтала, что за письмами последуют тихие шаги босых ног, ведь каблуки могут разбудить прочих гостей, что двери отворятся, и в них встанет мужчина, и она возьмет его к себе, в себя и отдаст ему свою истлевшую, увядшую женственность. Хоть раз. Прежде чем безвозвратно рухнуть в старость, в эту смерть женщины. Панна Алиса считала, что нет старых женщин, что женщина умирает вместе с молодостью, делаясь бесполой старухой. Так хотела, чтобы кто-то из них пришел. Приняла бы даже тебя, Костичек, либо Яцека.

Однако никто не пришел, она никому не позволила, и курорт она покидала мертвой, в убеждении, что женщины, которой она некогда была, нет в живых.

И все-таки она ошибалась, ибо еще познала мужчину.



Она познает мужчину через дважды семь лет после летнего отдыха в Поставах. Ты лежишь, с головой на коленях у жены, Советы вступают в Вильно, а она дрожит в своей нетопленной квартире. Спустя неполных две недели придет Литва, затем, в июне будущего года, опять Советы, и однажды к ней на квартиру зайдет советский старшина с желтыми волосами. Он изнасилует ее без зверства, даже не изобьет, просто ворвется в квартиру, толкнет ее на оттоманку, она не станет защищаться, он разорвет ей платье, раздвинет пышные ляжки, похвалит по-русски их бледность и округлость, делает свое дело и уйдет, забрав высланную бархатом шкатулку со столовым серебром, давным-давно полученным панной Алисой от бабушки в качестве вероятного приданого.

Через два месяца, в поезде на восток, панна Алиса поймет, что беременна, здоровое семя казанского крестьянина проросло в ее лоне, которое казалось ей высохшим. Девочка с черными волосенками родится уже в Казахстане, где умрет месяц спустя после родов, когда исхудалая панна Алиса не сможет выжать ни капли молока из своей увядшей груди. Девочка умрет, окрещенная Надеждой, мудрый, очень худой, и оттого, видимо, мудрый ксендз не крутил носом, мол, имя не католическое, девочка умрет, сначала несколько дней громкого плача, коровьего молока пополам с грязной водой слишком мало, к тому же его не усваивали ее младенческие кишки, она умрет, заходясь уже единственно в тихом писке, большие глаза на истощенном личике, и панна Алиса завернет ее в белую простыню, кайлом будет ломать сухую, как скала, землю пустыни, растрескавшуюся красивыми узорами, и присыплет малое тельце пылью раскрошенной почвы. И будет жить дальше, и вырвется из этой казахской земли Египта к дому надежды, с ватагой больных оборвышей, для порядка именуемого армией, поплывет на судах через Каспий, к гостеприимным брегам Персии, из Персии с этой армией отправится в Палестину, будучи одновременно матерью, нянькой, санитаркой и учителем для дюжины перепуганных, одичалых польских сирот, и уже когда сироты эти обретут в Иерусалиме дом, кровати, белые простыни и трехразовое питание, панна Алиса, госпитальная сестра Алиса, стянет револьвер Webley из-под койки лежащего в лихорадке офицера, спрячется в подвале госпиталя, там разденется донага, встряхнет и повесит белый халат, аккуратно сложит одежду, потрогает свой живот и груди, словно желая убедиться, что она действительно нага, затем оттянет курок и совершит мужское самоубийство, отстрелив себе свод черепа, нисколько не заботясь о том, как будет выглядеть после смерти.

Гром выстрела застрянет в каменных сводах; пройдут две недели, прежде чем будет обнаружена панна Алиса, уже обвиненная в том, что, найдя у себя еврейские корни (их у нее не было), бежала из польской армии в рождавшееся в муках еврейское государство. Что с молчаливого согласия Андерса было нередким явлением в его большой истощенной армии. Но через две недели ее обнаружат, нагую и мертвую, крысы правили на ее теле свои крысы пиры,

а мухи уже отложили в ней яйца, и никого ее смерть не удивила, людей тогда легче было удивить тем, что ты жив.

Не знал ты этого всего, Костичек. Не знал тогда, на дачах, не знаешь этого и ныне, потому как ныне панна Алиса все еще полирует серебро в своей виленской квартире, что, собственно, милостью и насмешкой большевиков, на краткий срок делается литовской. Лишь по втором явлении русских к ней придет тот советский старшина и заберет серебро в обмен на свое наследие.

И ни разу больше не встретишь ты панну Алису, Костичек, но Яцек встретит, хотя и не совсем, такая малость будет их разделять, когда темная субстанция, пульсирующая под тонкой кожей этого мира, швырнет его ночью тайком через линию фронта к стоянке тех оборвышей, они разминутся парой метров, разделенные лишь мерзлым полотном палатки, пар от ее дыхания выкристаллизуется меж волокон брезента, но что с того, панна Алиса так и так не узнала бы его, Костичек, а если бы узнала, то что с того? Курам на смех, дикие эти виражи судьбы, от имени Рохацевичей до лагеря в Бузулуке.

Так что вспоминай и далее отдых двенадцатилетней давности, в полусне, у своей жены на коленях, в доме из шоколада, в изнасилованной Варшаве, и выдели панне Алисе столь малую кроху воспоминаний, чтобы вот-вот забыть о ней начисто, чтобы исчезла она из твоей головы, как исчезла из твоего мира, и как вскоре умрут те, кто когда-либо знал ее по имени и помнил, не забудет и жить будет лишь советский старшина: он еще долго при Брежневе и Андропове будет входить стариковским шагом в режимные церкви, каяться и что ни день молиться за ту польку с пышными и белыми бедрами, а при Горбачеве убежит на Соловецкие острова, где станет молчалиником, иные ошибочно сочтут его мудрецом, а сам он безошибочно будет считать себя недостойным грешником. При Ельцине возьмет старый челн и выйдет в Белое море, пойдет, сколько хватит сил его старым рукам, бросит в бездну свое единственное сокровище — столовое серебро, и ляжет на дно челна и умрет, море понесет его, ни дать ни взять норманский пират в драккаре, изжелта-седые волосы, ватная телогрейка и потертые валенки. И он пойдет в стариковский рай и встретит в нем свою женщину с простреленной головой, и встретит свою дочурку, Надежду, умершую от голода, так записала контора, и тешиться вместе они будут тем вернее, чем вернее не будет этого рая и чем вернее не будет их самих.

Не знаешь ты этого, Костичек, это знаю лишь я, твоя серая подруга, кладущая тебе на плечи руки и следующая за тобой, подстроив свой шаг к твоему. Не знаешь ты ничего о советском старейшине, имя ему было Лавр, но на острове он взял новое, покаянное имя: Авксентий. И не знаешь ничего о небе или о пекле, где бы он ни был, ведь после стольких лет покаяния мог оказаться везде, куда бы ни пожелал последней мыслью, у Бога, которого нет, и в аду, который есть.

Стало быть, вспоминай сейчас, вспоминай отдых свой много лет назад, я разрешаю тебе, твоя серая любовница из тени.

Вспоминаю, стало быть, отдых тот, много лет назад, когда я встретил Игу. Яцек и я сблизились быстро, и, может, могли даже как-то сдружиться с холостыми панами, если бы те не выказывали нам такого открытого презрения, обращаясь с нами в лучшем случае как с подростками. Ростаньский быстро доверился мне, рассказав о своем сердечном недуге, и его безнадежная любовь стала главной темой наших разговоров.

А через два дня по нашем приезде к завтраку вышла Ига: ей было восемнадцать, как и мне, и сногшибательной красотой она не отличалась. Имела стройную фигуру, волосы цвета соломы, ординарное лицо и скромное летнее платьице.

Но ее выход в столовую к завтраку означал, что среди нас появилась молодая женщина, то есть компанейская конъюнктура изменилась в корне. Яцек едва взглянул на Игу и вернулся к своей тоске по недоступной варшавянке. Мисс Алиса поглядела на Игу и, должно быть, сразу ее возненавидела, одно ее присутствие перечеркивало и целиком сводило на нет даже те казенные ухаживания, что оба пана-кавалера предпринимали по отношению к ней до сего момента. Было ясно, что ни до каких дальнейших ухаживаний не дойдет: ухлестывать за панной Алисой в присутствии излучающей молодость Иги было бы социально-межличностной перверсией.

Я смотрел на Игу с гораздо большим интересом, но быстро заметил, какие взгляды бросали на нее пресыщенные кавалеры из Варшавы, и понял, что шансов у меня никаких. Хотя обычай, конечно же, предписывал включиться как-то в этот забег, сделав вид, что не исключена возможность победы.

Ах, знал бы тогда, Костичек, куда по правде выведет этот забег, один из кавалеров, по фамилии Плецинский, с простреленным черепом в лесу на востоке, а другой так еще мертвее, Корницкий Лепольд, как писался он в различных социалистических ведомостях и списках, член Польской объединенной рабочей партии, дотлевающий шмат человека на низком посту в министерстве, кончит тем, чем жил большую часть послевоенной жизни: в гадком темном костюме, портфель клерка в руке, с ощущением абсурда, кончит банально, попав под варшавский трамвай, а от Вислы до Одры будет править Гомулка. Но ты себе вспоминай, вспоминай на здоровье, Костичек. Ты ведь не знаешь, и я не скажу, поскольку тебе не слышен мой голос.

Я не хотел участвовать в том забеге. В конце концов, я был всего лишь подростком восемнадцати лет, которого судьба одарила кучей прыщей, они же были зрелые мужчины, довольно красивые, самоуверенные, я с грустью признавал это. Они знали жизнь. Я ничего не знал.

Так что я больше не думал о панне Иге. Вскоре нас представили друг другу, и нам довелось пообщаться, но оба курортника любезничали с панночкой столь решительно, что я не осмелился даже стартовать. Ну куда мне было до тех мужей?

Ига также не обращала на меня внимания более, чем того требовали принципы хорошего воспитания — а воспитана была очень хорошо, добротю, с четким знанием форм, что обеспечивало уверенность в себе и непринужденность в любой ситуации.

В первую неделю вакаций я расценивал панну Игу как особу весьма интригующую, но совершенно недоступную. Затем Плецинский, человек не слишком изысканных манер, чересчур нахально и неучтиво покусился на добродетель девушки; хотя его отнюдь не отвергали. Однако темп, с которым он подбирался к ее телу, настойчивость, сдвигавшая ладонь от колена выше, к бедру и далее, еще выше, заставили ее решительным образом выставить его из комнаты и однозначно прекратить отношения, сведя их к прохладному “здравствуйте” по утрам. Она не хотела так, он ей нравился, но она не могла иначе. А стоило ему помедлить всего день или два перед атакой на бедро и еще неделю, прежде чем пойти ва-банк, она уступила бы. Но он не медлил: вместо того выругал ее в недостойном джентльмена стиле и ушел, хлопнув дверью. Пан Рохацевич узнал об этом от своей жены Рохацевич, которая, не имея потомства, дни напролет следила и подглядывала за гостями. А узнав, Рохацевич снял со стены двустволку.

Не найдя к ней патронов, он было потянулся за кочергой, но тут пани Рохацевич, употребив нюхательную соль, очухалась и, что твой Рейтан, легла на пороге супружеской спальни, объявив, что, коли Рохацевич убьет Плецинского и сядет в тюрьму, она подаст на развод и поедет в Вильно блудить с кем попало, хоть с жидами и даже с журналистами, прости Господи. Рохацевич перед столь выразительным доводом спасовал, ибо человеком он был не слишком склонным к насилию, а к тому же трусом, жена же дала ему повод для отступления.

Рохацевичова взялась за дело, и, с утра получив ледяной ультиматум, варшавский бонвиван Плецинский уехал, не попрощавшись, зато забрав с собой приятеля.

Ушли в свою жизнь, на свои виражи, что приведут их туда, куда я сказала уже, что приведут. В лес на востоке и под варшавский трамвай. Должна ли я поведать о том, как Плецинский умер где-то в лесу, в центре польско-русского континуума, а Корницкий на рельсах на улице Пулавской, недалеко от твоего шоколадного дома, который по-прежнему стоял себе, где стоял, хотя город вокруг как бы провалился немножко под землю? В этих историях есть зерно истины, но ты же думаешь, Костичек, что меня занимает истина? В конце концов, я все равно не могла бы рассказать истории жизни всех, кого ты когда-либо встречал.

Итак, мы остались на дачах одни: Ига и я, панна Алиса с ее отчаянием, Яцек с его тоской и любовью к недоступной варшавянке, немые и бесцветные чиновники из Познани и постоянно ощупывающие нас бдительные глаза пани Рохацевич.

Так взглянула бы она на меня до того, как выехали Плецинский с Корницким? Определенно нет, это было бы таким же нонсенсом,

как ухаживание кавалеров за панной Алисой в присутствии Иги. Я мог бы показаться ей более интересным, однако такова сила социальной формы, вытекающая не из того факта, что мы в нее верим, а из того, что она реальна, она является субстанцией жизни либо — я здесь не хочу вдаваться в философские рассуждения, — по крайней мере, соответствует этой субстанции, как соответствуют звукам буквы алфавита.

Итак, вы ходили кругами, круги были вам суждены: Ига, у собственной тетки на каникулах, ведь Рохацевичова приходилась ей теткой, и вы двое, Яцек и ты.

Так что не осталось больше никого сильнее нас. Бездарные, казенные ухаживания предпринял один из познанских чиновников, тем более бездарные, что затеяны они были в не слишком отдаленном присутствии уродливой жены.

Значит, он был слабее тебя, Костичек. Разве могла восемнадцатилетняя девушка в цвету отдаться чиновнику пятидесяти девяти лет, Костичек, тому, что родился в 1868 году, был чьим-то сыном, имел детей и потом умер, но ведь и о нем я не расскажу тебе, ну зачем мне рассказывать тебе о нем, Костичек, раз уж его жизнь не имеет значения, как и всякая другая?

Могла бы, в принципе, отдаться ему, но не в подобной ситуации, когда речь шла об отпускном приключении, об этом тучном конторщике, а рядом были мальчики, возможно, не красивые еще, но юные и гибкие и с задатками будущей красоты, причем материальный сюжет не играл здесь роли, ведь было лето, воздух пылал и пылала кровь.

Она, разумеется, могла бы никому не отдаваться, тому виной претензии Рохацевич, тетки, не разумевшей элементарного закона — запрещая, контролируя и утесняя, она лишь подталкивала Игу к тому, от чего сама хотела бы оградить ее.

И не оградила. Ига первой разглядела в тебе то, чего ты сам не постигал, Костичек. Ты помнишь?

Она разглядела в тебе мужчину, она была первой. Не в плане зрелости, до зрелости тебе все-таки очень было еще далеко, и далековато по-прежнему, а в смысле пола. Прежде ты не обладал полом, ее взгляд дал его тебе.

Кем ты был прежде? Ребенком был, я уже тогда была с тобой, с одиноким тихим гимназистом, ты плелся из школы домой улицами Варшавы, вы уже жили на той вилле в Жолибоже, купленной в двадцатые годы, ты был мальчишкой, погруженным в книжки и мечты, для твоего возраста легкомысленные, о морских путешествиях и об исследованиях запретных городов Тибета из книг Оссендовского, которым ты, похоже, верил, ты мечтал о Непале и о джунглях, пространствах влажной, набухшей зелени, забитых экзотическими фруктами, о хищных зверях, отданных на милость твоего штуцера, и полуголых дикарках. Увиденные раз на фото в иллюстрированном журнале, они навечно поселились в твоём хромающем

воображении, прижились в нем, расплодились, ты воображал, как делаешься королем-богом дикого племени, собираешь из мужчин свою маленькую армию, покупаешь у торговцев оружием новейшие ружья и пулеметы, аэропланы для личного пользования и пушки, а женщины, те полуголые дикарки, они все для твоего личного пользования, к услугам Константина, они служат тебе своими телами, а ты ими владеешь, воображение внушало тебе всё более смелые образы их смуглых, скользких от пота тел.

Ты отличался от сверстников, Костичек, они ведь нередко не знали анатомических подробностей женского телосложения, и между ними шли споры с применением весьма убогого понятийного аппарата, основанного на отрывочных наблюдениях за служанками, няньками и — что признавалось с некоторым смущением — сестрами. Итак: писька, сколько в ней отверстий? Одно для писанья, ведь девушки тоже писают, одно для рождения детей и одно для того, чтобы засовывать туда хуй?

Помнишь, Константин?

Ты развеивал их сомнения тоном человека, утомленного анатомической наукой.

Значит, все в одной дырке? И суют туда, откуда писают? Мерзость. Ты тоже хером своим писаешь, идиот. Ну так-то оно так, но девушка другое дело.

А если одна дырочка, то как устроена? Ведь когда ты ложишься на женщину, то хуй у тебя смотрит вниз, как отвес геодезиста, так что, анатомически говоря, пан приятель, когда женщина лежит, то дыра тоже должна быть спереди и вниз, чтобы засунуть. Дурень, смотри, вот — Венера Милосская. И где дыра, идиот? Сам идиот, рыбий хуй, это тут на нее напялили. Напялил кучер твою мать на конюшне.

Идут в ход кулаки, но потом ты объясняешь. Ты все объясняешь.

И ты предпочел бы не знать, как и они, но знал. И знание это отнюдь не делало тебя более зрелым, Костичек. Этим знанием ты не мог поразить девушек из пансиона, да и как? Ты мог бы поразить шлюху, надо же, такой молодой, а знает, что и как, имей ты деньги на шлюх, но ты-то их не имел, денег, да и отнюдь не знал, что и как, напротив, знание тебя парализовало. Другие, те, что не знали, как это сложно, они делали, и то и дело то один, то другой приходил в школу гордый, как павлин, и признавался: служанка, проститутка или еще какая-нибудь другая женщина сделала меня мужчиной! И все очень просто, засунул, туда-сюда, потом слезаешь с креста и готово.

Ты знал, сколько всего может пойти не так, и боялся больше, чем они.

А с Игой началось с разговоров, с официальных прогулок днем и заговорщических прогулок ночью, ты попросту выходил, она же плавно выскальзывала из своей комнаты на этаже, выбиралась через окно, и мы шли на озеро Мядель или на татарское кладбище в деревне и разговаривали, и впервые в жизни я вел такие разговоры, задушевные, теплые и близкие.

Потом мы в первый раз поцеловались, на берегу озера и даже при полной луне, я и поныне помню небывалый вкус ее губ и помню, как, целуя ее, пустил наконец язык меж ее губ и коснулся им ее зубов, а она приняла его и ответила своим языком, а после мои руки на плечах у нее, им понадобилось время, чтобы преодолеть последний дюйм воздуха, что отделял их от ее спины, не получалось отважиться на тот последний этап пути, однако отважились и опустились ей на плечи, от кожи их отделял лишь свитерок, который она надела тогда, я помню шерсть того свитерка, грубую и мягкую одновременно.

Тогда Ига задрожала.

А через два дня ночь была такой теплой, почти жаркой. После ужина Ига шепнула мне на ухо, чтобы взял с собой одеяло, и я уже знал, что случится.

Я боялся, что не справлюсь, что не смогу сделать это должным образом, ведь я не знал — как, и тысячекратно разгадывал анатомические загадки, знание которых отнюдь не ободряло меня, ведь от матери я знал и такие слова, как *ejaculatio praesox*, и еще другие, не очень ободряющие. Но я утешался тем, что и она не знает — призналась мне, что ни разу не была с мужчиной, впрочем, я не брал в расчет, что могло быть иначе.

А потом, на одеяле, мы клялись друг другу во всем, в чем можно клясться, когда в первый раз вот так, по-настоящему, оттого клялись абсолютно во всем: что мы никогда не расстанемся, что будем вместе по гроб жизни. Каждая из тех клятв была нарушена.

А потом это произошло, мы разделись порознь, каждый снял с себя одежду, потом мы трогали друг друга, и она боялась моего *membrum virile*, набрякшего так, что, едва она его коснулась, всё, разумеется, сразу кончилось, и я застыдился, но Ига была мудрой, хотя и неопытной, настолько же любопытной и жаждущей, насколько терпеливой, она обладала женской интуицией, которая подсказывала ей, что делать.

Потом была ее боль, крик и поцелуи. Потом мы лежали на одеяле, втиснутые друг в друга, снова обещая друг другу всё, и вечность, и что никогда не расстанемся.

А потом мы расстались, на дворе у Рохацевичей, Ига пошла к себе, я пошел к себе, а потом мы встречались снова и снова и обещали друг другу всё, а потом окончательно расстались, каждого ждало возвращение в Варшаву.

Мы страшно поссорились в Варшаве, она пообещала, что никогда больше слова со мной не молвит, и действительно, долго не молвила, а потом мы встретились снова, уже гораздо более официально, и потом нам было уже наплевать, что скажут об этом родители Иги, а потом мы расстались, потому что я влюбился в Гелену, Ига меня возненавидела, а Яцек взял ее себе и быстро отучил от ненависти ко мне, и мы жили в идеальном контакте на протяжении всей второй половины тридцатых годов, которые сейчас, когда го-

лова моя лежит на коленях у Гели, подходят к своему печальному концу четырнадцатого октября 1939 года. Мне все еще странно произнести это вслух, “тридцатые годы”.

— Что тридцатые? — спрашивает Геля.

— Знаешь, Геля, в августе Ига пыталась... — начинаю я. Но Геля накрывает мой рот ладонью.

— Я ничего не знаю и знать не хочу. Молчи, Константин, молчи.

Пыталась меня соблазнить. И должен ли я сейчас говорить своей жене, что аккурат в тот раз я устоял, притом что устоял я не из-за Гели, но из-за Яцека, ибо сказано было в Теревовле: мы не соблазняем жен товарищей офицеров, подпоручик Виллеман! И я себе это запомнил, аккурат это запомнил, хотя ничего другого не запомнил.

Так должен был бы ей сейчас сказать, что устоял, притом что я, кроме того раза, столько раз не устоял?

Но она пыталась, пыталась, на именинах Яцека, которые Ведель устроил ему в магазине-кафе в нашем доме из шоколада, когда это было, два месяца тому назад, а словно вечность, два месяца тому назад было лето, и мы с Яцеком так беспокоились, что нет у нас белых смокингов, и в конце концов оба пошили белые, и беспокоились, будут ли вовремя. Они были. Висит теперь этот пиджак в моем шкафу, я мог бы открыть шкаф и достать эту тонкую белую шерсть, на что только?

Мы много тогда говорили с Игой, по телефону и лично, многое вспоминали, и была между нами та неповторимая в иной конфигурации близость бывших любовников, все еще участливых друг к другу, по-новому ласковых, превыше уже угасшей ненависти. А в день именин Яцека с пластинки лился слоуфокс из фильма “Бродяги”, пел Мечислав Фогг и играл оркестр фирмы Syrena.

И мы плыли по паркету кафе-магазина, надраенному в честь именин, а ты шептала, разом с Фоггом, на тебе было голубое платье с длинными рукавами, и ты шептала, Ига...

Откуда тебя ветер неведомый принес, не знаю твоих вех я, не знаю твоих грез, и только вещь одна известна нам двоим, что сделала ты с сердцем моим.

Ты танцевала дивно, Ига Ростаньская, да и я был неплох, такие мы были красивые, давние любовники в слоуфоксе, быстро-быстро-медленно, мое бедро между твоими, моя стопа между твоих стоп, наши бедра соприкасаются, твой стан и дивная шея откинута, но взгляды наши неразрывны, и ты шепчешь вслед за Фоггом, слово в слово, в мужском роде.

И только вещь одна известна нам двоим, что сделала ты с сердцем моим.

Геля глядит на нас, Ига, та Геля, на чьих коленях я лежу, Геля глядит и думает, а что она может думать, мы же просто танцуем, мое бедро обернуто шелком твоего платья.

Затем я проводил тебя к столу, и мы разговаривали, попивая вермут, а когда Геля пошла наверх посмотреть Юрчика, ты



прошептала, что с Яцеком никогда не было так, как со мной, на том одеяле.

Это было очень красивой ложью и доставило мне огромное удовольствие, а потом ты лизнула мое ухо. А я увидел Яцека, который меня не видел, и я сбежал, сбежал к Геле, бросил белую куртку на стул и лег спать подле жены, очень собой гордясь.

Поэтому теперь я молчу, лежу на коленях у Гелены, с абсурдом белого пиджака в шкафу. Думаю о том, что сейчас делает Яцек, единственный мой друг, самый дорогой для меня человек кроме Гели.

— А что у Яцека? — спрашивает Геля. Значит, думает о том же.

— Не знаю.

— Ты его когда видел?

— В среду.

— В больнице?

— В больнице.

— За морфием ходил.

— Да.

Она ведь и так уже знает, она меня видела тогда, три дня назад, видела, смысла нет отпираться.

— И он тебе дал, так?

— Дал.

Молчит, и я молчу.

— Позвони ему. Телефон уже работает. Скажи ему... Скажи, что найдешь Игу.

— Я уже в порядке, Геля. Больше не принимаю наркотики. Больше не пью. Займусь конспирацией, пусть меня убьют, пусть жизнь моя хоть кому-то, чему-то послужит, пусть хоть на что-то я сгожусь.

Не вижу, но слышу и ощущаю: она улыбается, улыбается чутко, не знаю — то ли с сомнением, то ли с надеждой, то ли с радости, не знаю, не знаю.

— А Яцеку позвони. Номер тот же.

Я поднимаюсь с ее колен, направляюсь к аппарату, набираю номер, есть сигнал.

— Доктора Ростаньского, пожалуйста. Говорит Виллеман.

И о чем я его спрошу, что ему скажу?

— Слушаю.

— Это я, Константин.

— Нету у меня, не дам, точка. Не проси, не звони, не приходи, — отвечает твердо.

— А мне не нужно ничего, Яцек.

— Не заговаривай зубы.

— Не заговариваю. Я чист. Точка.

Мы молчим.

— А у тебя что? — спрашиваю чуть погодя.

— Умирают, один за другим.

Мы снова молчим.

— Есть что-нибудь об Иге?

— Пока нет, — тихо говорю я. — Но я ищу. И у меня есть человек, который ее найдет, у него связи в нашей и немецкой полиции. Он ее найдет.

— Спасибо, Костек.

— Пока не за что.

В потрескивающей трубке слышны голоса.

— Мне пора, зовут.

— Иди. До свидания, Яцек.

Телефонная трубка на рычаге, я дрожу в своей квартире, в доме из шоколада, Геля глядит на меня, Геля добрая, Геля дорогая, как не бывало той Гели, которую я ненавидел и боялся, вовсе не похожа она на своего евгеничного отца. Ничуть.

— И как он? — спрашивает.

— Никак. Работает. Раненые мрут.

Стойкий, стойкий Яцек, стойкий студент-медик, стойкий корпорант, стойкий с любым снарядам в руке и стойкий за операционным столом.

Еще он был стойким, когда я серьезно хотел его убить. Когда в середине тридцатых мы стояли с гладкоствольными пистолетами, и Яцек должен был стрелять первым, и он демонстративно выстрелил в воздух, а затем повернулся ко мне своей широкой грудью и улыбнулся мне просительно и прощающе, после чего закрыл глаза.

Ты серьезно хотел его убить, Костичек, я это хорошо помню, я стояла за тобой и поддерживала твою руку с пистолетом, и ты целился, чтобы его убить, и ты выстрелил, и ты промахнулся, Костичек. И ныне ты мнишь, что промазал нарочно, но это неправда. Ты промазал, так как пистолет был ни к черту, так как секунданты, по соглашению сторон, сбили прицелы, вы стрелялись на тридцати пяти шагах в манеже шевележеров, стволы без нарезки и мушек. Но ты целился ему в грудь, в грудь единственного человека, которого мог и можешь назвать другом, его лицо ты видел над черным песником ствола, его белую манишку — вы не хотели стреляться в мундирах, а ведь оба имели право как офицеры.

Но вам мерзили мундиры, обоим, и это отвращение к мундиру также связывало нас, да, все связывало нас, и только она, Ига, она нас разделила.

Ига вас разделила, Ига нас разделила.

Ты был я был уже влюблен в Гелю или ты уже тогда я был влюблен в Гелю? Как это было, ты не помнишь, Костичек, я не помню. Однако ты выстрелил. Я не хотел в него попасть и не попал, ведь не мог же я убить Яцека. Будь по-твоему, Костичек, помни, как помнится.

Ты любил Гелену, и видел, что Яцек и Ига становятся всё ближе друг другу, и все было в ажуре, пока ты не заметил, как они целуются. Они, собственно, конфиденциально целовались. Но тут ты понял, что Ига ускользает из твоих рук.

Не видишь этого, Костичек, но я вижу. Из тел любовников растут большие черные столпы того же вещества, что и пульсирующая

под кожей истории темная субстанция, и они сходятся, преломляются в готические арки, неразделимые дольше, нежели жизни этих любовников, тела их умирают, а столпы здравствуют, меж них проходят Черные боги, но ты ведь не знаешь ничего ни о столпах, ни о черных богах, Костичек, не твоего ума это дело, столпы и божества тебя не занимают. Но я их вижу, и я вижу столп из твоего тела и столпы из тел всех женщин, с которыми ты был, я вижу, как они образуют свод, а сверху на нем черный злой божок.

Заметив Яцека с Игой, ты не стал ничего делать, Костичек, помнишь?

Зачем мы тогда стрелялись, никак мне не удастся вспомнить. То есть я помню, само собой, что речь шла об Иге, но как, каким образом о ней, я тогда, в конце концов, был уже с Гелей, что мне Ига-то?

Не помнишь, Костичек, дурашка, ты забыл, потому что хотел забыть, выбросил из головы.

А было так: вы сидели в Земянской, пьяные. Казалось бы, дружба процветает меж вами и всяческий контакт. Вы даже обнимались друг с другом, выпивая очередную рюмку коньяка, залпом, как водку.

Ига и Геля тоже там были, обе, уже сдружившись, посматривали на вас “с горки”, из-за столика архитекторов, сидели с Журавским и прочими, а ты шепнул тогда, Костичек: “И как тебе на вкус мои объедки?”

О чем ты думал, говоря это в глаза Яцеку, что был влюблен в Игу, о чем ты думал, говоря это Яцеку, что был так участлив к тебе?

Не знаю, думал ли ты вообще о чем-либо. Ты шел тропой тигра, ты был драконом, нащупал его самое мягкое место. Потом небольшой скандальчик, про дуэль даже написали в “Курьере”, без фамилий, зато издевательским тоном, одна, мол, из множества дуэлей, в которых чаще всего страдает крыша, каковую дуэлянты дырявят с великим пристрастием, как будто это крыша бросает вызов, провоцирует картинку и стрижет купоны.

А потом вы помирились, легко помирились...

— Спи уже, Константин, — говорит Геля.

И я засыпаю. А потом просыпаюсь, вечером. Геля собрала ужин, скромный. Супа немного, хлеб. Юрчик получает мясо, ест и смотрит на своего папочку, на побежденного солдата, который не стрелял, он смотрит, на морфиниста смотрит, на жизнь мою смотрит, на рисунки мои неудавшиеся, шансы упущенные, на всю мою жизнь, отца моего мертвого, на мать мою Белую Орлицу, на всё он смотрит и не видит.

После ужина Геля уложила Юрчика спать, а я в одежде нашел шоколад с тех еще дней, тот, что я купил в Мировском Пассаже. Отнес его в комнату Юрчика.

— Спит уже.

— Я положу его на стол, утром он будет счастлив.

Геля взглянула на меня, и была любовь в этом взгляде. Мы легли в постель. Ее руки на моем теле, мои на ее на груди. Головы не отворачивала. Затем я приник к ней, а она плакала очень тихо.

Потом я уснул.

## Глава VI

Я смотрю на него, Константина Виллемана, смотрю на него сверху, смотрю, как он спит подле жены, в доме из шоколада, они спят рядом, недавняя любовь согревает их, они близки, ведь она все знает и все прощает, они спят, я смотрю на них и вижу, как темная материя, пульсирующая под тонкой кожей мира, выпускает свои щупальца. Те оплетают столпы, на которых стоит шоколадный дом, вскальзывают на лестничную клетку, лезут, завиваются выше, ищут его.

Могу ли я их победить?

Я черная богиня. Говорю языками людей и ангелов.

Позволяю щупальцу завиться по лестнице, даю ему проскользнуть под дверь, разрешаю войти в спальню Константина, вползти под одеяло, в доме холодно, но темная материя этого не знает, не ищет под одеялом тепла.

Позволить или остановить? Я черная богиня. Я позволяю.

Темная материя притрагивается к Константину. Звонит телефон.

Темная материя заликает Константина, разжимает ему губы, проталкивается меж зубов, вливается в пищевод и в трахею и глубже, заполняет легкие и желудок.

— Константин, телефон, — едва проснувшись, говорит его жена Гелена.

Встань, Константин, возьми трубку. Это звонит Инженер, это звонит твоя судьба и твоя жизнь, нужно ответить. Встань, Константин, встань.

Темное вещество змеится кишками Константина, размиллионивается в альвеолах, проникает в кровь, копится в заднем проходе, внутри ягодиц и внутри бедер, окутывает Константина изнутри и снаружи.

Звонит телефон.

— Константин, телефон, — говорит Геля.

Я открыл глаза. Открываю глаза. Открыл глаза.

— Возьми трубку, пожалуйста. Это должно быть что-то важное, — во тьме голос Гели предсказывает судьбу. Я встал, встаю, встал. Через холодную комнату к телефону.

— Алло, — шепнул я в трубку тусклым голосом, не включив света, я шел к телефону наощупь, стирая темноту с глаз.

— Говорит Тридцать Семь, — сказал голос Стефана Витковского, я безошибочно узнал его.

— Кто?

— Тридцать Семь, — повторил Витковский. Я бормотнул что-то в ответ.

— Прошу прийти сегодня в одиннадцать в Земянскую. Уже работает. В одиннадцать ровно.

— Сегодня? — рассеянно спросил я.

— Да-да.

Щелкнуло. Он повесил трубку. Я посмотрел на часы: четыре ночи. Боже.

Все вернулось ко мне, всё и ничего. Я пошел спать дальше, но более не засыпал, а начал приятельствовать с потолком, пока через пару часов, утром, Юрчик не прибежал к нам в постель, весь в шоколаде.

— Я кушал! — сказал он с гордостью.

Через полчаса все было так, как должно быть: мой единственный сын, первый и последний, моя жена, я сам, одеяла, его мордашка и засохшие крошки шоколада на ней. Подначивание, возня, щекотка.

Мое первое воспоминание. Мать не участвовала в наших играх, она расчесывала волосы, она чешет волосы перед туалетным столиком, чешет их щеткой очень мягкой из щетины, я обожаю ее трогать, хотя она и корит меня, заставляя за этим занятием. Мой отец в клетчатой пижаме — сейчас, двадцатилетним, я знаю это, тогда не знал, — и я на ложе супружеском моих родителей, мой отец щекочет меня, я кричу по-немецки: *Nein, Vati, hör auf, Vati, es reicht, kitzele mich nicht!*<sup>1</sup> — и оба смеемся, какой мог быть год? Война не цвела еще пышным цветом, но птицы уже пели и деревья зазеленели, значит, война уже дала ростки, но я не знал об этом ничего, да и мой отец, похоже, знал мало, а из того, что знал, вытекали лишь потеха и заточка тяжелой сабли, ее экспрессивный выгиб к потолку, из-за дверей смотрю на эту асимметричную дугу, мой отец упирает перо сабли в табурет, оселок мокро вжикает от середины клинка вниз, вниз, вниз, а затем отец разглядывает лезвие против окна.

А сейчас я, мой сын, первый и последний, и Геля, холодная квартира, шоколадные стены и тепло под одеялами, и на миг всё так, как должно быть, нет войны, нет потерянной жизни, жизни чужой милостью, нет никчемного подпоручика, что ни разу не выстрелил по врагу, зато убил человека и вырезал ему глаз перочинным ножом. Нету этого.

Итак, мы щекочем Юрчика и смеемся с Юрчиком, но я задаю себе вопрос: каким чудом мне это удастся? Какой силой, каким способом та самая рука, которая вырезала глаз Каэтана Тумановича, теперь смещает тонкую кожу на худых ребрах моего сына, и тот корчится от смеха, а Туманович корчился от боли, которой нет названия.

1. Нет, папа, перестань, папа, хватит, не щекочи меня! (*Нем.*)

Кто вырезал Каетану Тумановичу глаз, Костичек, это был ты или же кто-то другой, а, Костичек?

Потом завтрак, хлеб с маслом и кофе. Я смотрю на них, в который раз. На Гелю, на Юрчика. Я другой человек. Не такой.

А потом я выхожу, в Земянскую.

Ан нет, не в Земянскую однако же.

Я покинул дом из шоколада незадолго до десяти, хотел быть в Земянской пораньше, это четыре километра пешком. Я шел по Маршалковской, каменицы как стояли, так и стоят, кто-то латает тротуары, кто-то забивает окна глухой фанерой.

В непостижимом страхе, что Инженер, не дай Бог, заметит меня из окна, я миновал площадь Спасителя и шел дальше, ради Бога, в которого не верю, и ради всех богов, в которых, кстати, тоже не верю, я привык, привык к этой варшавской улице — новой, иной, улице “всё просрала”.

Две недели, и я привык. К тому, что я не увижу зеленых мундиров и круглых шапок шеволежеров, и тех красивых гнедых и белых кавалерийских коней в оркестре, мне даже вовсе не жаль этого, хотя серую форму фрицев и мотоциклы я ненавижу все-таки чуть сильнее, впрочем, улица ими не так чтобы пестрела.

И к остальному привык. Перемолотый город, перемолотые люди, чуть посеревшие, на досках и кирпичках записочки, слепые окна и “всё продадим и купим”, и зима в октябре, зима, которая никогда не закончится, и Bekanntmachungen на стенах.

Люди удивляют. Молодежь как пришибленная, для тех, кому под двадцать, мир рухнул. А прочие — старики пережили русских, немцев, одну маленькую революцию, одну войну, они пережили эндеков и социалистов, майский переворот и Пилсудского, кризис и всё такое, так что ж нам теперь немцы?.. При Безелере не было плохо, как-то выжили. Был порядок. И теперь выживем. Немцы kul'turnyj parot ведь, так слышал Константин, кто-то по-русски сказал.

Ну а то, что жидки боятся, то боятся они резонно, еще вздохнут жидки, жидовочки и жиденята по нашим студенческим молодчикам.

Я миновал Пруденшал, в своей американской фаллической гордости совершенно неуместный теперь, когда его строители просрала.

Не знаешь ты, Костичек, сколько еще суждено просирать вам, этот Пруденшал строившим, ты ведь его также строил, тонкую скорлупку цивилизованной польскости на жирной тупой туше холопьяго славянства. Знала туша, как вы ее презираете, и постыли вы ей этим презрением, тем более что знала, что презрения достойна. А в минусах вы, не та туша постылая, постылую тушу тешит, что войну с Германией вы просрала, ведь вам, панове, войнушка эта не пришей рукав. А более всех дивят те волоконца меж тушей и вами, к вам уже примкнувшие, но еще не вы, уже не они, назад пути нет, а для вас они быдло прежнее, будто по праздникам все еще подпихивают соломку в высокие сапоги, так куда же им, к немцу? Пойдут и к немцу, коли нужда, пошли бы и к сатане.

А на Мазовецкой, где я видал, как Тувим тащил Веняву из Земянской под крышу стеклянную Воробья, чтобы как можно больше людей их видело, на Мазовецкой, где гулять надлежало в компании именитых, на Мазовецкой, где поигрывал тросточкой денди Константин Виллеман, сателлит от искусства, какой-то магией межличностных отношений запущенный через Ярослава на орбиту избранных, к вящей зависти тех подлинных, в общем-то, художников и творцов, одаренных, в отличие от меня, тем или иным талантом, которых, однако, “на горку” не приглашали, меня же приглашали. Не всегда и не всякий раз, но приглашали.

Ну, я все же имел опелек с брезентовой крышей, и я был красивым и состоятельным молодым человеком из немецких графов Силезии, носил прекрасные костюмы, танцевал как черт, был я уланским подпоручиком запаса славного, хоть и провинциального полка, я играл в теннис, знал языки, и мне буквально впору был тот мир, в котором все они хотели видеть самих себя.

Постыл, стало быть, всем поэтам и поэтессам и мастерам и артистам второй лиги, второго сорта, не в той мере, как я, не существующим, тем, что есть, пишут, печатают там и здесь, от “Просто с Мосту” и до “Ведомостей”, хвалимы или поносимы, но есть, живут.

Но как они живут, убого, одно пальтецо, несвежие мешковатые пиджачки, шерсть вытерта на коленях и локтях до прозрачности, так они живут, и какие там могут быть авто! Какие там путешествия в Вену или Милан, а ежели вдруг в Париж, то мышкуют по каким-то комнатенкам с рабочей мошкаррой из Болгарии и Румынии, на отели, где ночую, ночевал я и мне подобные, даже не взглянут.

А те, которые не убого, как тот юный дружок Ивашкевича из Вильно, что любил коммунистов и чьего имени я не помню, тот, с квадратной челюстью, поэт на зарплате, усталый, опустошенный работой, чужавший, как дар утекает сквозь пальцы, натруженные ежемесячными рапортами и отчетами, этот, хоть и в хорошем костюме (но, конечно, без авто), он еще беднее других, пусть те порой сосут палец, а он не располагает собственным достоинством даже, и такие, как я, постылы ему еще больше.

Ты точно помнишь его имя, Костичек, точно помнишь, Ярослав его обожал, знаешь точно, только лукавишь, что забыл, лукавишь перед самим собой, на что тебе этот театр?

Я знаю точно, на что. Он был поэтом, а ты был человеком с ежемесячным доходом, родословной и машиной.

Он был и будет поэтом, а ты, Костичек, где твой дом и машина?

Оттого они презирали меня, Яцека, наших жен, костюмы и автомобили, презирали тех, чьего внимания сами искали, злились на Ярослава за то, что он открыл нам дорогу к кружку в Земянской, а еще позже, еще чаще, в ИПИ или ИИМе на Крулевской. Нам даже не приходилось оплачивать их внимание, не приходилось ставить обеды, они не жаждали напрямую наших денег, не хотели моих чек-ков или ренты Яцека, они хотели общения с нами.

И вот я пришел сюда, в Земянскую, ан нет, не в Земянскую я пришел. Ни одного знакомого лица. За столиком “на горке” сидит некий оборванец и прихлебывает суп, вещь немыслимая не только перед войной, но даже и перед капитуляцией немыслимая — чтобы официант не выгнал случайного гостя из-за столика под покрашенной на стене чашкой. А этот даже не на варшавянина, а на заезжего беженца похож. Осыпaeмый яростными, возмущенными взглядами, но что это по сравнению с тем, что пару недель с лишком назад самый рослый из официантов спустил бы нахала с лестницы, а после вообще выкинул бы из кафе, предварительно дав ему пинка.

Я сел за пустой столик.

— Почтение вельможному пану, — сказал официант, кланяясь в пояс, словно я был по меньшей мере Радзивиллом. — Наконец-то знакомое и шляхетное лицо, вельможный пан.

Я поклонился с полной пиетета признательностью.

— Кофе есть?

— Скверный, но есть.

— Водка?

Он кивнул.

— Тогда маленький черный и одну дальнего следования.

— Уже бегу.

Я потянулся за газетой, висевшей у стены в деревянном держателе. Новый “Курьер варшавский”, номер пять. Уже пятый! Четыре я пропустил. Просматриваю, перекидываю скромные страницы, пара статей, карта, десятки объявлений, любые новости о судьбе сына от коллег курсанта Касперского Игнация важны родителям, номер дома улица телефон.

И ничего.

Лишь на обратной стороне шапка: “Ужасное убийство на улице Лешно!” Налетчик еврейского происхождения убивает львовянина Тумановича, предварительно ослепив его ножом, вероятнее всего затем, чтобы последний выдал, где хранит деньги.

Почему еврейского?..

Думай, Костичек, думай. Не могли счесть тебя за поляка, ты говорил по-немецки. Ну?..

Не могли счесть меня за поляка, я говорил по-немецки. Не могли написать, что немец или немецкого происхождения. А раз не немец, не поляк, а говорил по-немецки, то еврей. Ведь не швейцарец же.

И ладно. Все равно пишут одно, а ищут немца. Наверняка. Как бы то ни было, где им найти, в таком хаосе. Не ищут. Бояться нечего.

Бояться нечего. Только боюсь, как холеры, почему боюсь, почему. Бояться нечего. А все-таки.

Я посидел так немного, с удивительным ощущением пребывания в нигде, в мире, которого нет, в великом “между”.

Выпил водку, запил плохим кофе. Встал, чтобы повесить газету на место. Заново оглядел кафе. Невежда, позоривший своим супом столик “на горке”, исчез. Стол, помнящий локти Венявы и Тувима,



стоял пустым, я за него не сяду. За другими столиками внизу уже сидели другие гости, на них официант посматривал чуть более приветливо: одеты странно, туристическая пошла мода, я еще раньше на улице заметил, но приписал тому, что каждый одевается как может, лишь бы теплее. Но здесь, вижу, выбор гардероба положительно осмыслен. Горные ботинки с подковками. Лыжные шапки, анораки. Брюки-гольф и носки в клетку, даже рюкзаков штуки две свисали со стульев.

Я оперся о стойку, спросил еще одну дальнего следования. Официант быстро налил и так же быстро заметил, что я не возвращаюсь к столу, но чего-то от него желаю.

— Пан старший, — спросил я. — А чего они так все одеты, будто собрались в Татры на экскурсию?

Тот пожал плечами.

— Такая мода, оккупационная. Вроде как чуть что, так в Венгрию. Смотри, пан, тот вон даже шарфа не снимает. Того и гляди начнут мне здесь лыжи у стенки ставить.

— А не боятся, что пойдут аресты?..

— Ну, сдастся мне, нет. К тому же немцы сюда не ходят. За немцами, по всему судя, Адрия будет зарезервирована, как откроется. А может, уже открылась, не знаю.

— Да неужели? — я вежливо удивился и постоял еще у стойки некоторое время, затем вернулся к столику, и в тот самый миг, как я сел, отворилась дверь и вошел Витковский. Кожаная куртка, бриджи с офицерскими сапогами, кепи, английский шерстяной галстук в горошек. Обращал на себя внимание даже на фоне туристов за столиками.

При этом уже с самого начала вел себя престранно: он встал в дверях и оглядывал зал проницательным, испытующим взглядом, как бы ощупывая всех глазами. Задержался на мгновение в оценивающей позе, очень недвусмысленным жестом держа правую руку в кармане кожаной куртки, рука не свободна, напряжена, локоть отставлен, явно означая: в кармане пистолет! Может, и лежал, может, даже мой браунинг, но думаю, это скорее была игра.

И внезапно, так же внезапно, как вошел — расслабился. Круглое лицо расплылось в улыбке, он снял жокейку, прозвучало громовое “здравствуй!”, предполагаемое оружие сладко спало в кармане, не родилось еще, а может, помстилось.

Я не ответил, все еще изумленный театральным поведением Инженера. Я смотрел на лица прочих гостей заведения, которое теперь лишь называлось Земянской: те были на седьмом небе! Ну как же красиво сочетались с их нарядами туристов — патриотичными, ведь вот в чем штука! — это комедиантство, ковбойские жесты, эти бриджи и высокие сапоги.

Между тем Витковский уже возле моего столика.

— Здравствуйте, — повторил он. — Хорошо, что пан уже здесь.

Сел, официант без вопросов подал ему кофе и — интересное дело! — коньяк.

— Моему спутнику то же самое, — распорядился он, как если бы я был изголодавшей паненкой, каковую ведут в кондитерскую, шпигуют пирожными, а после имают в грязных номерах с почасовой оплатой, пока девица еще помнит сладкий вкус миндальных macarons с начинкой от Хербачевского.

— У меня документы для пана.

Как из шляпы факира, на столе возникло довоенное удостоверение личности.

— На фамилию Махуры. Махура Ян. Проживает в Варшаве, безработный. Прошу взглянуть.

Я взглянул. Официант принес мне коньяк и маленький черный.

— Откуда у пана моя фотография? — удивился я. Он махнул рукой.

— Прошу отдать, — сказал он. Я передал документ, а Инженер, к моему удивлению, спрятал его обратно в карман кожанки. Я понюхал коньяк. Хороший, Martell, наверное.

— “Мартель”? — вежливо поинтересовался я.

Инженер посмотрел на меня, не выказав уважения. Так что я решил вернуться к теме документов.

— Но мне, видимо, пригодились бы эти бумаги, правда? — спросил я довольно робко.

— Видимо, да. Но не сейчас. У меня для пана вариант получше, гораздо лучше. А именно, пойдет пан на улицу Фредро, шесть, каменица Вавельберга. Знает пан, где это?

Третье лицо, не второе. Значит, уважения не потерял. Он меня уважает. Уважает.

— Знаю. Западный Банк.

— Именно. Великолепно. Там есть Немецкий Клуб, пан туда пойдет и объявит себя немцем. Пан даже вернется к имени отца своего, отчего бы нет. Константин Штрахвиц фон Грос-Цаухе унд Каминец.

Я замер за столиком, с бокалом на полпути от столешницы ко рту. Аромат коньяка сверлил ноздри, а у меня слова застревали в горле, суть того, что сказал Инженер — и что, собственно, это было: просьба, совет, приказ?.. — суть того, что он сказал, не успевая дойти до мыслительных центров моего смятенного разума, уже успела парализовать его.

Костичек, Костичек, зачем бы ты стал это делать?

— Вторую, фальшивую личность пан также будет иметь в своем распоряжении, она может понадобиться. Но больше всего пан нужен организации в качестве немца. И, кстати, пан должен принести присягу.

— Но, Инженер, я не хочу быть немцем! Я поляк! — заныл я жалобно. — Дорого мне стоила эта польскость, я боролся за эту польскость, не могу сейчас сделаться немцем, еще и под своим именем!..

Витковский тепло улыбнулся.

— Ну, должно быть под настоящей фамилией. Пан станет нашими глазами у них, а также и нашей связью, пан станет, пожалуй,

наиважнейшим звеном в нашей организации, необходимейшим. Пан нужен нам не как немец какой-нибудь там, но как Штрахвиц.

— Я Виллеман! — кричу. Озираю зал, напуганный своим криком. Взгляд официанта пытлив. Витковский все время тепло улыбается, как будто то, чему суждено быть, давно уже решено, и теперь остается лишь переждать мои капризы и жалобы.

— Но уже нынче пан сделается Штрахвицем. И, пожалуйста, не надо думать, что мы пустим какие-то слухи. То, что пан будет нашим агентом, остается строжайшим секретом, пану же придется смиренно сносить всяческие социальные оскорбления.

— Моя жена этого не вынесет.

Витковский было заколебался, по его круглому лицу последовательно пробежали противоречивые гримасы, холод и равнодушие сначала, и внезапно, сразу — сердечность и готовность уступить. Он широко развел руками:

— Жене пан может открыться, — улыбнулся. — Сделаем такое исключение. Я знаю панского тестя, женщине из этой семьи можно доверять.

— Инженер, она же не поверит.

— Тогда я скажу ей сам. Не сомневаюсь, что она сумеет хранить тайну. Только вот что, пан, нам тут нужно будет разыграть комедию.

Я вздрогнул.

— Да. Видит пан, тому, что станет пан рейхсдойче, всякий поверит легко, с панской родословной... — произнес он легко, без задней вроде мысли, я, однако, видел, чувствовал, как он за мной наблюдает, интересна ему моя реакция на эти слова, и он, вероятно, получил то, чего искал, ибо вздрогнул я показательно. Улыбнувшись, он продолжил:

— Да, в это поверит всякий. Но жена пана не назовется ведь немкой. А раз не может назваться немкой, то и оставаться с паном в качестве польки не сможет. Придется вам расстаться. Разумеется, на показ. Время от времени будут даже возможны тайные встречи.

Я был уж не в состоянии ответить. Да и как?

Спорь, Костичек, за свое воюй, за достоинство свое, себя самого, принадлежность свою, с таким трудом построенную, отвоеванную. Пробуй, мальчик милый, пробуй.

— Но я же только воевал с ними, — заспорил я, едва почувствовал необходимость в этом.

— Ну, ведь ты, пан, не стрелял, правда? Мы недавно говорили об этом, — сказал он, ни на секунду не прекращая улыбаться, улыбкой акулы.

Я задыхаюсь, задыхается. А он вновь обращается ко мне во втором лице.

Костичек, забавный мячик из мяса и кожи, бедная маленькая игрушка моя, игрушка темной материи, мерцанья под скорлупой мира, Костичек, мои любимый, единственный...

Витковский ткнул меня в плечо.

— Шутка же, пан мой милый. Воевал с ними пан, а они будут уважать пана за это. Ты слыхал, пан, о Гудериане?

Ну, слыхал, слыхал. Генерал. Я, стало быть, кивнул.

— Ну вот, а некие его немецкие кузены из Хелмно тоже воевали как наши офицеры, и воевали, похоже, неплохо, а теперь полагают себя освобожденными от присяги, ибо, вообразит себе пан, полагают, что Польша больше нет, вот и присяга не действует...

— Ну, ведь нет же, — перебил его я. — Так что, может, и в самом деле не действует.

Инженер засмеялся чрезвычайно громко, хлопая себя по ляжкам.

— Хорошо, хорошо!.. Так, пан, им скажешь, ежели спросят. Очень хорошо!

Он неожиданно стал серьезен, а я вдруг понял, что Витковскому просто нравится актерство, эти внезапные перепады настроения.

Ты ничего не понимаешь, Костичек, ничего не знаешь, ты не умеешь читать людей, которых встречаешь, ибо ты слеп, ибо ты не понимаешь человечества.

— Но, правду сказать, знает пан: Польша, она здесь! — Инженер треснул себя в грудь широкою, аж гукнуло. — И у пана также. Я знаю.

Он встал.

— Когда пан явится к ним и встанет на учет, прошу пана звонить мне, мы приведем пана к присяге и пан получит дальнейшие инструкции. Ну, пока.

Он похлопал меня по плечу. Я встал, все еще выбит из колеи.

— Матери я должен сказать правду.

Он улыбался широко, снова, снова, снова, радостный, как жовиальный хозяин дома в легком водевиле.

— Не будет нужды, увидишь, пан. Ну, мне пора. Родина ждет. Приветы!

Я ответил каким-то невнятным бормотанием, в новом коммуникативном этикете этом я снова не находил того, что должен говорить, ни в дружбу, ни в службу: “Слушаюсь, Инженер”? “Во славу родины”?

Ты просто не должен принимать эти инструкции к сведению, Костичек. Но коли уж принял, то совершенно неважно, как ты сейчасотреагируешь, милый мой.

— А, забыл, надо же, — Витковский вернулся с полпути. — Это для пана.

На стол лег маленький, но толстый квадрат бумаги, бумажный лист, многократно сложенный. И вышел, исчез, а был ли? Станный взгляд официанта доказывал, что был.

Я расправил оригами. Польский текст, писанный зелеными чернилами, гласил: “Ига Ростаньская, арестованная под Радзымином первого октября сего года, в данный момент находится в предварительном заключении по ул. Шуха, 25, может быть переведена в тюрьму на улице Раздельной, 24/26”.

Первая мысль: что она делала первого октября под Радзымином? Зачем убегала из Варшавы вместо того, чтобы быть под боком у Яцека?

Вторая мысль: позвонить Яцеку, в больницу, ведь это значит, что Ига жива, жива! Рассказать ему обо всем, но что с фотографиями от Саломеи?..

Третья мысль: один день, он узнал за один день. Это не какая-то липовая, кухонная компашка, в которой, может, кто и готов к действию, но ни возможности, ни средств для этого не имеет. Витковский имеет. Так не стоит посотрудничать с ним в этом деле? Даже ценой признания немецкой принадлежности, вот высшая жертва для отчизны, ради нее не жизнь отдавать, это любому солдату по плечу, но предавать самого себя, свое имя и честь, принять не только пули, но, значительно горше, гордо принять брань и плевки, что полетят в меня неизбежно.

Стоп, готов ли я к этому?

Разве лишь в свете моей великой славы, когда одержим победу? Когда спадут маски и широкая публика услышит из достойных и надежных уст, что Константин Виллеман, мол, никогда не предавал своей отчизны, а лишь выполнял задание, отчизной этой на него, на его плечи возложенное.

Так не затем лишь.

Да, Костичек, не бойся думать об этом, ведь, принимая это задание, ты проявляешь героизм, не стесняйся думать об этом героизме, пусть эта мысль движит тобой, потому как что еще может тобою движить? Да, Костюшик, мой любимый, мой единственный.

Значит, не затем лишь. Даже когда бы пришлось умереть немцем, лишиться жизни и, лишившись ее, никогда не вернуть себе польского имени, разве не пошел бы я на это за милую душу?

Пойдешь, Костичек, это просто ставки в твоей голове, так ты воспитан, отец, мать, без разницы, лишь бы ты готов был к жертвам подобного рода, лишь бы не их боялся, ведь жертвы эти метафизические, не требующие общественного одобрения, довольно и того, что пресуществляются в тебе, касаются твоего интимного отношения к этому загадочному, дивному диву, каковым является родина.

Отчизна.

Допиваю коньяк и после двух дальнего следования и этого бокала ощущаю легкий рауш.

А из этого рауша родится мысль, нет, не мысль — всего лишь тень мысли, как укол крошечной иглы, где-то очень глубоко.

Бутылочка, полная счастья и радужной радости и забвения и тела моей сладкой Саломеи, как белая мягкая кожа и складки и вкус и жар ее женственности и кракелюры на стукко ее груди...

Нет-нет-нет, я топчу это чувство. Я больше не тот Константин. Куда-то завела меня жизнь Константина, морфиниста и блядуна, что в силу неотвратимости я выколол глаз человеку, а затем хладно-

кровно его прикончил, хотя до этого он даровал мне жизнь. Нет, хватит. Никаких наркотиков, никаких любовниц.

Сейчас ценится только Польша.

Заказываю в баре еще один коньяк, выпиваю одним глотком, к черту манеры. Хочу заплатить — официант не позволяет.

— Отчего так, пан старший?

Официант улыбается участливо и как бы по-свойски.

— Панове пьют здесь бесплатно, — говорит он, словно ему все ясно-понятно. С этим не поспоришь, так что же мне теперь? Я вспоминаю про Яцека.

— Могу я от вас позвонить?.. — спрашиваю.

Официант вежливо склонился и достал из-под стойки аппарат черного бакелита на длинном проводе. Сигнал был. Я набрал номер больницы и спросил доктора Ростаньского.

— Нет его, — откликнулся грустный голос санитарок, чем-то напомнивший мне ту усталую и задастую паненку, в связи с томлением коей в услужении больным я скорбел, когда в последний раз навещал Яцека.

— Пошел домой, спать, отдохнуть, семьдесят два часа был на ногах, — добавила она, словно была уполномочена сообщать все подробности жизни доктора Ростаньского. — Он ушел и нет его, совсем.

Я поблагодарил, положил трубку. Так куда же мне?

Выпил бы еще, но не выпиваю. Домой? Рассказать, спросить Гелю, что она об этом думает? К матери?

Но нет. Я в долгу перед Яцеком. За Игу в долгу перед ним я.

Несет меня в квартиру Яцека, ноги сами несут, но я ли это иду по улицам, я ли это шагаю, мои ли ботинки измараны в грязи, я ли это иду? Что меня к нему гонит?

Квартира у Яцека большая, лекарская, в каменице на Волчьей, Вильчей, я бегу по Маршалковской, иду — не иду, в квартире он или нет, не знаю, но иду, несет меня вера в то, что возможно усилием воли изменить свою жизнь. Того себя я оставил в жилище Саломеи или в каменице на улице Лешно, возле трупы Каетана Тумановича оставил, прежнего меня нет.

Есть другой я: готовый всем пожертвовать, есть я, который помог другу, отвергший искушения кейфа, я достойный, храбрый, я польский офицер, я поляк, я человек, я мужчина, я есть, я есть, я есть, лестница, я несом этой лестницей вверх и дальше к двери Яцека, на двери записочка в рамочке, довоенная, доктор мед. наук Яцек Ростаньский, так что звоню, электричества нет, звонок молчит, так что стучу, Яцек, Яцек, Яцек, друг ты мой единственный, будь дома.

Я стучу.

— Яцек, открой, это я! — кричу в слепую дверь. И он открывает наконец, дома он, дома, мой Гиацинт.

Стоит в дверях в полосатой пижаме, в глазах ни искры сознания, волосы спутаны, и я стою, порога не переступив, отсюда чувствую,

как несвеже он дышит. Надевает очки, проволочные заушники не хотят подогнуться, но надел-таки.

— Костек, — говорит он тихо, больше ни слова, никаких “добрых дней”, никаких “морфия не дам, нету”, никаких “иди прочь”.

Впускает меня в квартиру, квартира огромная и красивая, ужасный бардак и грязь. Нет Иги, нет горничной, да и Яцек не было, кто так набардачил, не знаю.

Прохожу в гостиную, Яцек плетется за мной, как будто это я здесь хозяин. Сажусь в кресло, не дожидаясь приглашения, чего ждать.

— Нету морфия, — выдавливая он в конце концов голосом мертвым, как мертвы эти сухие цветы в комнате, довоенные цветы, цветы, посаженные рукой Иги, а, значит, вроде бы и моей, раз это ее рука.

— Я не хочу морфия, говорил же.

— А чего хочешь? — это не лед в голосе, это вопрос изработавшегося, измученного человека.

— Я знаю, где Ига.

Яцек покачнулся, затрясся, зашатался, оперся о стену и по стене скользнул на пол, что твой плевок.

— Жива?..

— Жива. Арестована. По адресу Шука, двадцать пять, там полиция сейчас немецкая. Или ее могли переместить в “Сербию”.

— Но за что арестована, Ига моя, за что? — застонал он сквозь слезы, слезы, сил на которые не имел, усталый, изнуренный, пустой.

— Не знаю, за что, Яцек. Теперь слушай. Я вытащу ее.

Он не слушал, плакал, даже спина его стекла по стене, теперь он лежал на грязном паркете и плакал, большой ребенок со степенью доктора медицины.

А я начал говорить, обо всем. Никаких тайн. О Витковском, организации и о том, что для пользы организации я стану немцем.

То есть не обо всем. Я ведь не мог рассказать ему о том, как убивал Тумановича, я бы никому не мог рассказать об этом, я бы даже себе самому не признался в этом. В конце концов, я об этом уже почти забыл.

И ты об этом забудешь совсем, Костичек. Забудешь, выбросишь из головы, станет твой Туманович являться тебе во снах, но лишь в таких, что не просачиваются напрямую в сознание, но их соки просачиваются, накапывают и отравляют, и будут отравлять тебя. Точно так же, как отравляют тебя воспоминания о прошлом, Костичек. Ты не помнишь, но я помню, я была тогда с тобой, всегда была с тобой.

Ты не помнишь, забыл, как донес на товарища, увлеченного другими товарищами, ты не помнишь, как вел дворника за руку, плотное фиолетовое сукно, рукав, пуговицы из латуни, ты вел его на чердак школы, а там мальчишки голые стояли и целовались, а дворник, возмущенный по-мещански искренне, повел их, голых, за ухо,

руки стыдливо прикрывают причиндалы, поросшие юным волосом, берегут их, как бы пытаясь оберечь жизнь, которая трещит по швам, дворник большой, с усами, отвел их в кабинет директора и озаботился, лично озаботился тем, чтобы эту содомию не удалось замять. За это он лишился работы, директор хотел уладить дело мирным путем, он был человеком бывалым и знал, что такая любовь не редкость в среде интеллигенции. Но дворник ненавидел мальчиков из семей интеллигентов, он ненавидел их с каждым днем все больше, ибо каждый день наблюдал, как жизнь его люмпен-пролетарских сыновей катит теми же колеями, что и его жизнь, и он даже обратился в прессу, зная, что за такую нелояльность его лишат места, и лишили, но дело замять не удалось, и мальчиков исключили из гимназии и заклеямили, благодаря тебе, Костичек, ты этого не помнишь, но то твоё прикосновение, Костичек, прикосновение к рукаву дворника, твои слова толкнули их под откос наклонной плоскости.

Ты помнишь зато, как они издевались над тобой, по сю пору ненавидя их за то, как они высмеивали твой акцент, как били тебя в темных пещерах школьных коридоров, как плевали тебе на голову из окна, оба сильнее, старше и без понятия, на что ты способен, без понятия о твоём терпении и твоей ненависти, Костичек. И они так и не узнали, что это ты разрушил их жизни, что именно благодаря тебе их, голых, к директору и в криминальные хроники доставил школьными коридорами дворник, позже более чем охотно общавшийся с журналистами, не узнали, ибо тебя не интересовало их узвание, не в том состояла твоя месть.

Твоя месть не должна была тогда противопоставить тебя им, ты не искал личного торжества, ты попросту хотел разбить их маленькие гнусные жизни, ты попросту хотел причинить им вред, а я тебе в этом помогла, я провела тебя их путями и по их стопам, пока ты не выследил их, пока не нашел место их любовных свиданий и не увидел, что они действительно любили друг друга, что любили не одни лишь свои молодые тела, но и друг друга, по-настоящему, так, как любят в пятнадцать лет, любят вопреки всем и вся.

Потом ты их встречал, один вращался где-то в низах артистических сфер, что-то там даже публиковал в “Просто с Мосту”, другой исчез с горизонта, кажется, уехал в Берлин, это всё, что ты знал о нем. И даже сидя за одним столом с тем, кто в Берлин не уезжал, ты не думал о своей мести, ты позабыл, совсем позабыл, а он не думал о том, как тебя мучил, поскольку ты сломал его, поскольку тем своим доносом ты отнял у него всю силу самца. Когда его вели голым, мужская сила терялась с каждым брошенным на него взглядом, даже если взгляды эти не были ехидными, а большей частью не были, большей частью на него смотрели с сочувствием, ведь благодаря его известной любви к мучениям слабейших он был мальчиком в школе популярным.



А тот, что уехал в Берлин, ты точно этого не знаешь, Костичек, стал любовником некоего штурмфюрера СА, чудом избежал смерти во время “ночи длинных ножей” затем лишь, чтобы попасть в Дахау и умереть там. От тифа.

Но ты об этом не думал, Костичек, и даже знай ты точно, не подумал бы, поскольку не себя ты хотел насытить той мезью, Костичек, не себя.

Итак, я рассказал Яцеку об Инженере, о том, как я должен стать немцем и почему я должен стать немцем, и о том, что как немец я определенно смогу выгнать Игу, немцем я ведь буду не абы каким, так что определенно смогу, не переживай, Яцек, не бойся, не переживай.

И он плачет, плачет, потом на мгновение засыпает, потом просыпается, уже как бы в себе.

И я думаю, спросить ли его о фото, которые я видел у Саломеи, Яцек о Саломее знает, значит, растолковать всё не будет архисложно, но нужно ли ему это знание?

Нет, не нужно, пока нет, дай-ка я сначала выгнать ее из этой тюрьмы, не знаю как, но дай я ее как-нибудь выгнать, потом спрошу об этом Игу, потолкую с ней об этом, найду в ее толковании след давней близости, не буду ни судящим, ни рядящим, но понимающим и участливым, Ига найдет во мне всепрощающего наперсника.

Итак, я говорю Яцеку, что Витковский хочет, чтобы я стал рейхсдойче. Что это для Польши. Что организация требует. И так далее. Но Яцек не слушает.

— Выгнатишь ее? — спрашивает он не переставая. — Выгнатишь?

Поэтому я его успокоил, убаюкал, как убаюкивают ребенка. И ушел.

Домой, к Геле, к Юрчику. Иду, но словно бы и не шел, потому что город нес меня, словно я отсутствовал в собственной голове, город полумертв, однако живет, Варшава.

Эй, шоколадный дом мой, кто я такой, когда поднимаюсь твоими лестницами, стучу в дверь, Геля и сын мой, так кто я?

А после, в ночи, мы разговариваем.

Я помню, хорошо помню, кто для меня эта дивная женщина, которую я полюбил по-настоящему, а потом об этой любви забыл, ибо возникли другие тела, а затем возникла Саломея со своим белым телом курвы, телом, которое мне уже не выбросить из головы, с его мягкостью и избытком, но ведь не была для меня Саломея и каплей того, чем является для меня Геля.

А я на всех парах мысленно обвиняю и осуждаю ее, как если бы я ее ненавидел, а я ведь люблю. Виню ее в том, что она дочь своего отца, а ведь она его дочь в той же мере, в какой каждый является ребенком своих родителей.

И любит она меня сильнее, чем Польшу.

Она любит тебя больше, чем Польшу, Костичек? Не знаю.

Я говорю, что стану рейхсдойче и что нам придется расстаться, что ей придется отречься от меня. Чтобы легенда выглядела прав-

доподобной. Не исключая, что захотят отобрать у нее Юрчика, но я постараюсь это предотвратить.

— Мы скажем, что Юрчик не твой сын, — советует Геля. — Только плод романа с каким-нибудь поляком.

Я сглатываю, очень громко сглатываю эти слова.

Она же, любимая она, она все видит и понимает. Юрчик уже спит, а Геля, любимая Геля, обнимает меня, ведет в постель, и ведь знаю я, что ей известны мои измены, но ей известно также, что я ее по правде люблю, поэтому она говорит сладчайшие слова, шепчет их мне на ухо, один кубик сахара за другим, мы станем видаться тайно, после войны все узнают правду и я стану героем, она никогда даже не взглянет на другого, ей тоже больно, болит, как рана от стилета в самое сердце, но она понимает, что так нужно, что война, да и логично, с моим-то немецким языком и происхождением я тем самым смогу послужить Польше как можно лучше, больше, расстегивает мне сорочку, нужно принести эту жертву, будто я с ней незнаком, целует мою шею, ни один мужчина ее не тронет, станем видаться, Костичек, а как с Юрчиком, Юрчику мы немного солжем, папуле уехать пришлось, а если дети скажут ему во дворе, что папуля теперь фриц, я не пушу его на двор, Костичек, она целует мой живот так, как никогда не целовала, ласкает мое тело, как никогда не ласкала, ласкает меня так, как если бы она была мужчиной, а я был бы женщиной, которую нужно раззадорить, но ты сможешь видать его, когда он спит, Костичек, укрывать его на ночь, а потом, после войны, мы ему всё расскажем и у него будет отец герой, расстегивает мне брюки, стягивает их нежно, стягивает нижнее белье, интересно, поцелует ли она меня так, как одна Саломея меня целовала, берет меня в руку и ее взгляд находит мои глаза, захоти я сейчас, то поцеловала бы, но я не хочу, я хочу, чтобы ее губы остались чистыми, поэтому я притягиваю ее к себе, вверх, она целует меня в губы, я бы любила тебя, Костичек, даже если бы ты вправду стал немцем, потому что в тебе весь мой мир, я бы не могла не любить тебя, вне тебя я не существую, Константин.

Я наг, она одета. Отрываясь от меня, она обнажается так, как никогда передо мной не обнажалась, она не снимает одежду, как снимала на приеме у врача, и не раздевается стыдливо, чтобы тотчас скользнуть под одеяло, никогда не стеснялась ни моих эротичных касаний, ни моего неэротического взгляда, но ей не нравилось, когда я смотрел на нее сквозь призму эротической ситуации, а теперь она предлагает именно это, ее груди, живот, светлые волосы между ног, и когда стягивает платье, то еще золотая, едва заметная дымка светлых волос под мышками, упираясь руками в мою грудь, садится на меня, и мы любим друг друга так, как никогда раньше, рот Гели открыт, глаза закрыты.

— А теперь иди туда, — говорит потом, когда мы уже лежим, накрытые одеялом.

— Мы никогда не занимались любовью так часто, — откликнулся я. — Ведь прошлой ночью и теперь снова.

— Я никогда не любила тебя так сильно, как сейчас, Константин. Оттого. А теперь иди, возьми бумаги, они в кабинете, в нижнем ящике стола, возьми бумаги и уходи.

Я целую ее, ее язык вползает мне в рот, как агент желания, и, может, я бы хотел, может, я был бы готов слиться с ней еще раз, но Гелла отталкивает меня деликатно, со смехом, целует, но отталкивает.

— Иди, иди, нечего ждать, иди, Константин.

Поэтому я набил портфель бумагами, школьные аттестаты, армейские документы, всё, оделся и пошел, и думал о том, что в последний раз прохожу улицами Варшавы как официальный поляк, но и так отчего-то не с кем мне было раскланяться, поэтому зашел на кофе к Ларделли, сел под пальмой и выпил маленький черный, но даже там я не встретил ни одного знакомого, поэтому, выпив, двинулся дальше.

Что ты ищешь, Костичек, чего ты ищешь в городе, в костюмчике своем твидовом, с рожей, набитой тем, кого ты убил?

А, может, мне себя самой спросить должно, почему я все еще с тобой, почему я за тобой поспешаю, отчего не бросаю тебя?

Могла бы я бросить тебя, Костичек? Не могла бы.

На Маршалковской я вскочил в телегу, запряженную позорным одром, свободны были лишь стоячие места, жесткие лавки по бокам телеги все заняты. Я мог бы, конечно, убедить деревенскую бабу, что мое тело больше заслуживает сидения на лавке, чем ее корзина с яйцами, но настрой на спор с крестьянством отсутствовал, так что я молчал и неловко вихлялся, когда телега скакала на выбоинах.

Я вспомнил, с чем у меня ассоциируется поездка стоймя на телеге: с ксилографиями времен французской революции, изображавшими транспортировку на эшафот.

Я слез в конце маршрута, пересек Саксонский сад, чуть всплакнул над пепелищем Летнего театра, сколько славных воспоминаний связано с ним, сколько женщин! Вышел на улицу Фредро и встал перед банком еврея Вавельберга, который, говорят, участвовал в Январском восстании. А в домище этом — Немецкий Клуб.

Вхожу. Понятия не имею, куда податься, но, стоило мне открыть дверь, как я уже знал.

Коридор был забит. Забит кандидатами в немцы, к гадалке не ходи. Общество было зверски пестрым, весь социальный спектр, оно зверски толклось у дверей, с которых еще не была снята двуязычная надпись.

Дверь распахнулась, и группа личностей разного пола и типа немедленно ввалилась через нее в представительство клуба.

Встав у стены, я решил вооружиться железным, несокрушимым терпением и ждать, сколько придется.

Польша этого от меня требует, Польша этого от меня желает.

Я смотрел на толкотню с презрением: вот предатели, конформисты, жалкие твари, в чьих жилах чаще всего не течет ни капли

немецкой крови, а привело их сюда то, что ведет к любому, у кого сила. Подлость. Зоопарк. Подонство подлинное и подонство мещанское, интеллигентское, в костюмах, а все ж таки подонство.

Дверь снова распахнулась, и из нее вышел гневный джентльмен, выкрикивая на весьма угловатом немецком, что знает кого-то из окружения самого Гимmlера и намерен ему жаловаться, потому как то, что здесь делается, воистину позорно!

Последнее заявление сделав на польском.

За ним враз увидел я свою мать. Вздрогнул.

Как же она изменилась! Индейский вождь, Белая Орлица, уже не сидела в кресле, укрытая завесой седых волос, волосы были туго сплетены в тонюсенькую косу, свернутую на затылке аккуратным гнездом. То же лицо, руки старческие, но одета в нечто, что могло бы изображать женский мундир темно-зеленого сукна, без знаков различия и наград.

И она тоже меня увидела, улыбнулась, махнула мне рукой, и толпа разошлась, что твое море перед посохом Моисея, хотя в этом контексте, очевидно, следовало бы избегать еврейских сравнений, и я вошел, встал перед ними.

Было это нечто вроде комиссии, принимающей, как я угадал, письменные заявления о признании немецкой принадлежности обращающихся сюда жителей Варшавы. Итак, за столом сидят двое штатских, я их, возможно, даже видел когда-то, поскольку лица кажутся мне знакомыми, сидит человек в униформе неизвестного мне происхождения, зато с моноклем в глазу, плохо идущим к неряшливой прическе и небрежно выбритой челюсти. И сидит моя мать, как будто Катажина Виллеман была призвана производить здесь оценку немецкости жителей Варшавы.

— Das ist mein Sohn<sup>1</sup>, — просто сказала мама.

И твое презрение к толкущейся у дверей толпе распалось в прах и пыль, вера твоя в то, что именно это тебе надлежит сделать — ради Польши — равным образом.

Коли Белая Орлица здесь, в этом зеленом мундире без знаков различия, это значит, что Польши уже нет, точка.

Твоя мать была для тебя Польшей, Костичек. Может, она вообще была Польшей, не только для тебя, может, в ней Польша концентрировалась и проявлялась полнее всего.

Я встал перед ними.

Моя мать задушевно улыбнулась мне. Я не помнил этой улыбки.

— Я рада, что ты пришел, — сказала она по-польски. — Но необходимости в этом не было, я уже выполнила за тебя все формальности. Актуальная политическая ситуация кажется мне в известном смысле триумфом доиндоевропейского субстрата над арийскими захватчиками, понимаешь? Ты ведь знаешь теорию Зигмунда Файста?

1. Это мой сын (нем.).

Конечно, я не знаю, не понимаю, не слушаю даже, потому что опять, опять, как это так, как ты выполнила за меня формальности, не спросив моего мнения, а если бы я хотел остаться поляком, я же хочу быть поляком, тогда что?

Чеки, чеки, чеки снисходительности, чеки благотворительности, материнские чеки, опель олимпия, шоколадный дом, смокинги, ралли, самолеты в Венецию, всё.

— Здесь подпиши, будь добр.

Костлявая материнская рука сует немецкий документ, Deutsches Reich, Kennkarte, орел, как на мундирах, по центру Константин Михаэль Эдуард Виллеман и фотография Константина, та самая, что в моем польском паспорте, прокомпостирована в двух местах.

— Сделай здесь отпечатки пальцев. — Мать не стесняется говорить здесь по-польски, зачем она говорит по-польски, ведь мы могли бы говорить по-немецки, а она говорит по-польски.

Подсовывает мне подушечку, я оттискиваю большие и указательные пальцы обеих рук, не сказав ни слова. Мать сгибает бумагу пополам, подает мне с лучезарной улыбкой.

— Ich begrüße Sie in den Reihen des deutsche Volkes, Herr Willemann<sup>1</sup>.

А ты ничего не понимаешь и позволяешь творить с собой что угодно, Костичек. Ты вглядываешься в значок на лацкане ее жакета. NS-Frauenschaft. Ничего не понимаешь.

Я не скажу тебе, что все это очень просто для нее. Ты можешь думать, как тебе хочется, ты будешь подозревать мать в гнусностях, в низменных побуждениях, в страхах, после призовешь на борьбу с этими подозрениями иные подозрения — а может, она творит это по чьему-то приказу, как ты, точно так.

Она просто сделала то, что хотела.

Это твоя мать, Костичек, а ты так и не постиг ее. Когда вы переехали в Варшаву и она заперлась в келье собственной комнаты, доступ к которой имели лишь вы со Стахом, ты являлся к ней за чеками, а Стах на многочасовые аудиенции, на которых она говорила, а он слушал, и он постиг ее, в общем-то, намного лучше, чем ты когда-либо постиг.

Зачем сейчас она стала немкой?

Единственная причина: ровно так она решила, такой выбор сделала однажды утром. Время славянства прошло, пришло время снова стать немкой. Так же, как некогда решила, что станет полькой, будучи запертой в рыбацком сумасшедшем доме, она решила стать полькой, поскольку сочла польскость абсолютной трансгрессией. Решила также сотворить поляка из своего врача, юного психиатра фон Конечны, дабы преумножить трансгрессию, но в качестве определенной на лечение сумасшедшей не имела для этого других средств, и сделала это с помощью своего тела.

1. Приветствую вас в рядах немецкого народа, господин Виллеман! (Нем.)

А я была тогда с ним, с фон Конечны, и я помню его безумие. Я помню его черные ночи, черные ночи юного психиатра: юная жена в постели с младенцем и его черные ночи. Жена с ребенком потом уедет в Берлин, ребенок позже погибнет при Камбре, вот соль его жизни, рассыпанная в болотах, предательство отца, немцы, танки, осколок, конец, черви. А пока Мартин, что погибнет потом при Камбре, еще мал, его отец сидит за столом, летучая мышь коптит, а он сидит и смотрит. Линия, которую шнапс вырезает на стекле бутылки, ползет ко дну с каждый рюмкой. Водкой он думает убить память о теле своей пациентки. После он исповедуется священнику, после исповедуется другу, но тело юной Виллеман впилося ему в мозг через его глаза и ладони, и через губы, которыми он познал ее, и через член, что вдруг не хочет больше юной и красивой жены, хочет лишь восемнадцатилетнюю пациентку, и это тело в конце концов выигрывает всё.

Фиаско, он бросает жену и сына, фиаско, он вытаскивает Катажину Виллеман из больницы, фиаско, он становится поляком и даже думает выучить язык, фиаско, он любит ее безумно, фиаско, он сходит с ума, фиаско, он стреляет себе в лоб из револьвера, когда слышит, что они больше не увидятся, так как она хочет, чтобы Альфред Конечны посвятил свою жизнь борьбе за дело Польши, а не прощелкал ее с ней под периной.

Она известила его об этом, чувствуя внутри себя его семя, едва он свалился с нее на грязные, скомканные простыни, а он ее знал и видел, что она не шутит, что не передумает, он поспешил одеться, еще ощущая дрожь последней судороги, воспоминание о мертвом блаженстве, оделся, стало быть, побежал домой, достал из ящика револьвер марки Mauser и прострелил себе голову пулей калибра 6 мм.

Я тогда еще посидела над ним какое-то время, гладила его белую польскую голову, смотрела, как кровь, брызнувшая на револьвер, собиралась в зигзагах барабана, после чего бросила его, оставила его мертвого в кабинете, и долго ожидала кого-либо достойного, пока не встала за твоим отцом, и его я также бросила, хотя вовсе не ожидала его смерти, ведь я бросила его, когда тебе было пять лет, и встала за тобой, Костичек.

Всегда глядела на тебя польскими глазами твоей матери, Константин. Зато теперь я гляжу на тебя немецкими глазами твоей матери, Константин, а ты не веришь, что она не заснула ни разу, а я знаю, что не заснула. Я ведь частью она, Константин, а ты, бедняга, не только этого не знаешь, а и меня лишь предполагаешь, горемыка.

Ты не поймешь, и я тебе не объясню, я не могу. Между тем решением, сделаться полькой, и этим решением, сделаться немкой, вектор прост: твоя мать есть чистая воля, твоя мать касается божественного, Костичек, если бы она хотела, могла бы удержать своей волей Гитлера, могла бы удержать солнце за горизонтом.

Но ты не поймешь, не можешь. А теперь иди, иди отсюда.

— Иди теперь, после побеседуем, — говорит твоя мать в темно-зеленом мундире с косой, заплетенной на затылке, как шляпка огромного гвоздя.

Ты прощаешься и идешь, идешь, потрясенный, ты просто уходишь, Kennkarte на ладони, в кармане польский паспорт, уходишь. Сбившиеся в коридоре кандидаты в немцы расступаются перед тобой. Смотрят на документ в твоей руке и смотрят на тебя с каким-то презрением, потенциальные предатели на матерого свехпредателя, а может, они смотрят на тебя с восхищением, почтением, страхом?

Навстречу мне проталкивается какой-то немец в серой форме, без орла на груди, английский воротник, черный галстук, рубашка коричневая, над галстуком и рубашкой лицо, которое ты знаешь, но не узнаешь. Кланяется тебе этот немец, улыбается. Ты знаешь, ты уже знаешь, Сым! Сталкивались время от времени, однажды вас даже представили, какой-то пьяный ужин У Воробья, восторг Гели, как же, кумир ее ученических лет.

Этот взгляд пугает тебя: он многозначительно, фамильярно приподымает фуражку, словно своим присутствием в Немецком Клубе вы подтвердили контакт: он в серой форме и черном галстуке, ты с кеннкартой рейхсдойче в руке. Будто говоря: глянь, пан, куда нас, немцев, влечет история. Дух ея.

И вас влечет, Костичек, вас влечет темная материя под кожей мира, сила, неведомая тебе, Костичек, прорастают из нее черные боги, как корневища в трещинах между людьми, между тобой и каждым из прохожих в этом побежденном городе.

Так что, может статься, прав был он с тем своим взглядом.

Ты выходишь потрясенный, Костичек, выходишь на улицу Фредро, начался дождь, ты выходишь под дождь, как будто его там нет, не думаешь о дожде. Потрясенный, ты идешь через парк, идешь по улицам, Kennkarte сунул во внутренний карман пиджака, и ты идешь, Костичек.

Возвращаешься в дом марки Е. Wedel, лестница, дверь в квартиру приоткрыта. Заходишь. Нету.

Нету их. Нету ни Гели, ни Юрчика. Неужто не ожидал? Неужто ты думал, что будет как-то иначе?

Сколько раз, Костечек, ты удирал от ее тела, удирал от детского плача, от семейных ужинов, удирал куда угодно, в Земянскую или к Саломее, или в Татры, к случайным подругам и случайным знакомым, лишь бы подальше, подальше, лишь бы сбросить с себя их голоса и лица, голоса и лица тех, кого ты любил больше всех, но не мог выносить.

А нынче нету их. И нежданно отсутствие тела Гели много острее блаженства, ею данного тебе прошлой ночью, ее тела здесь нет, нет ее груди, живота, спины, ее ягодиц, ее светлых волос, отняли у тебя Гелю, кто отнял ее, Польша, злые люди, Витковский, кто?

Письмо на твоей кровати, а что в письме, да что ж там может быть, читаешь и не понимаешь ни слова, звучат как музыка, движутся, но без значений, но ты-то понимаешь.

Она ушла. Взяла деньги, придется тебе самому справляться, но тебе это будет легче, поэтому забрала все. Вы будете видаться втайне, конечно же, вы условитесь, что и как и когда комендантский час, отец не должен знать, он удостоверит легенду, так нужно, иначе нельзя.

А тебя комендантский час ведь не касается. Так что тебя касается, Костичек?

Кто ты, зажатый между стеной и постелью, ревуший, как ребенок, убийца, блядун, трезвый морфинист, кто ты есть, Костичек?

Ты есть мой.

Вот такой: мой и зареванный, одинокий, потерянный, без денег, полный надежды, ты засыпаешь между стеной и зеркалом, не раздеваясь ко сну.

## Глава VII

А утром, утром уже семнадцатый по счету день октября, ты просыпаешься рядом с кроватью, просыпаешься и жаждешь.

— Sitio, — обращаюсь к пустой квартире.

Ты что же, пародируешь Иисуса Христа, Костичек? Или скорее учителя латыни из гимназии? За кого ты себя принимаешь? Ни за кого, в этом твоя трагедия.

Ты жаждешь воды, будто с похмелья, а ведь ты ничего не пил, ты жаждешь морфия, но ведь ты присягнул на трезвость, по крайней мере, m-типа, присягнул повторно и клятвы нарушать не желаешь. Ты жаждешь тела Гели, но знаешь, что оно тебе еще долго не будет суждено. Ты жаждешь сучьего тела своей Саломеи, но ее ты слишком боишься, чтобы пойти к ней сейчас, правда? Ты жаждешь всех тел, что ты когда-либо распробовал, от Иги до Гели.

Я не пойду к Саломее. Отдираю себя от пола, снимаю с себя одежду, иду в ванную, вода есть, так что мыться, бриться.

В зеркале мое лицо. Не мое. Твое, Костичек.

В зеркале лицо иуды? Да ладно, не иуды, не иуды, в зеркале скорее лицо героя, да вот героя ли?

Ты вставляешь новое лезвие в станок, соскабливаешь щетину. Надеваешь свежую рубашку, другой галстук, костюм вчерашнего дня драишь щеткой так, словно не было войны, и вешаю его в шкаф. Вешаешь, да. Вешаю.

А в шкафу нет платьев Гели, нет ее юбок, ни блузок, ни белья. Полки ее суть твоя пустая душа, полная, впрочем, надежды.

Закрываю шкаф.

Ига. Шука, 25, в министерство. Недалеко. Иду.

Министерство по делам религий и общественного просвещения, дивно. Просветило польскую общественность, факт.

Я предъявил караульному свою Kennkarte и венский выговор. Голос из-под каски указывает мне дорогу, как идти, куда идти. Комната номер двести семьдесят пять.



А в следах твоих проступает темная материя из-под кожи мира, словно бы ты шел по мокрому ковру. Вот где творится история.

Чем является история, Костичек? Удобрением, пищей черных богов, суммой стонов и слез, прахом и пылью.

История творится, когда тыходишь в кабинет этого немца в сером мундире за польским столом из красного дерева, за которым не столь давно референт по фамилии Копчикевич писал отчеты о положении Православной церкви в Новогрудском воеводстве, а сейчас, ровно в данный момент, в который ты, Костичек,ходишь в его кабинет, ровно в данный момент референт Копчикевич сидит в выстуженной львовской квартире своей матушки, к которой сбегал из воюющей Варшавы, и видит в окно, как кроткий советский патруль бродит по пустеющей при виде его улице.

А немец сидит за письменным столом, чьи ящики хранят еще ручки Копчикевича, промокашки и бумаги за его подписью, поскольку немца содержимое этих ящиков не слишком интересовало.

Ну, вперед, Костичек.

Итак, вперед. О причине ареста не спрашиваю. Гну свое твердо, серьезно, с великой уверенностью, словно пребывая в крепком убеждении, что сам статус рейхсдойче дает мне право требовать освобождения жены моего друга и моей бывшей любовницы.

А ведь это явная чушь, но что еще остается делать?.. Расчет на то, что хаос первых дней оккупации, пока все не окрепло, не устоялось еще, поспособствует.

Немец слушает внимательно, а я продолжаю требовать. Ich verlange<sup>1</sup>.

Немец слушает внимательно, кивает. Записывает фамилию, я диктую по буквам.

— Sie sind sicher, dass sie hier interniert ist, ja?

— Ja.

— Aber woher wissen Sie das eigentlich?..

— Ich weiß es ganz einfach<sup>2</sup>.

Эти слова или иные, неважно, верно, Костичек? Важно, как ты на него смотришь. А немец переходит в контрнаступление.

— Если ее арестовали, это значит, мой господин, что она набедокурила. In welchem Verhältnis steht sie zu Ihnen? Sie haben in Warschau vor dem Krieg gewohnt, Sie sind nicht aus dem Reich, oder?<sup>3</sup>

Значит, все же в направлении контакта, верно? Итак, сначала коротко о себе, о том, как трудно в Варшаве немцу, и вдруг что-то подсказывает мне, кто-то подсказывает мне, и я в одной из фраз упоминаю своего отца, который сражался в Великой войне, а затем

1. Я требую (нем.).

2. Вы уверены, что она помещена именно сюда, так? — Так. — Но откуда же вам это известно?.. — Просто известно, и все (нем.).

3. Кем она вам приходится? До войны вы жили в Варшаве, вы не из Рейха, верно? (Нем.)

kämpfte mit den polnischen Aufständischen um Oberschlesien<sup>1</sup>, а сам я сражался на Бзуре в польском мундире и награжден Крестом Храбрых.

И вот я заполучил уже его участие.

— Also Sie sind Deutscher?..<sup>2</sup> — спрашивает он, заинтригован.

Подтверждаю, конечно, ja, natürlich, natürlich, ich war polnischer Staatsbürger<sup>3</sup>, свой долг я исполнил до конца — теперь Польши больше нет, так что присяга моя соблюдена, а я наконец могу соединиться с моим подлинным национальным отечеством. Я вижу, как в нем борются противоречия: немец, но сражался против нас, однако риторика достигает его разума, действует на него. Ему интересно говорить со мной, а это самое главное.

Лишь бы я не забыл, кем являюсь на самом деле, чувствую, это может даваться мне чересчур легко.

Ты не забудешь, Костичек.

Итак, к делу, Костичек, к делу. Раз уж у нас такой милый контакт, давай поговорим как солдат с солдатом. Это моя любовница. Польша, но совершенно аполитична.

— In Zeiten des Krieges ist alles politisch, jeder ist politisch<sup>4</sup>, — справедливо замечает мой собеседник.

Соглашаюсь, но тут же ссылаюсь на опыт, что должен быть ему близок, неужто пан не приложил бы всяческих усилий, чтобы спасти девушку, близкую сердцу пана, неважно, полячка ли она или еще кто?

— Sie denken doch nicht vielleicht, dass ich mich in eine Judenbraut verlieben könnte, oder? — смеется серый мундир. — Andererseits, richtet sich das Herz nach parteilichen Reden?<sup>5</sup> — добавляет он, понижая голос, подмигивая.

Так и есть, он был или будет влюблен, раз подобные тонкости любовных афер ему не чужды.

Штурмфюрер Меркель, так звучит его фамилия, которой он тебе не назовет, таковы правила. И штурмфюрер, да, входит в положение. Но да, штурмфюрер Меркель имеет свои принципы. Имеет также свои потребности, в Берлине у него девушка, которой он не может предложить руку и сердце, потому как уже женат на женщине, которая ему безразлична. А девушка с черными волосами и голубыми глазами, девушка по имени Бернадетт волнует его больше всего на свете, и он ревнует ее как безумный, тем более что он был

1. Сражался с польскими мятежниками за Верхнюю Силезию (нем.).

2. Вы, стало быть, немец?.. (Нем.)

3. Да, само собой, я был гражданином Польши (нем.).

4. В военное время всё и каждый — политика (нем.).

5. Вы, часом, не думаете ли, что я мог бы влюбиться в какую-нибудь Сарочку, а? ... С другой стороны, разве сердце внимает партийным речам? (Нем.)

ее первым любовником и, как дурак, рассчитывает обеспечить ее верность подарками с фронта.

С фронта, ибо он до сих пор не сказал ей, что работает в гестапо. Ибо он дурак, ибо полагает, что это отвратило бы ее, а полагает он так, ибо Бернадетт ненавидит нацистов по правде и любит джаз, куда же ей полюбить гестаповца?

Как я уже упоминала, штурмфюрер Меркель дурак и не разумеет любви: Бернадетт любила бы его нацистом, коммунистом или евреем, а коль была бы ему неверна, то оттого, что любовь прошла, а не оттого, что ее фрустрирует идущее с военной почтой золото.

Золото, которое ей не нужно и которое ее не волнует, волнуют ее одни его глаза, теплые мягкие губы и низкий голос, и то, как он шепчет ей на ухо, когда они лежат нагими на смятых простынях в ее крошечной комнатке на Седанштрассе, Шёнеберг.

Но штурмфюрер Меркель дурак и не знает этого, а может, он просто мужчина, и оттого не знает, не понимает, и оттого лжет бедной маленькой Бернадетт, он лжет ей, что не женат, что служит не в гестапо, ибо не верит в ее любовь, не зная, что она любила бы его точно так же при жене, гестаповском жетоне в кармане и пистолете, который он всегда оставляет дома или в офисе, когда замышляет свидание со своей маленькой Бернадетт, чьи ярко-голубые глаза осияют в ночи его лицо.

Вот зачем штурмфюреру Меркелю деньги, на подарки, которых отнюдь не жаждет его маленькая телефонистка Бернадетт.

И оттого штурмфюрер Меркель теперь молчит, усиленно глядя на этого странного, красивого человека в хорошем костюме с белым платком в нагрудном кармане и с безупречным венским выговором, с лицом, выдающим штурмфюреру уверенность в себе, но равно склонность к компромиссу и сделкам с совестью. А штурмфюрер Меркель верит в лица, верит в секретный алфавит пропорций глаз, носов, ртов.

Ты всего этого не знаешь, Костичек, но как-то познаёшь.

— Die Liebe hat Ihren Preis, Herr Willemann<sup>1</sup>, — говорит штурмфюрер Меркель.

Уже сообразил. Ну да, почему, какого черта я не подумал об этом? Соглашаюсь с улыбкой. Именно, любовь имеет свою цену, и все мы так или иначе ее уплачиваем, das ist unabwendbar<sup>2</sup>.

— Ja, also wieviel?..<sup>3</sup> — спрашиваю с улыбкой.

А штурмфюрер Меркель горячечно считает, оценивая, как бы не переборщить, тем более не хочется недоборщить, в конце концов называет сумму, будьте любезны.

— Zwei tausend Dollar müssten reichen<sup>4</sup>.

1. Любовь имеет свою цену, господин Виллеман (нем.).

2. Это неизбежно (нем.).

3. Хорошо, так сколько?.. (Нем.)

4. Двух тысяч долларов, полагаю, должно хватить (нем.).

Лишь сейчас он начинает прикидки: сумеет ли устроить это освобождение? Даже если половину взятки переправить дальше, выше, то справится ли он? Ему не хотелось бы водить за нос этого славного варшавского немца с точеной челюстью и бледно-голубыми глазами, напоминающими глаза Бернадетты. Итак, обещает себе, пусть даже три четверти взятки уйдут наверх, он все равно устроит это освобождение.

Мы обещаем согласно своим надеждам, а поступаем согласно своим страхам. Это записал некий французский герцог, уже триста лет как мертвый, без разницы, вас, людей первой половины двадцатого века, он разумел лучше, нежели вы разумеете самих себя.

— Wird gemacht<sup>1</sup>, — говорит мой прекрасный, любимый Костичек и встает с военной четкостью, встает, не видя надобности затягивать разговор, все, что нужно, уже сказано.

Штурмфюрер Меркель тотчас встает, вежливо, они прощаются, пожав друг другу руки.

Когда Константин уже стоит в дверях, штурмфюрер с силой эрекции вскидывает ладонь в Deutscher Gruß.

И что мне теперь делать, думает Константин, думаю, что мне делать, не станет ли это еще одним звеньшком в цепочке моих измен, не забыть, не забыть, кто я такой на самом деле, Бога ради, я избражаю немца меньше суток, а уже боюсь, что забуду, кто я, еще одно звеньшко, цепочка.

А что ж это есть, измена, дабы изменить кому-то или чему-то кроме нас самих, нам бы сначала должно поверить, что существует еще кто-то помимо нас, а верить в это даже труднее, нежели в Господа, одиночество человека так заразительно и пронзительно, любое одиночество, одиночество анахорета, одиночество матери пятерых детей, одиночество жуира в окружении дружества и солдата в окопе.

Чьи это мысли? Мои или твои, Костичек? Похоже, мои, но ведь мы связаны больше, чем ты можешь связать себя с какой-либо другой женщиной, так что это немножко и твои мысли, не так ли?

Я вскидываю руку в знак приветствия, будто вздергиваю зенитный ствол.

— Neil Hitler, — говорю я, придав, впрочем, своему голосу определенный сарказм, мы в конце концов о взятке договорились, трудно зиговать серьезно.

Очаровательный гестаповец, видимо, все понимает, поэтому он подмаргивает мне, садясь. Я выхожу в Варшаву, которая не моя уже дважды.

Из дома я обрадую Яцека добрыми вестями, так что возвращаюсь домой, неспешно возвращаюсь, идя по улице по-другому, по-другому пересекая Пулавскую, по-другому.

1. Будет сделано (нем.).

По дороге, правда, захотелось перекусить, в квартире у меня ничего нет, магазин-кафе закрыт, поэтому я иду к Ларделли, даже крюка даю.

Внутри кругло и пальмово, словно войны не было вовсе, столики заняты, заседают, хлебают кофе. Без перемен: словно войны не было вовсе, стоит лишь уйти с улицы.

Для тебя война лишь дает ростки, лишь оперяется, Костичек.

Под пальмой возле стойки я заметил Рудзика, и он меня тоже заметил. Мне ничуть не улыбалось его общество, поскольку я что его в тупицах и занудах, но все-таки было бы неучтиво, приметив знакомца, вообще не подойти к нему, не поприветствовать и, наконец, не присесть.

Таким образом, подхожу, небрежно улыбаюсь и протягиваю руку. А Рудзик встает, как ужаленный молнией, и вдруг резкость: я вижу, что его колени и руки дрожат от резкой вспышки гнева, но есть у него та сила воли, остался он офицером, хоть и в гражданском, владеет, значит, собой, а как же, значит, встает и не замечает меня, словно я пустое место, моя ладонь висит в воздухе и вдруг делается центром всего кафе, все взоры устремлены на эту правую ладонь, Рудзик пробует быть еще храбрее, глянуть так, как если бы он смотрел сквозь меня, сквозь мои глаза, чтобы показать мне, что не боится.

А теперь я ощущаю, как гнев насыщает резко мою кровь.

Я вижу, что Рудзик не прочь добавить еще что-либо: плюнуть мне в ноги, может, в лицо, а может, даже дать мне пощечину.

Но Рудзик уловляет в твоих глазах, Костичек, вой Каэтана Тумановича, и кровь, текущую из его пустой глазницы, Рудзик уловляет это и вдруг пугается, мало того, он в ужасе от того, что сделал, тем более в ужасе, что уже некуда отступить, как же отступишь теперь, пожмешь швабскую десницу ренегата, коли все они смотрят, коли он, с грохотом сдвинув свой стул, привлек их взгляды к своему маневру. Но кровь в твоих глазах видит он: знает, что нечего ему добавлять к тому резкому вставанию и непожатию рук, поэтому срыгает со спинки стула спортивную куртку татарника и уходит, исчезает, почти бежит.

Глаза отлипают от твоей руки, ибо все видели, что Рудзик сбежал. Конечно, скажут не так. Скажут, мол, он не пожал тебе руки, мол, был он стоек, был храбр, но теперь они не позволят себе никаких маневров — пока ты не уйдешь, — им не отважиться на какое-либо презрение, ибо пугает их его страх, страх майора Рудзика их пугает.

А тебе, Костичек, нести этот крест. Вернее, топорёл этот нести на своих плечах, се твоя жертва во имя родины. Не крест ведь это, ведь не именем Бога, которого нет, ты понесешь это бремя, а именем Польши.

Только не пригибайся при этом более, чем следует.

Да ебись он конем, Рудзик. Ебитесь вы все коромыслом. Подбегает официант и старается балансировать между услужливостью, адресованной мне — немцу, и дистанцией, адресованной публике в

кафе, бедняга между молотом и наковальной. Я не облегчаю ему задачи, я никому ничего не собираюсь облегчать.

Сажусь с жидким кофе и хлебом с маслом, ибо пирожных — есть уже пирожные! — неохота, а из конкретной еды в наличии один хлеб.

Беру деревянную вешалку с “Новым курьером”. Акт встречен взглядами, полными понимания: продажный немец, отсюда и “Курьер”. А, коромыслом вас. Сами это читаете, надо ведь что-то читать. Пролистываю газету, всё больше объявления, ничего интересного, допиваю кофе, ухожу. Иду к Яцеку.

Нахожу его там, где оставил, в квартире, в пижаме, похоже, извести о том, что Ига жива, ничуть не поставило его на ноги.

— Выпустят ее. За две тысячи долларов. У тебя есть? — сразу спрашиваю на пороге.

Яцек, открыв дверь и не отвечая на мой вопрос, идет без единого слова в гостиную, отпирает секретер, вынимает оттуда большой бумажник, инвентаризует отделения, две купюры по пятьдесят долларов. С президентом Грантом. И пятьсот польских злотых.

Сажусь в кресло, Яцек кладет деньги передо мной.

— Столько.

И падает обратно на диван, на котором, без сомнения, провел последние несколько дней. Потолок выцветает под его коровьим взглядом.

— Яцек, надо ее оттуда забрать, надо раздобыть денег.

Отворачивается к спинке дивана.

— Это наказание мне, — сказал он голосом, приглушенным плюшевой спинкой. — Бог карает меня за мои проступки.

Прострация. Наверно, я должен стараться его утешить, должен выбить из его башки дурные мысли о наказании, должен заставить его, вынудить к действию.

Должен, должен... Костичек, кому ты что-либо должен? Люди не пересекаются, Костичек, люди сами по себе, каждый человек является отдельной малой вселенной, никто никому ничего не должен.

Ты ничего не должен Геле, Юрчику, ничего не должен Яцеку, и тебе никто ничего не должен. Ты родился один и умрешь один. То, что кто-то когда-то причинил тебе некое добро, это лишь иллюзия. Пусть твоя мать вскормила тебя, когда ты был младенцем, что с того? Она кормила, чтобы не смотреть, как ты голодаешь. А стало ли тебе лучше оттого, что ты не умер ребенком? Какова ценность всякого причиняемого нам добра, если оно лишь множит страдания, укрепляя иллюзию, что в жизни дано испытать счастье?

За зло ты не должен никакого воздаяния, никакой мести, да и чего может касаться причиненное тебе зло? Видимости, Костичек, миража.

Я встал.

— Позвони мне, когда будешь в состоянии, — сказал я, не будучи уверен, что слова в принципе доходят до него.

И пошел домой, а Яцек даже не утрудил себя запираанием двери.

Всхожу по лестнице, дверь в квартиру приоткрыта. Я похолодел. Представил себе, как внутри ждет меня с револьвером мой познанский тесть. А то и немецкий полицейский с наручниками, чтобы арестовать за жестокое убийство Каэтана Тумановича.

Ожидал меня, впрочем, один Инженер, в чем я убедился, как только, поборов страх, вошел наконец в квартиру. Он сидел, развалившись в моем кресле, положив ногу на ногу, покачивая носком офицерского сапога тугой хромовой кожи.

Я поздоровался, стараясь не выказать изумления. Инженер сразу перешел к делу.

— Пан зарегистрировался на Фредро? — спросил он, и странно прозвучал этот вопрос на фоне его прежнего всеведения.

В ответ я показал Kennkarte. Витковский проштудировал весь документ, как будто в нем содержался по крайней мере какой-то нарратив.

— Фамилия же должна быть Штрахвиц! — возмутился он. — Кроме того, как ты, пан, достал этот документ за два дня?

Звучало ли в этом вопросе подозрение? Не знаю. Не исключено, что звучало.

— А это, прошу прощения, пана уже не касается, — с напором возразил я, к собственному изумлению. — Задача выполнена.

И тебе даже удалось обойтись без пояснений, хоть как-то смягчающих твой ответ, Костичек. Как же я рада.

Витковский помолчал с минуту, шевеля ртом, словно что-то жевал, мясистые губы извивались червяками в луже. Вдруг встал, подошел к окну, выглянул и махнул рукой.

— Мы приведем пана к присяге.

И они привели. В квартиру зашел серый сухощавый человек в летном шлеме и старосветской пелерине, стянутой армейским ремнем. К комплекту прилагались круглые очки в проволочной оправе, Витковский представил его как Водителя.

Рука в кармане пальто, вновь этот гипноз пальца на спусковом крючке, он держал ее там все время, пока я присягал, глядя на меня оценивающим взором, и я сам уже не знал, театр это или он действительно ждет, чтобы пристрелить меня.

Ты знал, ты знал, Костичек. Всё это театр, война театр, присяга театр, конспирация театр, Германия тоже театр.

А если это театр, то что же реально, спрашивал я себя, присягая именем Триединого Всемогущего Бога и Пресвятой Матери Божией, что же есть настоящего, я настоящий?

А я настоящая? Мы все круги на воде.

Я, стало быть, поклялся без устали сражаться, приказы исполнять, жизнь отдать, я клялся во всем, в чем клянутся в таких ситуациях, вечное бздо, родина, война, неколебимо, не щадя, до последней капли крови, организация, таинство, свинство, границ единство.

А что по-настоящему? Нет мира и нет меня, клятвы в театре те-ней, круги на воде, слова в воздухе.

— Пятьдесят Шесть, это твой позывной, — шепчет Витковский. — В организации все мы на ты.

Я пожимаю плечами.

— У меня для тебя есть первое задание. Поедешь в Краков, у некой Рохацевич там для нас деньги. Сто тысяч долларов. Сто тысяч! В твоих руках они будут в наибольшей безопасности.

Безопасность в моих руках. Безопасность? Да. Я ведь стал другим человеком. Рохацевич? Как то имение, где я встретил Игу.

— Как я ее найду?

— Ты теперь офицер разведки. Вот и найдешь, — усмехнулся Инженер. — Скажем так, воспринимай это как тренинг, прежде чем мы пошлем тебя в Будапешт.

— Когда? — спросил я. Витковский глянул на часы.

— Через полчаса с Центрального отправляется военный поезд. Пассажиры еще не ходят, но с Kennkarte может получиться, Пятьдесят Семь.

— Шесть, — поправил его я.

Он бросил на меня рассеянный взгляд и пожал плечами.

— С деньгами явишься на квартиру Лубеньской, но не оставляй их там, просто жди меня.

И они исчезли.

А ты, Костичек, сделал то, что тебе полагалось, упаковал в саквояж нижнее белье и побежал на вокзал, держа в руке свою немецкость, и ждал, ждал, ждал, а время бежало, не то вокзал, не то руины, ты ждал, а на вокзале полчища немцев и немчиков, мундиры серые, воротнички темно-зеленые с белыми лычками задрены, воротнички, сапоги и полусапоги, под сумки, а ты ждешь и спрашиваешь по-венски и улаживаешь и улыбаешься по-венски, ждешь четырнадцать часов, все у тебя болит, Костичек, и много эротических мыслей, о Саломее, о Геле, об Иге, много мыслей, что Игу нужно вытащить из тюрьмы, хорошо, что ты взял плащ, становится все холоднее и холоднее все темнее и темнее под одеялом тепло, теплое тело Саломеи, ее теплый, солоноватый вкус, ее мягкая кожа и бутылочка, полная радужного тепла, радужное тепло разливается по твоим венам, согревает радужное тепло, согрело бы, Костичек, стоит только пойти к своей маленькой сладкой курве, у нее для тебя бутылочка, но ты не пойдешь, о нет, не пойдешь, потому что ты уже не тот Костичек, что ходит к курве Саломее черной злой фальшивой, ты не тот Костичек, в чьих жилах жидкое счастье, текучий покой, жидкий спазм и ты у нее во рту, Костичек, правда?

А после ты думаешь о тех, других, лучших любовницах, думаешь о той, которую ты называл Сюрпризом, так неожиданно возникла она в твоей жизни, но ты не думаешь о ней слишком много, Костичек, раз ты ее убил, то не думай о ней, ты убил ее своей жизнью, убил, рыдая, словами, так что больше нету ее.

И ты не знаешь, что она носила твоего ребенка, Костичек, не знаешь, что убил этого ребенка своими словами, и она тоже не знает,



кровавый шмат на полотняной прокладке, комок в бумагу и в мусорное ведро, а была ли у этого ребенка душа, вдруг тебе интересно, хоть ты не веришь в душу, но это дурной вопрос, даже у камня есть душа, а это был твой первый сын из бессознательного тела твоей первой измены. Если вообще возможна измена кому-то. Я полагаю, что не возможна, чтобы изменять, людям должно сначала пересечься, а люди вовсе не пересекаются, но ты думаешь иначе, Костичек, ты дурачок и не знаешь, что каждый одинок как перст.

А та девушка не знала, но при этом наблюдала с любовью, как росли ее маленькие грудки, ей думалось, что они растут от луны, которая скользила по ее груди в гарсоньере, которую ты и пара камерадов специально сняли на случай таких свиданий. А росли они от того сгустка, что пытался прижиться в ее теле, но не прижился.

И ты перестаешь думать о ней, ведь я прошу тебя об этом, ты больше не думаешь о ней, укачиваемый своим не своим поездом, едешь в Краков, на юг, в отделении солдаты, обычные рядовые и ефрейторы, винтовки висят, железнодорожник поляк, ты не прочь ему словечко молвить, объяснить, втолкнуть его в туалет и открыться: я поляк, офицер тайной разведки, я на задании. Однако не молвишь.

Потом ты выходишь, после целой ночи с солдатами и винтовками, выходишь на вокзале в Кракове или в Кракау, на вокзале, не тронутым бомбой, один путеец выуживает твой коричневый костюм из лавины серых мундиров и, думая, что можешь быть поляком, заговаривает: что, Гурнослёнская сильно разрушена, но тыжимаешь плечами, Ich weiss nicht! В конце концов, есть дела важные и важнейшие, в конце концов, ты же не можешь поддаваться эмпатии, отчизна капризна границ нерушимость и кресов решимость заговор группы ячейки трупы.

Идешь, значит, проходишь Башенную, пересекаешь Планты, какой странный город, какой странный Краков, каркает вороном Кракау, идешь, не зная, куда идти, не зная, как офицер разведки обязан найти некую Дзидзю Рохацевич, интересно, совпадение фамилий с владельцами памятной дачи случайно или не случайно, либо на всё воля случая, либо ни на что нет воли случая, всё или ничего, что за имя, собственно: Дзидзя, итак, пересекаешь Рынок, город не тронут войной, зато тронут немцами, немцы повсюду, и ты повсюду, мой немец, мой Костичек, когда так идешь по Кракову, что помнишь ты из Кракова, что ты помнишь, квартиру Годзеевских, где ты бывал, где бездарно и безуспешно соблазнял жену хозяина, ты помнишь эту квартиру и те автопробеги на трех машинах по шоссе на Груец, Коньске и Мехув, твоя олимпия, шевроле Яцека и фиат одного типа, чью фамилию ты позабыл, открытые крыши, шарфы и шоферские гоглы, а затем водка, и плоть, и чтение стихов, воздетый палец Ярослава во время чтения, жизнь, жизнь была, Костичек, а сейчас ты топчешь мостовую по-немецки и по-немецки заходишь в цукерню Маурицио, это место первым пришло тебе в голову, ибо куда, если не в цукерню, кавярню, кнайпу, ибо где еще

искать что-либо, но у Маурицио пусто, однако не пусто, ни одного знакомого лица, у тебя есть знакомые в Кракове, но, видно, недостаточно, заказываешь, как обычно, малый черный и дальнего следования, узнаешь одного кельнера, а он тебя нет, и ты не знаешь, не знаешь, что дальше, но у тебя есть деньги Яцека, Яцека, который лежит сейчас на диване, овеянный абсолютной меланхолией, и ты думаешь: может, он уже пальнул себе в лоб, хотя нет, нет в доме оружия, не рискнул бы, а по-другому он себя не убьет, ты знаешь заботы его, жил себе не вскроет, из окна не выбросится, не Яцек, нет.

Итак, он лежит, овеянный меланхолией, ты же его деньги, часть его денег, но всё равно его деньги суешь в лапу кельнерскую, то бишь бычью, хотя почти человеческую, и спрашиваешь о некоей Рохацевич, ты ведь ему рекомендоваться не станешь, но знать, что ты немец, он же ж не может, ты же ж не немец, оттого только шлешь ему сигналы, гипноз, что никак не немец, а скорее заговор группы ячеек трупы, суешь двести злотых в лапу почти человеческую, хоть и бычью, кельнер что-то шепчет одному, и другому, и третьему, эта волна шепотов мчится, выхлестывает от Маурицио, дальше идет волна шепотов, ты теряешь ее из виду, кельнер советует ждать и наливает еще одну дальнего следования за счет фирмы и подает хлеб и сыр, и я пью водку, ем и жду.

Через пару часов волна шепотов возвращается и ложится на берег: является худая, очень женственная бабенция с длинным носом, одетая скромно, но видно, что дорого, тип крепкой аристократки, не липовой, каких полно, но крепкой, старинные роды, выведение и дрессура человека, фермы породы, княжества гедиминовичей, судя по фамилии, а может и нет однако, может, русины, может, Рюрик и другие норманны, Курцевичи, Четвертинские, Воронецкие, Жижевские и иже с ними, отчего бы не Рохацевич, стало быть, явилась, села, не спрашиваясь, к моему столику, ножка на ножку и пароль, а я ведь никакого пароля не знаю, не упоминал Инженер о пароле.

Но знаю, что выкручиваться без толку. Поэтому я шепчу ей на ухо: от организации, от Инженера, никакого пароля не дали, мой позывной Пятьдесят Шесть...

Рохацевич на долю секунды просияла и тотчас снова мрачнеет ликом.

— Должно быть, Пятьдесят Семь?

Скриплю зубами, а не признаться ли, что не знаю и сам? Так лучше. Без вранья. Я вчера был приведен к присяге. Инженер дал два позывных. Сначала сказал, что Пятьдесят Шесть. Но потом обратился ко мне как к Пятьдесят Седьмому. Объяснить ничего не пожелал.

Рохацевич кивает, пригорюнилась, ну да, так, такой вот он есть, так вот оно все с ним, увы.

Наконец решается, с плеча.

— Я верю пану. — Рассиялась в улыбке.

А я смотрю на нее с желанием, не знаю, откуда оно взялось, но ровно так я смотрю на нее, с желанием.

А ты смотришь на нее с желанием, не зная, откуда оно взялось, но ровно так ты на нее смотришь, ибо так ты смотришь на всех женщин, ибо не умеешь смотреть на женщин иначе, чем с желанием, ибо от каждой хотел бы иметь доказательство, что она считает тебя мужчиной, ибо сам ты в этом не уверен, скажи спасибо матери, Костичек.

Итак, смотришь на нее с желанием, притом знаешь, Костичек, знаешь, что она для тебя совершенно недоступна, и не оттого, что недоступна в целом, нет, она недоступна для тебя, ты не тронешь ее, она тебе попросту не даст, она вне досягаемости, Костичек, и речи нет.

Есть в этом что-то, чего ты не знаешь и не понимаешь, нечто, чье обличье ты чуешь и провидишь, внутренняя мощь, целокупность, сила, что-то захватывающее и ужасающее одновременно, нечто, чего ты никогда прежде не видел.

Внезапно вместо того, чтобы быть у Маурицио, вы с панной Рохацевич идете к ней на квартиру, ты платишь, вы идете, а там панна Рохацевич дает тебе портфель с деньгами, за ними-то ты ехал, и переходит с тобой на “ты”, все говорят мне “Дзидзя”, и советует не терять их, а вы в ее квартире одни, но *savoir-vivre*, ты поклялся, что никаких женщин, что только Геля, Гелюшник, пока вы разговариваете, ты много говоришь о Геле, твердишь “моя жена Гелена”, а все же задевает тебя, что Рохацевич позвала тебя в свою квартиру так, как если бы ты был совершенно безобидным, как если бы женщиной, как если бы без хуя, без дружка сердечного между ног, а Рохацевич стелет тебе в комнате для гостей, и там ты всю ночь ждешь, пока она придет, но знаешь, что не придет, и она не приходит, а ты все-таки ждешь, дурачок, ждешь и знаешь, что прогнала бы тебя, когда бы ты вошел к ней, выгнала бы смеясь, не негодуя, смех в тысячу раз хуже негодования.

Чего ты не знаешь, чего не слышишь, так это слез Дзидзи Рохацевич, слез никого не боявшейся женщины, что спорта ради моталась санитаркой по тылам всех фронтов в Польше, что спорта ради забавляется краковским *liberum conspicio*, смелее мужчин, более отчаянная, уверенная в своей хорошей крови, уверенная в своей полезности, балканскими тропами пойдет она так же, как до войны съезжала на лыжах и водила свою испано-сюизу, могучую, как допотопная бестия, будто объезжая мастодонта, так водила она свою испано-сюизу о двенадцати цилиндрах, что ни колесо, то тайная под крылом слеза, пока наконец не возьмут Дзидзю балканские бандиты, год сорок третий, ее возьмет живописная банда из пары сербов и одного мусульманина-боснийца, с венгром во главе, они возьмут Дзидзю, ее пистолет заклинит, и не успеет она передернуть затвор, как птичка уже в клетке.

Сербы ударят ее так, как еще никто не бил, сорвут с нее мужскую одежду и станут иметь, каждый по очереди, не зная даже, кого насилуют, их сербские елдаки в ней как в тех женщинах, к каким они привыкли, и они не заметят даже, сколь гладка и безупречна кожа Дзидзи Рохацевич, сколь красивы ее готические ладони и сколь благородны изящные груди. А пока они будут ее иметь, венгр осмотрит багаж, найдет то, что она несла, и решит взять за это хорошую цену. А когда отымеют, то венгр, повидавший столь много, что его ничто уже не трогает, застрелит ее из ее же пистолета, и голый, опороченный труп Дзидзи Рохацевич останется в ночном балканском лесу, но ненадолго, волки, которым людские войны гораздо полезнее, нежели самим людям, не замедлят его найти.

А пока ты, Костичек, бодрствуешь в полусне ее комнаты для гостей, Дзидзя плачет по мужчине, который ее бросил, плачет по своему первому любовнику, по малой большой тайне, о которой не знает никто, даже самые близкие подруги по пансиону, даже родители, даже исповедник, которому Дзидзя перестала исповедоваться в чем бы то ни было ровно тогда, когда ее бросил первый любовник, большая черная дыра в ее стойком сердце, позже крепко очерстевшем, дыра не заросла, Дзидзя, стойкая суфражистка, заткнула ее спортом, машинами, заговорами, другими мужчинами, они текли сквозь ее жизнь, мужчины первого сорта единственно, никаких дураков, никаких хамов, никаких подлецов, никаких трусов, каждый хоть в чем-то лучше того, первого, но ни один не хорош настолько, чтобы дыра зарубцевалась, и она бросала их, они же любили ее вечно, ждали, что вернется, она же ни разу не возвращалась, а сейчас, пока ты бодрствуешь, желая ее, Костичек, бодрствуешь в комнате для ее гостей, в голове Дзидзи Рохацевич, кроме слез, есть также сеть ее бывших любовников, из них она сплетет конспиративную организацию мужчин, не перестававших никогда любить ее, а она соберет эту их любовь и бросит Польше.

И не ждет она тебя, впервые увидев тебя, она уже знала, что ты недостаточно хорош для нее, и речь не о титулах графских и прочих, даже знай она про твоего отца, древность рода, Урадель, и то ты не был бы достаточно хорош для нее, а был достаточно хорош некий автомеханик, он занимался ее испано-сюизой так же нежно, как нежил ее саму, а теперь он будет мастерить бомбы, чтобы убивать гитлеровцев, потом гитлеровцы его поймают и расстреляют, и Дзидзя не станет его оплакивать, поскольку оплакивает она лишь одного мужчину.

Но для меня ты достаточно хорош, Костичек, для меня ты тот, кем был для нее ее первый любовник, для меня каждая моя любовь как первая, каждый мужчина, за которым я следую, бросает меня, свою тень, по-новому, с каждым я разная, совершенно разная.

И вот утром Дзидзя потчует тебя завтраком, но не делит этот завтрак с тобой, так что ты в одиночестве ешь хлеб и яичницу и пьешь черный кофе, а потом выходишь с портфелем, полным пяти-

десятидолларовых купюр, снова Грант, она показала их, уходишь обиженным, униженным, она даже подала тебе руку на прощание, улыбнулась и сказала:

— Еще увидимся, непременно.

Но этому не исцелить унижения и уязвленной гордости.

Итак, от каменицы на улице Долгой на вокзал, там ожидание и тревога за портфель, не стянул бы кто, охотнее всего ты сковал бы его с рукой, но боишься контроля, Kennkarte не объясняет доллары в портфеле, откуда столько долларов, на что столько долларов, итак, ожидание и страх, и наконец поезд и дискуссии с немецким офицером, поездом этим заведующим, и ненависть в глазах польского кондуктора, и снова ночью, ночью, на север, ночью. В этот раз купе пустое, поляков в поезд не пускают, но тебя пустили, в Варшаву ни один солдат не едет, из Варшавы только выезжают, Франция, Франция, некросубстанция, а что бы не воспользоваться Kennkarte и не пробраться в Румынию, в Венгрию, не поехать во Францию, в польскую армию, отчего бы не пойти с французами на Берлин, разок они уже выиграла войну с Германией, могут выиграть снова.

Но нет, не хочу никакой Франция, у меня мой портфель с деньгами, я должен их отдать, война здесь, здесь буду с ней драться, здесь будет моя война, и здесь, коли надо, она закончится. Жизнь на алтарь, родина, встарь, субъект, нерушимость границ.

Я сошел очень ранним утром на Гданьском, потому что по загадочной немецкой причине там остановился мой поезд, был все еще комендантский час, но какое мне дело до комендантского часа, если я, нимало не тревожась, могу передвигаться по городу, ведь я немец с венским немецким и немецкими бумагами.

Если пойду сейчас к Лубеньской, то мне придется отдать портфель. А в нем деньги, много денег. Ига. В тюрьме. Если я пойду домой, меня там может застать Витковский, портфель придется отдать.

Так что нет.

Как это нет, Костичек? Ига это личное, жена друга, давняя любовница, Ига отнюдь не отечество, эти деньги принадлежат отечеству, Костичек, я знаю, что это ложь, равно как всё это ложь, потому как нет ничего, одно ничто является правдой, но ты этого не знаешь и не имеешь права предать то, во что веришь, Костичек, не имеешь.

Но ты же предашь, это твое, ты мужчина-нож-в-спину. Если бы я могла рассказать тебе, что ты не можешь быть предателем, ведь ты один-одинешенек! Но не могу.

Нет и всё, в немецкой темнице тело, которое я нежил, не могу я оставить ее там, не теперь, когда меня бросила Геля.

Вот немного погода я выхожу в город и что вижу — трамвай! Идет трамвай, тройка. Сажусь, счастливый, на виадук над вокзалом и еду. Увы, лишь до площади Красинских. Я не был тут с начала войны, как-то так вышло, часть площади там, где трамвай, расчищена уже, но завалов еще порядком, сломанные вагоны и Килинский грозит небу саблей.

Вожатый поведал мне, что по Новому Святу пустили уже автобус, Новый Свят, Иерусалимские, до самой площади Завиши, но это поперек моего маршрута. Ни единой телеги не нашлось, значит, оставался пеший вояж, и я повояжировал по Новому Святу и по Аллеям, пока через три четверти часа не вышел к зданию, поглотившему Игу.

И всю дорогу ты думал об Иге, Костичек, ты вспоминал все ваши ночи и сияние ее тела и губ и вкус ее вспоминал, и ни разу не подумал о Геле, Гелюшике, Костичек.

Геля не уходила от тебя, Костичек, Геля отошла, но это театр, ты знаешь отлично, знаешь, но все же идешь на Шука и сейчас прячешься в арке, открыл портфель, отсчитал две тысячи не твоих, но отечественных долларов, и алле, в министерство общественного просвещения, идешь, не чинясь, на Шука, на Шука, взял из портфеля две тысячи долларов, не чинясь взял их и идешь на Шука. На Шука, 25, монументализм Монченского крайне монументален, страж, Kennkarte, комната двести семьдесят пять, симпатичного немца в серой форме еще нет, так что нужно подождать, так что жду, жду на длинной деревянной скамье в коридоре, пока он наконец не приходит.

Он тепло приветствует тебя, будто здоровается с другом, а у тебя в руке портфель, а в нем куча не твоих долларов, и ты якобы его друг, а доллары, отщипнутые от портфеля, они у тебя в кармане, какую ложь сочинишь ты на потребу Витковскому и компании, а если б кто увидел, как тыходишь сюда, “в гестапо”, как станут говорить позже, — как тыходишь в гестапо, но сейчас еще так не говорят, так если б кто увидел, как тыходишь в здание бывшего министерства, о чем бы они подумали?

Но никто тебя не видел.

Я поздоровался с полицейским в серой форме крайне вежливо, после чего не чинясь вынул из кармана доллары и положил на столешницу. Немец денег не считал, стряхнул их моментально в ящик, запираемый ключиком, при этом ни на секунду не стирая улыбки с губ.

— Was jetzt?<sup>1</sup> — спросил я.

— Warten Sie einen Augenblick<sup>2</sup>, — вежливо ответил он. — Сейчас ее освободят.

И он думал о своей маленькой телефонистке Бернадетт, утрясая это освобождение, в ожидании денег, и вся эта история показалась ему крайне романтической. Но ты этого не знаешь, Костичек, никак не можешь этого знать.

И октябрьским утром на алее Шука встал ты, ожидая свою бывшую любовницу. По улице плелся одинокий мальчик со школьным ранцем, в начальных школах возобновили обучение, для него война по правде кончилась, ведь раз нужно идти в школу, то войны уже

1. Что теперь? (Нем.)

2. Подождите минутку (нем.).

нет. Он падет в августе через пять лет, при атаке на дом Шихта в составе подразделения, именуемого ротой, вооруженной тремя пистолетами и четырьмя десятками гранат, а у него не будет ни пистолета, ни гранаты, он укроется за стеной, а потом его застрелят, и о нем никто не вспомнит, такой будет его война.

А на другую стену другой юноша в кепке лепит плакат, намазывая его клейстером с помощью макловицы. Мягкая липкая щетина скользит по бумаге, лениво изгибаясь дугой, как бедра восточной танцовщицы. С плаката мэр города Стажинский призывает жителей сотрудничать со службой апровизации, противостоять спекуляции и чрезмерному росту цен, вопрос оный будет регулироваться законом, но добрая воля граждан и твердое мнение общественности многого смогут в области этой достичь.

Лишь беспременное выполнение обязанностей всеми обеспечит нам возвращение нормальных условий, восстановление столицы и повышение занятости в городе.

Ты с теплотой думаешь о президенте города Стажинском, никогда раньше о нем не думал, а сейчас думаешь, некоторые много говорили о его радиопередачах, но тебя не было тогда в Варшаве, а перед войной — ну какое тебе дело было до кем-то назначенного мэра, ни до каких мэров тебе никакого дела не было.

А сейчас, хоть ты и сделался немцем, тебе отчего-то лучше думается о Варшаве, Костичек, вот он здесь, проводит с немцами какую-то политику, управляет городом. Это хорошо. Хорошо, что он остался, не убежал, как прочая сволота.

И вдруг, как из-под земли, появляется она. Не было ее, а вдруг есть. Ига. В тонком светлом пальтеце, есть. Не было ее, а есть. Стоит тут. Не стояла, а стоит. С чемоданчиком в руке.

— Константин... — шепчет. — Прости меня.

— Пошли отсюда.

Берешь ее за руку, забираешь чемодан, говоришь, мол, Яцек ждет ее, хотя это не так, потому что если Яцек лежит на диване, глядя в потолок, то он ничего не ждет, ни Иги, ни кого-либо другого, в этом случае Яцека почти нет.

А Ига Ростаньская, маленькая, ясновласая Ига Ростаньская, жена твоего друга и твоя первая женщина, будто ужаленная предчувствием, спрашивает, он что, опять, мол... А ты не перечишь, нет охоты ей врать.

— Тогда я не хочу к нему. Прошу, не отводи меня к нему, не сегодня. Сегодня я не могу о нем печься. Буду печься о нем с завтрашнего дня, побрею его, искупаю его, займусь им, верну его к жизни, ко всему. Но не сегодня. Прошу тебя. Отведи меня к вам.

Молчишь. Она не знает, что Гели нет. А может, знает? Может, как-то иначе знает, чувствуя женским чутьем, что нет ее?

— Гели и Юрчика нет, — говоришь ты, а что ты, кстати, имеешь в виду, что хочешь этим сказать, Костичек?

Ига крепче прижимается к тебе.

— Отведи меня к себе, Костичек.

Должно быть, понимаешь, Костичек, что ей нужно после трех недель ареста. Тепло, покой, тьма и безмятежный сон. А может, ты думаешь, что это обещание совместной ночи, Костичек?

Ты не знаешь, что она повидала, а повидала она мало, никто ее не бил, никто ее не истязал, кое-кого истязали, она же просто сидела со случайными женщинами в женской камере, с одной проституткой и одной дамой, никто ее даже не ударил, ничего такого, она только ужасно боялась, ведь Ига не Дзидзя Рохацевич, Ига Ростаньская из иной категории женщин, Костичек, но тебе не понять, ведь ты, дурачок несчастный, вообще не различаешь женщин. Но ее потребности как-то понимаешь. Что сегодня могла бы не вынести Яцека в пижаме с тупым взглядом в потолок. Сегодня не могла бы вынести того, что нужна ему.

Итак, вы идете, Костичек, под руку, площадь Люблинской унии, Пулавская, дом из шоколада, октябрьское солнце, может, уже последнее в этом году, греет его стены, и они мягчают, и пахнут, и пятнают пальцы коричнево-сладко.

Да?

Стоите перед домом. Ты не знаешь, зачем остановился, но Ига покорно, медленно останавливается вслед за тобой.

— Почему тебя арестовали?

— Мы оказали сопротивление.

— Сопротивление?

— У нас реквизировали машину, а я не хотела отдавать. И арестовали.

— Тебя же могли застрелить.

— Могли.

Ты не отвечаешь. Ты боишься ответов, поэтому не отвечаешь.

— Пойдем наверх, — говоришь ты.

Вы поднимаетесь по лестнице, вверх, вверх, к дверям твоим, Ига не к месту в этой квартире, хотя и бывала в ней много раз.

— Я бы приняла ванну, — говорит она.

Ты проверяешь — горячая вода есть, отлично, ты льешь воду в ванну, запотевает зеркало, ты перебираешь косметику Гели и находишь какое-то средство, ванная комната полнится ароматом лаванды, Ига в это время сидит в гостиной, сложив руки на коленях, даже плащ еще не сняла, сидит, будто ждет чего-то.

Сама не знает, чего ждет, я заглядываю ей в голову и вижу, что сама не знает.

Ты выходишь из ванной, прошу, прошу тебя, Ига, вода готова, и она идет в ванную в плаще, закрывает за собой дверь, задвигает щеколду, что немного тебя коробит, правда, Костичек?

Ибо ты не понимаешь, как сильно может жаждать уединения тот, кто провел только что три недели в импровизированной камере на четверых.

Не понимаете, но принимаешь, правда?



В квартире очень тихо, Юрчика не слышно, никого не слышно, только слышно, как Ига раздевается за дверью ванной. Ты слышишь, как она входит в воду, слышишь, как она окунается в нее, и думаешь, вот она нагая, так воображаешь себе, ты же помнишь ее тело.

А между тем она вовсе не нагая, Костичек, в воду она окунулась в нижнем белье, такое оно у нее грязное, трусики и бюстгальтер она снимет лишь время спустя, когда ты покинешь квартиру.

А в тебе как раз дает ростки та мысль, Костичек. Тотчас же отнести Витковскому деньги. И, может, ты как-то услышал мои слова о том, что нынче нужно Иге, твоей первой любовнице Иге, Иге по цене украденных у Польши тысяч, Иге жене Яцека, Иге с картинок Саломеи.

— Ига, я выйду на полтора часа. Чувствуй себя как дома, — через дверь сказал я.

Та что-то муркнула в ответ.

Так что я надел пальто и пошел на площадь Спасителя, взяв портфель со слегка подточенным долларовым запасом, пошел, пошел быстрым шагом. Я пошел. Да.

Поднимаясь по лестнице в квартиру Лубеньской, я не знал, как сообщу Инженеру о моей дефraudации.

Ерунда, Костичек, ерунда, я-то ведь знала, я-то знаю, как сообщишь, и это знание пропустит та тонкая мембрана между нами, нечто вроде диффузии между мной и тобой, Костичек, как-нибудь все оно протечет, просочится. Не переживай, любовь моя.

Итак, тыходишь в квартиру Лубеньской и впервые встречаешь саму Лубеньскую, и единственное, что отмечаешь в своем мужском духе, это ее неженственность, ей все-таки пятьдесят пять лет, значит, для тебя она уже не женщина, так ты ее видишь.

Знал бы ты, сколько мне лет! Но ты не знаешь.

Знал бы ты, что в ее собственных глазах она все еще женщина, когда рассматривает себя в зеркале в ванной, когда моет свое тело, вполне еще неувядшее, она женщина. Знай ты это, может быть, и сам постиг бы в ней женщину? Но ты не знаешь.

А через восемнадцать лет Лубеньская состарится, ей будет семьдесят три и груз истории на плечах, добрый кусок этой истории будет также твоим, но возраст не спасет ее от страшной смерти: от двенадцати ударов ножом в старое, увядшее тело, и она не успеет подумать, но, будь у нее больше времени, то подумала бы, что это наиблизшая близость, в какую она вступала с мужчиной с момента последнего поцелуя.

А мужчина тот шепнет по-польски: “Сдохни, падло ношеное!”, шепнет это, левой рукой обнимая Лубеньскую за шею, его ладонь затыкает помертвевший от страха рот, ее дряблые ягодицы и спина уперты в могучие бедра и плоский живот, он шепнет эти слова в ухо в седых волосах и станет колоть поношенное тело Лубеньской кинжалом Ферберна-Сайкса, обоюдоострым, как язык Христа, очень красивый стилет, такой носили английские десантники в годы ва-

шей прошлой войны, и строгий клинок пронзит почки, селезенку, прорвет кишечник, рассечет матку, и тут мужчина ослабит любовные объятия и ношеное тело Лубеньской, тело герба Помян, тело в дырах, кроващее мертвой кровью, осядет на английскую землю, в английскую землю его зароят и английские черви его съедят.

Но это всё спустя восемнадцать лет, в 1957 году, Костичек, еще время зреть телам девочек, что рождаются сейчас, ты видел их в сентябре в роддоме, помнишь? Ты видел их эвакуацию в подвал. Что делали вы в роддоме? Ты уже не помнишь. Я помню, но неважно. Но ты помнишь, ты видел их у животов и грудей матерей в подземных коридорах, одетых в белое, равно белых, и впервые они влюбятся, когда дырявое тело Лубеньской начнет опадать на землю. А когда тело Лубеньской утонет в земле, то отдастся мужчине в первый раз одна из тех новорожденных девочек, которым сейчас, когда тыходишь в квартиру на площади Спасителя, исполнился месяц, а некоторым не исполнился, потому что они погибли под завалами. От голода или тяжести, когда стена плющила их маленькие тельца. Тела мальчиков тоже плющила, но я сейчас думаю лишь о тельцах этих новорожденных девочек и об их готовых принять мужчину телах, когда октябрьский воздух пронзит запах оттепели, и много будет речей о Гомулке и о свободе, и думаю о продырявленном теле Лубеньской, как повела его земля, в которой, распавшись, обращаются пикты, кельты, англы, саксы, норманны и тысячи других племен и народов, распавшихся в английской почве, и с ними вместе обращается Тереза Лубеньская, с пронзенной мечом головой быка в гербе, сама равно пронзенная обоюдоострым клинком, обращается в подземных реках, изливается источниками, испаряется в облака, конденсируется дождем и возвращается в землю. Круговорот, предстоящий всем вам.

А нынче она элегантно подает тебе руку. Война на дворе, пан позволит, я сама представлюсь, Тереза Лубеньская, подпоручик Лубеньская, Константин Виллеман, тоже подпоручик, девятый уланский полк, хотя не знаю, какие звания в организации, так что не знаю, какое нынче звание...

На эти слова бежит Витковский, хватается за голову, что же, что же, кричит он, дорогие, конспирация у нас, а вы тут фамилиями, как на посольском балу, так нельзя, что будет в случае провала, только позывные, то есть Пятьдесят Семь, а пани — Двенадцать.

— Пятьдесят Шесть, должно быть... — неуверенно говоришь ты, а Инженер глядит на тебя как на идиота.

Лубеньская улыбнулась, как умеют улыбаться одни аристократки, связав в улыбке участие, теплую насмешку и явную нотку пренебрежения к конспиративным бредням, к черту конспирацию, коли не позволено представляться.

Потом все изменится, Костичек, когда пойдут первые настоящие, то есть родные трупы, но покуда никто не верит ни в какие трупы, отсюда и пренебрежение.

— Удалось? — спросил Витковский.

— Да.

Протягиваю ему портфель.

— Я взял из него три тысячи долларов.

Ох, какая настала тишина, как очень-очень тихо сделалось, как лицо Лубеньской застыло, как обомлел Витковский, ища шутку, подвох, а когда объяснений не последовало, спросил наконец:

— Как это?

— Я взял, потому что должен был вытащить из немецкой кутузки Игу Ростанскую, о которой я говорил тебе раньше.

Специально во втором лице, раз мы должны тыкать, будем тыкать, будьте любезны, и этому подобает и надлежит усилить мою речь.

Мышцы Витковского задрожали на петлях челюстей, он искал слова, но нашла их Лубеньская.

Она еще не чуяла жаркого клинка, пронзающего ее плоть, клинка жаркого жаром мужского тела, ведь убийца нес этот обоюдоострый клинок под курткой, жар был жаром его тела, уже зрелого, но еще молодого, упругого, как из твердой резины.

Тот, кто принесет его через восемнадцать лет, сейчас французским захолустьем спешит в Лион, где сходятся польские летчики, спешит в Лион, питаясь состраданием людским. Тело подростка хило и не верит в свою едва возникшую силу. Но тело возрастет, напьется мощи тех, кого убьет, а убьет оно многих, сначала глазами, сросшимся с Mark XIV, бомбовым прицелом, а после указательным пальцем на спусковом крючке браунинга, а после, вдыхая запах их смертельного пота, ножом, стальной удавкой и ладонями.

Обоюдоострый клинок еще не выкован.

Так что Лубеньская еще не чуяла его, ее кожа не разошлась еще там, где разоидется под давлением стали. А поскольку она не чуяла лезвия, то нашла слова.

— Это неприлично... — вышепнула она жутчайшее из проклятий.

Как ненавижу я это “неприлично”, сколько раз я слышал это “неудобно”, “нельзя”, этот немой шантаж без конкретной угрозы. Так захотелось мне хлопнуть дверью, сказать: “а поцелуйте меня в жопу”, а затем пойти к моему серому другу в сером мундире с орлом на левом рукаве и рассказать ему все об этом собрании, однако же не пойду, потому что я поляк.

— Новый граф Завидовский... — добавляет она, якобы озабочена, якобы потрясена до черноты, но на устах у нее залп, окончивший жизнь графа Завидовского.

Я это помню, хорошо помню, весь сюжет, правда, тогда я еще не был взрослым, шестнадцать лет и великое, неудовлетворенное либидо, но я помню. Он присвоил сотни тысяч марок из армейской кассы, потратил на гулянки и лошадей.

Вердикт экспертов: психически здоров и понимает смысл своих поступков, склонен к псевдоаристократической мании величия, принявшей под влиянием алкоголя, морфия, кокаина и вредного ок-

ружения конкретные внешние формы нездоровых деяний крупного вельможи, швыряющего деньгами без стремления к личной наживе.

Так говорили о Завидовском, а я подумал, что наверняка он был дивным человеком, кадет Завидовский. Определенно имел столько женщин, сколько хотел.

А потом залп, гром, выстрел, точка. И правильно, на что кому-то еще что-то, лишь бы пожить немного по-настоящему, а потом — конец, Schluß...

Пора объяснять, Костичек, объясняй сейчас, прежде чем тебя выгонят или, скорее, застрелят после некоего судебного военно-подпольного ритуала, еще не снискавшего точно описанной литургии, она же грядет, с формулой “От имени Речи Посполитой” в качестве слов и замысла пресуществления, так что давай, объясняй. И дело не в словах, слова не имеют значения, ты должен лучиться истиной, силой и правотой, а я вдохновлю тебя.

Я объясняю. Спокойный голос, я уверен в себе, своих поступках и словах. Я должен был принять решение самостоятельно, время не ждало. Это ложь, но это не важно, важно, что ты подаешь это как правду, лишь это идет в зачет. Итак, пришлось принимать решение самостоятельно, время не стало бы ждать, и ты принял его, приняв во внимание не нечто личное, но доктора Яцека Ростаньского. В данный момент он погружен в апатию, никакой ценности для организации не представляя. Однако возвращение жены позволит ему из этой апатии вырваться. А Яцек, собранный и сильный, был бы более чем ценным активом для организации. Высокая квалификация, хирург, это главное. Если кого-то подстрелят, в больницу с ним нельзя, немцы, несомненно, станут контролировать больницы.

— Они уже шныряют в поисках скрывающихся офицеров, — заметил третий голос, голос Водителя, я его раньше не замечал. Сидел позади меня. Лапа, конечно, в кармане. Не знаю, держит ли ее там с самого начала или сунул туда, когда я сообщил о дефракдации.

Сунул, когда ты упомянул о растрате.

— Я знаю, что действовал против правил. Но как офицер, ввиду отсутствия каких-либо иных возможностей, я оценил ситуацию и проявил инициативу. Я кавалерист, нас так учили. Реагировать на перемену обстоятельств и принимать решения, — сказал я крепко, правдиво, убежденно. — Только в Советах офицер даже не пернет без приказа. У нас по-другому. Был только один шанс вытащить Ростаньскую из тюрьмы, поэтому я принял самостоятельное решение. Я не прячусь, я стою здесь перед вами, готовый понести всю ответственность, если мой командир... — тут я обратился прямо к Витковскому, — решит, что я действовал не должным образом.

Растаял ли лед на лице Лубеньской? Вижу, но не ручаюсь.

Витковский глядит на меня с надменной усмешкой, что-то в нем кипит, что-то зреет в нем. Жаркие, зоркие, злые глаза, круглое лицо, галстук меж кожаных лацканов куртки.

Глядит и молчит. А то, может, застрелят меня на месте?

Я это себе так представляю: Водитель вытаскивает из кармана мой стальной приговор, три выстрела, на мгновение все глохнет, оконные стекла вибрируют, а мое тело на полу, продырявленное, и замыкается моя жизнь, родился в Гливицах двенадцатого ноября 1909, трагически погиб девятнадцатого октября 1939 в Варшаве.

Но сегодня крепость, правда и убеждение за мной, я не боюсь этого взгляда. На этот раз я выиграю. Правда моя. Не рухнет мое продырявленное тело на скрипящий паркет. Не сегодня.

— Мы это проверим, — говорит он.

— Само собой, — говорю я без страха. Пускай проверяют.

— Стало быть, ладно. Считаю действие оправданным. — Одновременно со словами его лицо смягчается.

И я стою за тобой, Костичек, обнимаю тебя за плечи и стою за тобой, Костичек, и я думаю о том, как будет падать Витковский, продырявленный, и как люди в немецких мундирах приколют ему листок со словами “опаснейший польский бандит”, приколют к той самой кожаной куртке, к той, в которой он сейчас стоит перед вами.

— В таком случае ты должен привести этого Ростаньского. Как только встанет на ноги, — сказал Инженер, все еще без пулевых отверстий в своем большом, сильном теле.

А после он говорит, долго говорит о векторе будущего внедрения, о только что основанных им фирмах, в которые он вложит привлеченные мной деньги, долго, долго говорит, жестикулируя, говорит о разведке в Рейхе, которую я буду вести, и велит мне подыскать какую-нибудь достойную немца работу.

А соответствует ли принципам заговора то, что Лубеньской и Водителю известна моя немецкая идентичность, спрашиваю я себя и не могу себе ответить, поскольку мне не известен никакой заговор.

В конце концов я ухожу. Возвращаюсь домой, шоколадная лестница, мои ботинки проваливаются в шоколад, открываю дверь, холл, гостиная, пусто.

Вхожу в спальню. Ига в нашей супружеской постели. Голые руки торчат из-под одеяла, она спит, спит как сурок. Я прикрываю ее по шею, потому что в квартире довольно холодно, опять не топят. Она ограничивается чем-то невнятным.

А тебе хотелось бы, Костичек, раздеться и скользнуть под это одеяло, на бедрах и животе ощутить тепло ее кожи.

Мне хотелось бы скользнуть под это одеяло. Ощутить тепло ее тела. Но нет-нет, я уже не такой Костек, я уже кто-то другой, я офицер, муж своей жены, я этого не сделаю. Поэтому я сажусь на стул и смотрю, как спит Ига, моя первая женщина, как спит нагая в моей постели, в моей и Гели, но на моем месте, с моей стороны. И я себе думаю, что буду так сидеть и смотреть на нее, пока не проснется.

Но глупо так сидеть, когда член взведен, глупо сидеть рядом с нагой женщиной под собственным моим пуховым одеялом.

А ты не ложишься с ней, Костичек, оттого, что ты такой сильный и так владеешь собой? Или, может, некоторая толика твоего

тупого ума подсказывает тебе, что будешь изгнан, что, должно быть, последнее, чем Ига хотела бы сейчас заняться, это физическая любовь. А отказа ты бы не перенес, правда, Костичек?

Поэтому иду в гостиную, слоняюсь по пустой квартире, слонялся.

Брожу в пустой квартире, бродил. Ища кого, что? Гелю? Юрчика? Игу? Нежность? Себя самого.

Долго стоял в ванной, Ига вылизала ее за собой до блеска, итак, я долго стоял в ванной, смотрел в зеркало на свое лицо, подбородок, трехдневную щетину на лице, потому как где же мне было бриться, итак, я быстро выкупался, а затем по порядку, крем втирать, пену пенить, щетину скрести.

Я надел свежую рубашку, сменил костюм на серый фланелевый. Ига спала дальше. Решил позвонить Геле. Аппарат ее родителей работал, трубку взял мой эндецкий тесть.

— День добрый. Константин говорит. Могу я поговорить с Гелей?

— Падаль, — зашипел он. — Мерзавец. Мандавошка. Только попробуй еще...

Я повесил трубку. Набрал матери, но ее телефон не работал. Взял с полки книгу, но читать был не в состоянии, бросил на стол. Съесть бы чего-нибудь. Ревизовал кладовку — пусто. Надо сходить за какой-нибудь едой, но я больше не хотел оставлять ее одну.

Пошлялся еще по квартире, посмотрел наконец на Игу.

Она встает при виде меня, словно разбудил ее мой взгляд, самто я был бесшумен. На ней ночная рубашка Гели, она кутается в халат Гели, идет к окну Гели, за окном черная Варшава.

— Возьми меня куда-нибудь, — говорит она, продолжая глядеть в черноту.

— Куда? — спрашиваю простодушно.

Ига поворачивается ко мне, глаза горят.

— Не знаю. Куда-нибудь, где есть алкоголь и музыка. Возьми меня туда сегодня, этой ночью, а утром я уйду и займусь Яцеком. Буду хорошей женой.

И что, боишься теперь, Костичек, правда, боишься? Боишься. Хочешь ее и боишься. Как если бы ты не должен был хотеть ее, но хочешь всех женщин мира, Костичек, дурной блядун. Чтобы сказали тебе, подтвердили, что ты все-таки мужчина. А с Игой вяжут тебя еще те узы, что усиливают твое универсальное желание, делают почти неодолимым...

Черные столпы ваших тел, черные столпы из темной материи, текущей под кожей истории, сомкнуты, спаяны.

Стоите сейчас друг против друга, давние любовники, в пустой квартире, снаружи немцы, а между вами нет ничего, единственно вопрос, как сегодня между вами будет.

Разве не обязан я просто отнести ее к Яцеку, вот где ей место. Но с Яцеком ничего не случится, он доживет до завтра, непременно доживет до завтра, а ей что-то причитается ведь после трех недель кутузки.

— Я позвоню ему, — говорю я.

Иду в кабинет, где есть телефон. Он поднимает трубку далеко не сразу.

— Яцек, Костек говорит. Ига уже свободна.

— Хм-м.

— Я позаботился о ней, всё в порядке, только устала очень. Но все будет хорошо, завтра она уже будет дома. Хорошо?

— Да.

Обратно в гостиную, вхожу, Ига полуобнажена, в одном белье, Ига раскатывает шелковый чулок на ноге, чемодан раскрыт на кровати, Ига пристегивает чулок к поясу, я помню ее тело, не могу оторвать глаз, Ига смотрит на меня через плечо, спину и бедра. Я смущен и отступаю.

— Извини... — бросаю сквозь стену.

— Ничего такого, чего бы ты не видел.

Через некоторое время вышла, уже одета, в зеленом платье. Не вечернее платье, но изысканное, ниже колен, на талии стянуто, рукава немного буф, как и полагалось носить предвоенным летом.

— Он был рад, очень, — говорю. Она не верит.

Конечно, она не поверила, Костичек, она же не идиотка, она же знает его в таком состоянии, знает, как это выглядит, ничто не способно его обрадовать, равно как, в общем-то, опечалить, ибо бездна отчаяния не есть печаль, только абсолютное безразличие.

Тебе знакомы эти черные пропасти, Костичек? Знакомы же. Ты упал в них иначе, не так, как твой друг, но знаешь же, знаешь, на что похоже, когда сжимает глазные яблоки чернота, когда залезает под веки и заползает в мозг, внутрь, обессиливая, как абсолютный наркотик, как максимально концентрированный морфин.

Ведь от этого мрака спасался ты бутылочками, полными счастья, добра и радуги.

— Ну, пошли куда-нибудь, — сказала Ига.

— Девушка, идет война... — ответил ты, словно забыв о том, что Ига не позволяла тебе называть ее “девушкой”. Никогда. “Я женщина”, — говорила она с того момента, как вы переспали. А до того ты не позволил бы себе такую фамильярность.

Она слабо улыбнулась.

— Пожалуйста, Костек. Придумай что-то. Я хочу пить и танцевать.

И что же ты можешь сейчас, что ж ты можешь сделать, Костек? Ты знаешь, что.

Я знаю, что могу сделать. Могу взять ее и пойти к Саломее, на Добрую улицу, даже не входить в эту паскудную квартиру, только спросить мою сладкую шлюшку, где сейчас в столице можно пить и танцевать. А Саломея будет это знать, она знает такие вещи, она всегда знает такие вещи.

Может, есть уже где-то такие места, куда немец мог бы зайти с женщиной, выпить и потанцевать. Как-никак, три недели с лихвой

после капитуляции. Как-никак, немецкий офицер, немецкий офицер-победитель должен где-то выпить шнапса или вина, пощупать девок, пообнимать, потанцевать и поебстись. Ради этого он как-никак победил, ради этого солдат на самом деле бьется, идя в атаку, обороняясь же, он бьется ради чего-то иного.

Но ты боишься пойти к Саломее, правда? Боишься. Ты не забыл.

Боюсь ехать к Саломее, там ждет моя бутылочка. Полная красок. А ведь я тоскую по ней все больше, по моей бутылочке. И даже если моя сладкая, белая шлюха бутылочку эту оприходовала, она безусловно может пойти за другой, а у меня есть деньги, у меня есть деньги Яцека, у меня есть свои, могу купить.

Кружит надо мной, за мной вьется, уже неделя м-трезвости. Уже неделя, Костичек, а ты не перестаешь думать, что справишься.

Я справлюсь.

Или, может, тебе до лампочки? Или, может, мне до лампочки?

Так что, пойдем к моей сладкой курве, я и первая моя любовница?.. Пойдете, ты же знаешь, не сумеешь отказать, ни в чем не сумеешь отказать.

Я должен иметь при себе пистолет. Но не имею. Не идти же сейчас к Витковскому, не требовать свой пистолет. А к сестрам-назаретанкам...

Ты тоже не пойдешь. Ты даже поляком не пошел бы, иначе они приняли бы тебя за безумца.

Ну что, Костичек, допетрил?..

Вдруг мне приходит в голову нечто. Нечто жуткое.

А именно, когда до монастыря дойдет весть, что я стал немцем, охватит сестер смертный ужас. Начнут бояться ареста, сами побегут отрывать ящик, чтобы везти куда-то. А если ничего не случится, моя немецкая легенда может дать трещину. Что ж это за немец, в конце сентября зарывал оружие, а нынче что, стал немцем и молчит?..

А разве ж хотел бы ты, правду говоря, чтобы твоя немецкая легенда дала трещину?.. Ведь сама собой до немцев эта история дойти не может и не дойдет. До немцев эта история дойти не может и не дойдет. Но стоп, кто знает?.. Они рано или поздно могут кого-то схватить, заточить и сломать, и этот кто-то скажет, мол, некий подпоручик Виллеман зарыл оружие у назаретанок. А они тогда, то есть мы тогда, или все-таки они проверят — да, есть такой, Константин Виллеман, стал рейхсдойче.

А почему не рассказал про оружие? И пиши пропало. Или не пиши.

И как быть?.. Сказать Инженеру как можно скорее, пусть сам разбирается.

Но это не по телефону. И я с Игой я к Лубеньской не пойду, точно нет. Так что нет. Подождет до завтра.

— Костек?.. — Ига глядит на меня выжидающе.

— Идем, ладно, идем... поищем что-нибудь.

Я посмотрел на часы, было пять. Мы вышли из шоколадного дома, он лип к обуви, а лип ли он к обуви? Или это я с головой влип,



прости Господи. На Пулавской нам удалось поймать рикшу с тачкой, в которой мы, неловко сидя на корточках, судорожно цеплялись за поручни.

Едут на улицу Добрую, едут.

Константин, держась за металлическую скобу импровизированного рикши, думает о том, как выглядят немец и полячка, едучи на рикше по улице.

А пуще он, дурачина, думает о том, сколь драматична его жизнь, разрывающаяся между польскостью и немецкостью, ох, как жутко в этом мире полярных, тотальных национальностей разрываться между немецким отцом и польской матерью, теперь уже не польской, как жутко иметь два Muttersprache, два сердца в одной груди, как трудно быть поляком, когда ты немец по крови и по рождению, вот же каторга!

А родина, думает себе мой дурной Костичек, которую он избрал, Родина с большой буквы “Р”, подвергает его труднейшим испытаниям, как в рыцарском романе, веля во имя любви публично эту любовь отринуть, сносить поношения и унижения, выдавать себя за того, кого она ненавидит всего сильнее, всё ради ее блага, ради высшего блага. Что за дела, Костичек, правда?

Любовь моя, дурной Костичек милый мой, наслаждается своим таким трагическим надрывом, такой дивной одухотворенностью в этой трагедии, два сердца, две души, хотя выбирает-то лишь одно, другое он выдирает из груди, к черту, нет другого.

Костичек воображает себе, насколько легче было бы ему в мире, где не родились еще актуальные национальности и актуальные национализмы, в мире до Французской революции, вот о чем он сейчас думает, дурень, словно пугаясь мысли о надвигающейся катастрофе, не желает думать о том, куда они стремятся в тачке, приводимой в движение еврейскими мускулами, даже Костичку неизвестно, что юноша, крутящий педали, это еврей, они пока не носят звезд на рукаве, еще не пробил час. Час неминуемо пробьет, мои стеклянистые глаза уже видят эту повязку, но пока не пробил.

Но где-то в глубине, под дурными мыслями о поляках и немцах, знает Костичек, что с каждым оборотом педалей они приближаются к жилищу его жуткой, сладкой курвы Саломеи, к бутылочке добра и счастья, и знает, что не устоит, но верит, что устоит.

Тихохонько так верит, ведь милее ему упиваться мыслями о собственном трагизме. Как будто чернота, зияющая между ним и миром, виновна в наличии национальностей и его разорванностью меж ними.

Как будто в блядстве его повинно существование полов.

Дурень Костичек ищет источники боли, дурень Костичек не понимает, что чернота сама по себе, а то, в чем он винит гуртом поляков и немцев, это обычная человечность. Костек тонет в черноте, будучи человеком.

Я это хорошо знаю, ведь я не человек.

Я сама чернота.

Из меня родятся черные боги, от меня плещут океаны отчаяния, это я пригнетаю Яцек Ростаньского к его дивану.

Кто же третий, что вечно идет подле тебя?

Откуда такая мысль, нас ведь двое, я и Ига, может, мальчик, что жмет на педали?..

Стоит мне перечесть, нас лишь двое, ты и я. А стоит глянуть вперед в белизну дороги, там вечно кто-то другой, идущий подле тебя. Легконогий, в буром плаще с капюшоном. Мне не ведомо, он женщина или мужчина. Так кто же он, по той стороне от тебя?

Чьи это слова, того поэта, чье имя ты забыл, Костичек, это его слова, ты прочел их на другом языке, но это его слова, а звучат в твоей голове оттого, что это я их произношу.

Так это я пригнетаю Яцек Ростаньского к его дивану? Вряд ли я, я только иду за Костичком, сопровождаю его, прибываю из той черноты и хорошо знаю, что ничего, кроме черноты, нету, и знаю, что и Костичек милый мой однажды это поймет. Настанет час.

А сейчас я храню его черными своими крылами, хоть перья мои серы.

Я городской воробей.

Я пою: шанти, шанти, шанти. Так говорила тебе мать, а ты позабыл.

Костичек, дурашка, когда б ты только знал, насколько неважны твои польскости, и немецкости, и половые принадлежности, насколько неважны твои достоинства, и чести, и ценность реальная и номинальная... Какую свободу ты бы обрел, как высоко, далеко бы взлетел, дальше и выше, чем в малейшей даже тени национальной зависимости...

Как это плохо и как хорошо, Костичек, что ты не можешь слышать меня, что одно лишь эхо моего голоса проникает в некие зоны под твоим черепом, в которых ты берешь начало, черные капли меня тают где-то там, где ты родишься, Костичек, где родишься ТЫ, на каждом отрезке каждой секунды, и оттого я есть ты, Костичек.

Сейчас, когда ты с Игой на рикше едешь на улицу Добрую, обожаемую, сладкую. И сейчас, когда вы слезаете перед каменицей 52.

И сейчас, когда вы взбираетесь по лестнице. Я пою: шанти, шанти, шанти. Чик-чик-чирик.

Ига не задает вопросов, Ига присматривается к Варшаве с удивлением, Варшавы новой она не понимала, так что ее не удивляет, что вы взбираетесь по ветхой, скрипучей лестнице в паскудную квартиру на Повисле.

И ты наконец встаешь перед этой дверью и боишься, Костичек.

Боюсь. Боюсь того, как взглянет на меня Саломея, когда увидит, что я явился к ней в сопровождении женщины. Мало того — в сопровождении дамы. Саломея отличает даму без труда, ее глаз наметан, взгляд беспощаден.

Боюсь бутылочки добра и счастья. В дверь не стучу.

— Это здесь? — спрашивает Ига.

И прежде чем я успею ответить, помешать ей, предупредить — ведь знает она, что здесь, раз уж встали мы пред этой дверью, — она стучит, стучит, стучит.

Паника, теперь точно все пропало, теперь мне не убежать, по меньшей мере стыд не даст мне убежать, теперь мы должны войти.

И Саломея открывает дверь, открывает дверь, открывает дверь.

Вербигерация абоминация душ мозга вибрация группы трупы, паника, я наизнанку выворачиваюсь, истерия индустрия жизни, холодно-зол ее взор в пустоте.

Смотрит.

— Мы можем войти? — спрашивает Ига.

— Прощу, — вежливо отвечает моя сладкая курва, у меня трясутся руки, я потею, пот по спине ручьями, через пару секунд чувствую, что мои кальсоны мокры и рубашка тоже.

Мы входим. Садимся за стол. На полу всё еще следы моей крови. На моем лице всё еще следы Каэтана Тумановича.

Мне хочется сказать Саломее, что я его убил. Ну так скажи ей, дурной Костичек.

— Я убил его, — говорю я и внезапно вздрагиваю, Ига ведь слышит. Саломея глядит на меня зраком крутым и холодным, будто не она.

— Кого?

— Тумановича.

Ига дрожит. Саломея улыбнулась, лед в ее глазах тает, согревается. Верит мне. Она опять моя добрая, сладкая курва, которая за кровь Тумановича простит мне даже то, что я пришел в ее квартиру с дамой.

— Я знакома с пани, — говорит Саломея.

Ига дрожит, но склоняется в подтверждение. Знаешь меня, курва. Картинки, в папке картинки, вакханалия.

— Мы хотим выпить, потанцевать... — говорю невпопад.

— Деньги у тебя есть? — спрашивает Саломея.

— Я немец, — говорю невпопад. — Стал немцем.

— Bravo, — смеется моя сладкая курва. — Деньги есть?

Ига ничего не понимает.

— Каким... немцем?.. — спрашивает она.

Что ж мне, объяснять, конспирация, деконспирация, дегенерация, коллаборация.

— Потом объясню, — говорю я. Иге довольно, для Иги важны мужчины, женщины и дети, а не поляки и немцы, Ига не обращает внимания на политику, Ига вправду женщина.

— Ну так есть у тебя деньги или нет?.. — допытывается Саломея. Есть у меня деньги?

Костичек, самое время признаться себе самому, не правда ли? В твоём кармане, в конце-то концов, лежит тысяча долларов. Немцу

на Шуха ты дал две, заявил о трех. Ты о чем думал тогда? Ни о чем ты не думал, с чего бы тебе думать о чем-то, ты сделал то, что сделал, а я шептала, что тебе причитается, за те деньги, что пойдут на Игу, ты не слышал моего шепота, но слышал тембр моего голоса, ты слышал.

— Есть, — ответил я.

Ну, есть у меня деньги. Тысяча долларов есть. Есть, что ж теперь. Причиталось мне, не могу я быть безденежным, нет ничего хуже, чем безденежное бессилие.

Саломея стала вдруг мягка, тепла, сладка, как карамель, течет карамелью неспешно.

Ее мягкие белые лапки вокруг моей шеи, я отпихиваю ее, ищу взгляда Иги, ожидая увидеть в нем презрение и гадливость, а нахожу всего лишь конфуз, смущение, смущение в том роде, как если бы это она у меня на глазах льнула к какому-нибудь хахалю.

— Коли есть деньги... То идем. Я вызову машину.

Я остолбенел.

— У тебя в квартире телефон? Раньше не было.

— А как же. Тяжко без телефона.

— Но кто его тебе провел, сейчас? — почти крикнул я. Она улыбнулась.

— Ты ведь тоже справляешься, Костичек, разве ж нет?

Это не поддавалось моему осмыслению. Сейчас.

— Иди ты... знаешь что, — сказал мой рот, сказал мой голос, я не говорил. Кивнула, затем подошла к телефону и заговорила с трубкой по-русски.

Ига встала в дверях, смущенная, ошеломленная.

— Ига, я... — начал было я, слаб, несмел, несчастен, гнусен.

— Мне все равно, Костичек. Все равно, — сказала она. И запечатала поцелуем мой рот.

Именно — запечатала. Этот поцелуй не был любовным. Хотя и был поцелуем в рот, это был поцелуй, что не раскрывал губ, но склеивал их одну с другой и друг с другом. И когда она запечатала мои губы, то ее губы не оторвались от моих тотчас, но оставались с ними так долго, что Саломея успела вернуться и застать соприкосновение наших губ.

Она захлопала в ладоши и зашлась смехом.

Ты ее боишься, Костичек, ее очень боишься.

— Я только переоденусь и поедем. Машина вот-вот будет.

И скрылась за дверью. Мы с Игой остались стоять в неловком молчании, мои глаза бежали ее взгляда.

— Костичек, не соблаговолишь ли прийти, застегнуть мне платье, — сказал блядский голос жуткой Саломеи из-за двери спальни, где я столько раз смаковал ее белое сучье тело.

И что ж ты ответишь, хватит ли тебе воли отказать? Ты вспыхнул, хотел бы провалиться на глазах у Иги, а Ига отворачивается, не то с отвращением, не то со стыдом.

Идешь.

В спальне Саломея совсем голая, спиной к тебе. Посматривает через плечо.

— Может, чуточку пошалить перед выходом, а, Костичек? Ты бы пошалил со мной? Можешь пригласить подругу, мы знакомы.

Она подходит, одной рукой обнимает тебя за шею, другая ее ладонь ведет твою ладонь во влажную промежность.

— Хватит, — сказал мой рот, сказал моим голосом.

А моя рука ударила Саломею по лицу, опять, опять я дал ей пощечину, моей злой, гнусной Саломее я дал по лицу. Не слишком сильно. Засмеялась, потрогала щеку.

— Когда-нибудь я убью тебя за это, Костичек, — прошептала она сладким голосом и бросила сладкий взгляд.

И быстро оделась, я помог застегнуть платье, мы вышли и встали на улице Доброй, а там нас уже ждал белый Adler Diplomat. Мы уселись втроем на заднем сиденье. За рулем сидел очень худой мужчина в одеянии, напоминавшем потрепанную гостиничную ливрею цвета давно выцветшего бордо. И фуражка шофера, круглая, как у шеволежера.

— В Адрию, — скомандовала Саломея.

— В Адрию? — удивился я. — Я думал о каком-нибудь другом месте...

О другом? Слишком долго и много в Адрии, правда, Костичек, тебя там знают официанты, а нынче ты должен войти туда как немец, как иуда должен туда войти.

— Там теперь nur für Deutsche. Что, разумеется, не относится к дамам, — объяснила Саломея, кладя руку мне на колено.

Шофер с шиком промчал по Доброй, свернул на Тамку, обычная кутерьма среди особняков ее и доходных домов, Консерватория, сброд шустрит, подумал ты, Костичек, подумал из-за окон адлера, мол, шустрит сброд, так ты подумал.

Сброд шустрит — подумал я.

Слева за каменичками пугалом сгоревший купол цирка на Ордынацкой улице, и на Ордынацкую съехали мы, проскочивши Коперника, на углу Ордынацкой и Нового Свята выгоревшая каменица...

— Halt! — заорал я. — Стой!

Ига вздрогнула при звуке немецкого слова, но я не обратил внимания. Выскакиваю из машины. Ешь. Выскакиваешь из машины. Ю. Выскочил, мусор уже расчищен, мостовая расчищена еврейскими руками и лопатами, расчищали евреи, присматривал за ними ефрейтор, пожилой и толстый, со старым ружьем, оттягивавшим ему плечо, мостовая расчищена, мостовая изранена, мостовая дырява. Я подбегаю, ты подбегаешь к дому, дыры выжжены в окнах, ни следа от рам, от коробок оконных, стены в саже.

На стене кровь. Течет из окон, как бы из ран, ран в боку христовом, как из глазниц, глаз лишенных, кровь по закопченной штукатурке, по кирпичам течет, я трогаю, трогаешь, трогаю их руками, и руки мои измазаны, твои, измазаны твои руки. Люди идут, прохо-

дят, человек в длинном пальто, женщина с коляской, полной медных горшков и кастрюль, поляк, еврей, немец, Бог знает, я знаю, кто, ты не знаешь, я не знаю, кровь мажет мне руки, мажет, мой Бог, черные боги нависли над городом, как гнутые ветром тополи при дороге, темный холод ледяной мрак богов кровь плывет из выжженных окон угловой каменицы, бо по Новому Святу, 16 по Ордынацкой, кровь у тебя на руках нет крови у тебя на руках нет.

Шофер и Саломея деликатно ловят тебя за локти, поднимают с четверенок, Саломея радушно отряхает твои колени от пыли улиц, Костичек, заботлива твоя маленькая сладкая шлюшка, добра та злая шлюшка с улицы Добрай, Саломея, окна выгорели, Саломея.

Вербигерация дегенерация интерес нации. Стены крашены сангиной.

— Константин, что с тобой?

Голос Иги, голос Иги. Ига.

— Костек, Костичек... — шепчет Ига, ее рука на твоей, на моей щеке ее рука.

И возвращаешься возвращаюсь возвращаешься возвращаюсь.

Я очухался, стою на улице, люди всматриваются в меня с умеренным интересом и умеренным удивлением.

— Я исцелю тебя, Костичек, скоро тебя исцелю. А теперь едем, прекрасный мой.

Кто это говорит, это Саломея говорит? Кто это говорит? Это говорит Ига?

Я это говорю, Костичек.

— Я говорю, — сообщаю.

Итак, едем, Варецкая, Главпочтамт, площадь Наполеона, Пруденшал, люди ходят серо-коричневые, за домом Гольдстанда орел наш сворачивает на Монюшко, взвизг шин, костел имени Jezus, что такое Езус, оно висит тут или это Езус взросло из земли, носившей многие имена, орел ложится на крыло, чтобы втиснуться между каменицами и сожженной окровавленной филармонией, перьями кровавые стены метет, но втиснулся, клюв раскрыт, язык рептилии розовеет в том клюве, тормозим перед Адрией встал перед Адрией адлер Адрия адлер Адрия Адриатика.

Костичек!

Я выхожу, шины белы на кровавой мостовой, в лужах крови шины кровавы, кровь течет из окон филармонии, свисают синие гирлянды великанских кишок, их кровь из окон.

Выхожу, шатаюсь, выхожу, выходишь, Костичек, держись, Костичек, справишься, Костичек, приди в себя, Костичек.

Я плачу шоферу, щедро плачу, обильно плачу, плачу в долларах.

Леворучь от меня Ига, праворучь Саломея, с полей шляпы свисают сосульки, сопли густеющей крови, свисают, Костичек? Не свисают. Вступаем в Адрию. Кафе наверху нам не личит, американский бар не личит, предъявляю die Kennkarte und mein Wiener

Deutsch<sup>1</sup>, мы сходим по лестнице к дансингам, к жирандолям, Ига леворучь, Саломея праворучь, вцепились в шерсть моего пиджака, мы сходим в укромную ложу, любезно нам указанную, доллар американский указывает нам путь, in God we trust.

Садимся вокруг столика стеклянного, еще рано, еще пусто, оркестра нет, музыка льется с граммофонных пластинок, американская льется музыка, саксофон и контрабас из динамиков льются, и заказываем водку, и подают ее, синюю от мороза, и заказываем к водке паприкаш из говядины, горячий и обжигающий сильнее водки, Саломея же достает из сумочки бутылочку счастья и радуги и шприц златогардый и иглу номер 19, славься ты, Саломея, моя златопиздая курва, добрая и прекрасная!

И это мне только кажется, что по стенам ползет линия крови, приливает кровь? Паприкаш кроваво-красен.

Все тебе кажется, Костичек. Волновидная линия крови кажется, Адрия кажется, Ига тебе кажется и Саломея, и Варшава, и вся твоя жизнь от Катовиц и до Грудзэндза и Теребовли и шоколадного дома, и Варшавы, и мать твоя тебе кажется, любимый мой, и тело твое кажется тебе. Все это мираж, Костичек.

Ты сам мираж, только я настоящая, так что, быть может, вы только мой мираж? Может, это я вижу тебя во сне, любовь моя, может, ты мой кошмар, сон тени, сон третьего или третьей, идущего или идущей белой дорогой двоих?

А я кто же, Костичек, кто?

Я тень, как и все остальное, тень тени в мире теней. Круги на воде. Дыхание ветра. Холод.

Мы пьем шампанское, настоящее шампанское, среди золота и пузырьков плавают, как планктон, мелкие чешуйки дрожжей, и зорким от кокаина глазом ты видишь одну из них, Костичек, в танце вьется она и кружит к поверхности, ее сбивают воздушные шары, идущие вверх, золото рекой, шампанское в ваши глотки и да, да, белые снега кокаина, Ига не отказывается, и очи сияют у них, у женщин, с которыми ты пришел, сияют их очи от кокаинового возбуждения, и музыка, и другие люди в мундирах и в костюмах, и рекой немцы, и их дамы, и их бляди польские и любые, каких только носит варшавская улица, и оркестр в белых смокингах рекой, как будто это вертиго и шампанское кружат на танцполе океанского лайнера в тропиках, а не в октябрьской Варшаве, и вы тоже кружите, Костичек, но твой белый смокинг в шкафу, ты мог бы надеть его, думаешь ты, но нет, не в октябре белый пиджак не в октябре может в июле но не в октябре в октябре лишь черный, черный, атлас лацканов, атлас лампасов, кружит дансинг, Адрия, Адрия только для немцев, голубая адриатическая вода, Ига в твоих объятиях,

1. Kennkarte и мой венский немецкий (нем.).

рот ее открыт, вы кружите вместе с фортепьяно и барабанами, Костичек.

И знаешь уже, ты знаешь, что бутылочка ждет тебя, куда ж там кокаиновому кейфу, куда ж там шампанскому, златогардый шприц и укромная ложа, и, пока Саломея готовит жидкое счастье, ты обращаешься к Иге:

— Я видел фотографии... У Саломеи видел.

А Ига улыбается. И нету в ней стыда. Ни капли. Неужто из-за шампанского с кокаином нет в ней стыда? А разве что возбужденный румянец?

Нету в ней стыда, потому что стыдиться она разучилась, Костичек, за этим она и отправилась туда, в усадьбу под Кобриним, позволила содрать с себя платье, и впервые ее оглядывали глаза, отличные от твоих и твоего Яцека, Яцек всегда смотрел на нее твоими глазами, Костичек, того ты не знал, дурачок, и не знаешь, ибо дурной, а я знаю, потому что я мудра, мудра и многострадальна. Страдания мою мудрость делают безграничной.

Так что дала она себя оглядывать глазам других, дала себя трогать рукам других, она слушала дурные речи, целью которых было выдать эту оргию безнаказанных соитий за нечто большее, чем она в самом деле была, седой козлородый дурак бредил о менадах, о дионисиях и о вызволяющей от злых флюидов силе плоти.

А увидь хоть раз сей набитый ученой дурью баран настоящие дионисии, в которых мы касались пальцев на ногах черных богов, в которых мы сходили в мир, в которых лона наши и чрева наши рождали новый мир, рты наши пожирали старый мир, а черные боги ходили меж нас и касались наших тел, Костичек, увидь оный дурак такие дионисии, он бы умер от страха, он умер бы, ибо, возможно, понял бы, что такое черные боги, Титаны, и как пресмыкаемся мы между столпами их ног.

Но таких дионисий он не видел, он лишь хотел видеть много нагих женских тел, не девушек хотел изучать, не профессиональных шлюх, а тела жен и матерей, обнаженные пред ним и пред другими, кто инвестировал в эти игры, Костичек, а чтобы тех дурных матерей и жен заманить в усадьбу под Кобриним, он должен был дать им то, чего они сами жаждали. Одни желали просто встать голышом пред чужими мужчинами, облепленные их глазами, пальцами и семенем, но было их немного, больше было таких, что хотели придать больший смысл своей пустой жизни, тающей между детьми, слугами, домом, открытым по четвергам или по понедельникам, между чаепитиями у господ таких-то либо иных, между карнавалами, между необъявленными визитами и балами дебютанток, куда они вывозили своих взрослеющих дочерей.

Эти матери и жены охотно шли на то, чтобы их раздевали, щупали как зверушек, обращались с ними как с вещами и как с вещами совокуплялись, если это сопровождалось верой, что они испытывают нечто важное, что эти оргии, бичевание и танцы по образцу



античных фресок придают их жизни какой-то смысл, что если не выслушают те бредни о духе и материи, если не уверуют в неумные обмывки теософии, в поиски сексуальных чакр, если в вызволение не уверуют, то пропадут, истаяв в своих детях, в жизни внешней и дружеской, сгинут, будучи закопаны, в могилах и истают в земле, и не останется от них ничего, даже тени, ничьей памяти, исчезнут даже с фотографий.

И ошибались, конечно, и все поисчезали, как исчезнешь ты, Костичек, как исчезнет Ига, и Саломея исчезнет, не оставив даже тени, круги на воде, дуновение ветра, пустые ракушки, только камень и безводная песчаная дорога.

И как по-разному исчезали, пережив войну либо не пережив, от огня либо от пули либо от рака, умирали счастливыми или несчастными, состоявшись в собственных глазах или не состоявшись, довольными или вплоть до печального конца неудовлетворенными.

Печального, ибо каждый конец печален, или, скорее, суть печали как раз таки конец и брэнность.

И я не брэнна, не прехожу, я — тень, я, твоя маленькая метресса, вечное ничто, я, идущая за тобой, тень тени.

Двадцать было их там, этих женщин, разных: брюнетки, блондинки, толстые и худые, одни с огромными, тяжелыми выменами, другие с мелкими девичьими грудками, все они еще прелестны прелестью зрелых женщин, и делали, что им велели: пели песни на немелом, школьном греческом, раздевались, поклонялись члену седобородого болвана и называли его Паном Приапом, рвали на части козла, а козла разорвать непросто, вот и помогали себе ножами, а козел был убит ранее, Пан Приап боялся, что сами они не сумеют его убить, и пили козлиную кровь, и даже умудрялись внушить себе, что творят это в экстазе, помогало вино, щедро рассыпаемый кокаин и то, что себе легче всего поддаешься.

Таких было больше всего.

Кроме тех были еще двое, они просто хотели звериного соития, соития, в котором не было бы и намек на близость, такого соития, какого не могли испытать с вялым мужем или нежным молодым любовником, и такие звериные соития в усадьбе под Кобриним им были гарантированы, однако, заполняя полости своего тела мужчинами, заполняли ли они пустоту в себе, ведь этого жуткого соития желая, они хотели, чтобы кто-нибудь заполнил прежде всего их души, они хотели быть по-звериному желанны, хотели влечь neodolimым магнитом, как волчица в течке влечет матерого волка, так хотели влечь, но не влекли. Пустота осталась незаполненной.

Ибо проклятие ваше, Костичек, подлинное изгнание из рая, заключается в том, что полную, космическую звериность отняли у вас навсегда, оставив импульсы и инстинкты.

И по странному стечению обстоятельств ни одна из тех двух алкавших звериности женщин не переживет войну, по странному стечению обстоятельств обе умрут в сентябре 1944 года, мирные,

тихие жертвы физики, химии и истории, заваленные обломками домов, падающих под артобстрелом.

Ты сказал бы, Костичек: по странному стечению обстоятельств. А знаешь ли, мой милый, что нет ни странностей, ни стечений обстоятельств, мир есть хаос, обстоятельства не стекаются, но текут бок о бок, будучи совершенно безразличными, как безразличны по отношению друг к другу звезды и камни?

В усадьбе под Кобрином было еще четыре женщины, которым их присутствие оплатили: Саломея и три ее товарки.

Ига в свою очередь хотела избавиться от стыда, Костичек, и говорит тебе сейчас об этом, говорит тебе, как хотела выставить на потеху гнусным взглядам то, что прятала до сих пор глубже всего, то, что было у нее лишь для тебя и для Яцека. Вы двое были для нее одним целым, ее единственным мужчиной, единым в двух телах, оттого она тебя никогда не ревновала — обладая Яцеком, она обладала и тобой.

Она избавилась от стыда, возненавидела себя самоё, мужчин и сырое мясо.

И об этом она говорит тебе сейчас, Костичек.

Говорит также и о том, зачем она это сделала, зачем...

И любо тебе начало этой истории, она сделала то, что сделала, желая смыть с себя унижение, которому подверг ее Яцек.

— Яцек меня предал, — шепчет Ига под кейфом.

А это значит, что ее общий мужчина распался, вас неожиданно двое, отдельный мужчина ты и отдельный мужчина Яцек.

Как же тебе это любо, Костичек, как же это радует твоё блядовитое, наркоманское сердечко, как же веселит, милый мой, вот и Гиацинт, твой дорогой Гиацинт, этот ходячий укор совести, равно водится с девчонками, слова “предал” в этом контексте ты не любишь, оно кажется тебе каким-то неадекватным, предать можно родину, друга да и жену тоже, но не вбиванием же в девку хуя, жену можно предать, сбжав с какой-то пассивей, или даже в неэротическом смысле, к примеру, интригуя против нее, но приласкать другую женщину, это может быть предательством в категориях либо женщин, либо попов, те же яйца, вид сбоку, потому как поп есть девица *honoris causa*.

А ты, Костичек, когда Ига сказала о предательстве, мог бы тотчас биться об заклад, что Яцек попросту приударил за горничной или какой-нибудь медсестрой, правда?

Тебе казалось невозможным, чтобы Яцек Ростаньский действительно мог предать Игу, согласно твоих оригинальных категорий предательства.

Но падение его тебе любо, ведь это тот самый Гиацинт, который со столь барским снисхождением глядел на твои, Костичек, блядовитые проделки, снисхождением человека сильнеешего, что выкован из другого железа, с превосходством человека столь дюжего, что нет ему нужды в осуждении слабых, — тебя-то он никогда не осуждал.

Но так как ты узнаешь об этом от пьяной, одурманенной кокаином Иги, это значит, что дивный, дорогой, святой Яцек Ростаньский,

предал любовь, верность и супружескую честь, прежде всего предал вашу дружбу, что ты совершал много раз в прошлом, Гиацинт же, святой Яцек, великолепный Яцек в прошлом никогда не предавал вашей дружбы, и на тебе — предал ее сейчас, не поведав тебе о своей беде, лишь попросив найти Игу.

А ты нашел Игу и заодно нашел секрет, который он таил от тебя.

И даже его благородная угнетенность чернотой стала менее благородна в свете этих измен, а твоя невыразимая, даже не осознаваемая ревность к его меланхолии, отчаянной, благородной как чахотка Норвида, внезапно исчезла: Яцек тонул в черноте не оттого — как думал ты до сих пор, — что его врожденная доброта время от времени не выдерживала конфронтации с миром, но оттого, что пробуждалась его внутренняя чернота.

Конечно, ты не мыслишь об этом в подобных словах, слова твой разум не посещают в звуках, ни в польских, ни в немецких, а будучи спрошен, ты отрицал бы каждую из твоих эмоций, и отрицал бы честно.

А если б только ты, дурачинка, знал...

Любовь моя, если б ты знал.

Было пятое сентября, то есть месяц с чем-то назад. Варшава еще жила, а они, Ига и Яцек, попросту умирали.

Ига стояла с письмом в руке. Письмо было не для нее. Она никогда ранее не читала писем, не ей адресованных, ибо так ее вышколили, не была к этому способна, как не могла бы испражняться в обществе. Однако Яцек оставил это письмо на столешнице секретера в их общей спальне. Открыто, без конверта, кремовые листки сложены в два сгиба, конверт был продолговатым.

Обращение гласило: “Любовь моя, жизнь моя, милый мой...”. По этому обращению мгновением ранее и скользнул случайный взгляд Иги, едва коснулся тех слов, написанных зелеными чернилами, и разбилось тогда сердце Иги.

Иссякла война, иссякли противотанковые рвы, зенитные пушки, противопехотные заграждения и противотанковые орудия. Иссякли немецкие танки и самолеты и польские танки и самолеты и иссякли фамилия генералов, все Роммели и Руммели, и Гудерианы и Шмиглые, все иссякло, Польша и Германия иссякли.

Яцек как раз принимал ванну, Ига слышал, как льется вода, жизнь продолжала быть нормальной, хотя и другой, те нормальные, последние дни нормальной жизни Варшавы, война гремела за горизонтом и тут истекла последняя секунда жизни Иги. Ей подумалось, что письмо написано красивым почерком, на изящном папери, и она протянула руку и прочитала его целиком, умирая над каждой фразой, что влюбленная медичка по фамилии Тшесневская писала Яцеку. Фамилии, впрочем, Ига из письма не узнала, одно имя: Адель, а из того, что та писала о работе в Уяздовском госпитале, сделала вывод, что любовница ее мужа была врачом, что глубоко ранило Игу, родители Иги любую учебу характеризовали как

благо для девочек из домов скорее ветшающих, не для Иги из дома процветающего вполне. Ты красива, дочурка, а у папы хорошее положение, тебе не нужно учиться. Учеба для бедных или уродин.

Ее глубоко ранила спокойная, грустная красота этого письма любящей женщины. Любящей, брошенной женщиной, из письма Ига узнала, что Яцек разорвал какую бы то ни было связь с этой женщиной. Женщиной, должно быть, великолепной, раз Яцек, хороший человек, влюбился в нее. То, что она не могла ненавидеть эту Адель, ранило еще больше.

Игу не ранило то, чего она не знала: юная медичка беременна от Яцека, и через семь месяцев, в 1940 году, родит мальчика, который вырастет без отца и никогда отца не увидит, он станет известным хирургом и возьмет сердце у одного человека и поместит в другого человека, а затем умрет, ибо разобьется его собственное сердце, когда достоянием общественности станет известие о его любви к мальчикам, любви все еще живой, хотя он разменял восьмой десяток, а я, одна из я, одна из моих я, стану на коленях гладить его белую, умную голову, и гладить ту голову я стану, когда она начнет падать в черноту, когда начнут иссыхать его круги на воде.

Существование его, сына Яцека, так и не получившего фамилии Яцека, ранило бы Игу глубже, чем что-либо другое; сама она не сумела, не смогла дать Яцеку ребенка, хотя это и было их великой мечтой. Но Ига об этом не знала, и ей никогда не будет суждено об этом узнать.

И глубоко ранило Игу невнимание Яцека, ну как мог он оставить на секретере такое письмо?.. Ей даже не пришло в голову, что это нечто большее, нежели невнимание, что он, возможно, хотел быть пойманным, даже не подозревая того, что хотел быть пойманным.

Ига вернула любовное письмо на столешницу, взяла ручку и визитку, аккуратно вывела на визитной карточке несколько слов эlegantными, как всегда, буквами:

“Мой дорогой, прости мне эту чудовищную, недостойную дамы бестактность, но по прочтении письма, столь бессердечно оставленного здесь Тобой, Ты и я не можем долее пребывать под одной крышей. Навечно Твоя Ига”.

И собрала чемодан, и покинула квартиру, и приняла полученное двумя днями ранее приглашение в усадьбу под Кобриным, где седьмого сентября протоколировались дионисии, проводимые с целью приостановки наступления немцев, и отдала свое тело чужакам, знавшим, что Польши уже нет, причем именно Польша определяла их ценность и значение, Польша, которую они сами строили и за которую некоторые даже сражались двадцать лет назад, и так отмечавшим концы своих жизней, а после бежавшим в Румынию, в Венгрию, попадая в руки Советов, если только им не удавалось бежать еще дальше, во Францию и в Лондон, где они завершали свою бесполезную жизнь, ведь Польши, той, что определяла их ценность как мужчин и человекoв, не было окончательно и бесповоротно.

Игу унижали, били, пороли, не очень болезненно, так как значение этой порки было лишь символическим, с ней совокуплялись, ее тело, ее тонкие бедра и грудки маленькие, мягкие, стискивали пальцы гадких, брюхатых мужчин в перстнях, в нее совали члены, нередко отказывавшиеся владельцам в послушании, за что ее и секли, трещал затвор лейки, она же послушно подставляла ягодички, и бедра, и плечи под хлыст, открывала рот и раздвигала ляжки и пела песни на плохом, школьном греческом.

Затем, вся липкая, она смыла их сперму, пот и слюну, затем оделась, а затем не присоединилась к прочим леди, уже одетым, сидевшим в гостиной. Платных женщин не приглашали в гостиную, это было бы неуместно, лишь бесплатные женщины сидели в гостиной с соблюдением всех условностей среды, предаваясь вежливой беседе, главной темой которой было “что делать дальше”, среди них сидело еще несколько мужчин, ранее участвовавших в оргии, хотя большинство уже готовили к дороге свои фиаты, опели, шевроле, и бьюики, и испано-сюизы, и спортивные альфы ромео и мерседесы, а также конные экипажи, и уезжали к серому остатку своих скуживающихся жизнью.

Ига не присоединилась ни к леди, сидящим в гостиной, ни к готовящимся к бегству мужчинам, она присоединилась к четырем платным женщинам, лучше понимавшим войну и историю и возвращавшимся в Варшаву. Поскольку иных транспортных средств не было, они угнали из усадьбы авто, малый фиат, за руль которого села Ига, шофер отменный, заодно забрали пластинки, которые вместе с аппаратом бросил фотограф, разумно полагая, что в предстоящий жизни они не пригодятся. Разве что археолог откопает ржавый аппарат в Пятихатках, но проявить негативы так и так не удастся, до скандала не дойдет.

И они ехали по чудной, пустой Непольше от Кобрини к Варшаве, до Радзымина, и до самого Радзымина их никто не замечал по пути, и они по пути не видели ни одного солдата: ни польского, ни немецкого, ни советского, да и людей всего ничего, ехали как бы по стране вне истории, а порой и вне мира, пока в Радзымине их все-таки не остановили. Саломея сбежала, едва увидев солдат, и не знала, что с Игой, она сбежала, боясь, что ее расстреляют, а Ига устроила немцам такой скандал, что те побоялись в нее стрелять, Саломея пешком вернулась в Варшаву, Ига на грузовике отправилась под арест.

И обо всем этом нынче мне повествуют обе, Ига и Саломея, пьяные и под кейфом, повествуют, хихикая как безумные, кабаре-дует, игра в плохишей, школьная эскапада.

Очевидно, они не рассказали тебе обо всем, Костичек, ведь ни одна из них не видит так далеко и остро, как я, однако рассказывали почти обо всем, что знали и что видели, неожиданно сдружившиеся, обе бесстыдные, в отличном контакте.

Я, впрочем, уже не слушал, хотя в любое другое время слушал бы, как святоша токование ксендза.

Ты больше не слушал. Ты даже оттолкнул руку Саломеи, вводившую в тот момент жидкую радугу, ты встал, с твоего предплечья свисал золотогардый шприц, висел грустно, как сломанная лапа хромого пса.

Но я уже не слушал, я не замечал даже, что Саломея еще не закончила вводить возлюбленное счастье в мои усталые вены, полные нечистой крови.

В ложе напротив нашей сидела весьма немецкая компания, то есть два офицера в мундирах, темно-серые брюки штайнграу, куртки фельдграу, темно-зеленые воротники, свежие ленты железного ордена при пуговицах. Вдобавок три всемерно польские шляхи, расфуфыренные, сиськи студнем из декольте. Кроме того, двое гражданских в темных костюмах, к которым офицеры, вещь для армейских небывалая, относились с изысканным, непринужденным почтением, с каким бывалый, скажем, майор говорил бы с гражданским чиновником военного министерства в звании не меньше госсекретаря, к тому же старым солдатом.

Однако не это меня заинтересовало, не это меня зацепило. Я встал и приблизился к немецкой компании. Они пили водку, я же все еще пребывал под действием шампанского и кокаина, но без следа эйфории, встряхнувшей меня моментом ранее.

Итак, я приблизился к столику немецкой компании, и они замолчали, молчанием не враждебным, но озадаченным в адрес моего молчаливого появления и моего взгляда, вне всяких сомнений безумного.

Потом заметили, во что я так пристально всматриваюсь, и озадаченное молчание резко, тотчас сменила открытая яростная враждебность.

— Das ist das Gesicht eines Kriegshelden, du Mistkerl! Verpiss dich!<sup>1</sup> — рыкнул ближайший ко мне офицер и встал, слегка качаясь. Встал, чтобы научить тебя дисциплине.

Во что же я всматривался?

Ты всматривался в лицо лжи, всматривался в свою фальшивую жизнь, всматривался в пустоту своей жизни, которую осознал потихоньку, как плохо говорящий по-польски мальчик, ты всматривался в имя, которого не носишь.

Ты всматривался в лицо человека в темном костюме-тройке, в лицо человека, сидящего в самом глубоком углу ложи, человека, которому не досталось польской шляхи, к тому же он казался незаинтересованным в шляхах.

Лицо было жутким. На левой щеке начинался шрам, он отстал вниз, к уголку рта, отъедал большую часть носа, пощадив лишь правую ноздрю и завиток того, что некогда было прочими частями носа. Ниже шрам съедал довольно много лица, а там, где когда-то

1. Это лицо героя войны, говнюк! Сгинь! (Нем.)

находился уголок рта, зияли голые беззубые десны, их невеликая обнаженная толика. Еще ниже шрам сползал на челюсть жутким разломом кости, перебивая ее ровный, твердый контур.

Лицо было жутким. Лицо было тебе знакомым. Лицо было лицом моего отца.

Майор замахнулся и ударил меня по щеке, тыльной стороной ладони, сильно, аж к плечу отскочила голова.

Ты, впрочем, не уловил этого удара, не уловил его вовсе.

Бальдур Штрахвиц всматривался в тебя своими светло-голубыми глазами, один из которых, левый, сверлил тебя из-за оправленного золотом монокля.

— Vati... — прошептал ты.

Тогда он вдруг вскочил, он понял, шрам и остаток лица искривила жуткая гримаса, тогда он бросился к тебе, расталкивая шлюх и офицеров, и дружество в костюмах, столкнув со стеклянного столика бутылку со шнапсом, топчя диваны и колени, деря чулки и грязня брюки фельдграу.

Он бросился к тебе, и ты утонул в его объятьях, он обнял тебя с огромной силой, ты обнял его, твоя щека прижалась к его здоровой щеке. Шприц вылетел из твоей вены и упал на пол, вбиваясь позолоченной иглой в паркет, как аномальный дротик, морфий тек уже по твоим венам. Отец обнял тебя, как будто ты был единственным на свете человеком.

— Mein Söhnchen, mein geliebtes, verschollenes Söhnchen<sup>1</sup>, — рыдал он, увечные слова сыпались из его изуродованного рта.

А ты оседал на его плече, оседал в черноту.

*Окончание следует*

**BOOK INSTITUTE**



**© POLAND**

Публикация выходит при поддержке программы перевода © POLAND

1. Сыночек мой, мой любимый, пропащий сыночек (нем.).

# ЖУЖА РАКОВСКИ



[175]

ИЛ 11/2021

## Стихи из книги “Фортепан”

*Перевод с венгерского и вступление* НАТАЛИИ ДЬЯЧЕНКО

Имя Жужи Раковски (р. 4 декабря 1950 г.), лауреата нескольких национальных премий, хорошо знакомо венгерскому читателю: она известна и как автор прозы, и как поэт, и как переводчик с английского и немецкого. Свой путь в литературе она начала именно с поэзии. По воспоминаниям Раковски, мать, работавшая машинисткой, часто читала дочке вслух произведения из венгерской классики (например, поэму “Толди” Яноша Араня) и печатала на машинке первые сочиненные дочерью стихи; в университете, где Раковски была студенткой английского отделения филологического факультета, значительное влияние оказала на нее английская поэзия; первой же ее публикацией стал сборник стихотворений “Пророчества и сроки”, увидевший свет в 1981 году. За ним последовали еще четыре. Позже из-под пера Раковски вышло несколько романов и сборников рассказов, самым необычным из них можно назвать написанный сложным, архаизированным, при этом очень выразительным языком роман “Тень змеи”, в котором повествование ведется от лица женщины XVII века, рассказывающей о своей молодости. Сама писательница разделяет свое творчество скорее на эпос и лирику, чем на поэзию и прозу, — по ее словам, лирика ближе человеку в молодости, а в более зрелом возрасте его уже не так занимают собственные переживания, гораздо интереснее становится позиция наблюдателя; поэтому и ее стихи постепенно стали “более эпическими”.

Сборник стихотворений Жужи Раковски “Фортепан”, вышедший в 2015 году, назван в честь одноименного венгерского сайта (который, в свою оче-

© RAKOVSKY ZSUZSA, 2015

© НАТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО. Перевод, вступление, 2021

Стихи публикуются с любезного разрешения автора.



редь, отсылает к названию негативной пленки, выпускавшейся в Венгрии), где в открытом доступе размещен огромный архив любительских фотографий, сделанных в период с 1900 по 1989 год — более ста пятидесяти тысяч снимков. Эти кадры послужили своеобразной отправной точкой для размышлений автора о ходе времени, о настоящем и прошлом, о механизмах работы памяти и, наконец, о природе самой фотографии. Тематика стихотворений сборника соотносится с конкретным изобразительным рядом; примерно в половине заглавий фигурируют также и теги, по которым на сайте можно найти описываемые в стихах снимки. В то же время часть этих тегов, несомненно, придумана самим автором и скорее “маркирует” ее собственные ощущения, переживания и воспоминания, вызванные выбранным фотоматериалом, чем указывает на некие реальные кадры (как, например, в стихотворении под названием “теги: стрекоза, боги, надежда”) — однако и здесь можно найти снимки, ассоциирующиеся с содержанием стихотворения.

В своих стихах Жужа Раковски исследует связи между малым и великим, между микро- и макрокосмосом, временную перспективу и временные масштабы, от конкретных вещей, явлений или событий переходя к более общим, отвлеченным темам. На протяжении всего сборника Раковски прослеживаются повторяющиеся мотивы: это солнечный и лунный свет, предметы быта, старинные здания и противопоставленные им однотипные жил-массивы, изменения в моде и образе жизни.



## Предметы

На тростниковом стебле птицей безголовой  
качается метелка перьевая. Потрепанная щетка для  
паркета,

[177]

ИЛ 11/2021

ступня разутая обвита ремешком.  
Сквозь абажур, покрытый лаком, свет сочится.  
Из жести формочки для теста на доске:  
ромб, рыба и звезда. Большой трельяж.  
На небе детства контуры созвездий.

Под елью высотой до плафона  
на гладком, полированном паркете  
играют девочки в матросках. Знаю, что  
не так давно вошло в обычай ставить елку:  
тому, быть может, лет сто пятьдесят,  
как Рейнской области традицию одна  
переняла австрийская дворянка.  
Что до матросок, якобы они —  
дань времени, когда немецкий флот  
так быстро развивался, что едва  
не сделал Пруссию владычицей морей,  
а на верхушке дерева звезда  
к воспоминанию о ночи отсылает,  
когда взошла звезда над Вифлеемом.  
В углу темнеет кресло (виден край  
обивки полосатой), может быть,  
прабабушкино было, две войны  
оно пережило, хотя едва  
однажды не пустили на растопку.

Проходит детство наше меж вещей  
бездвременных: рождаются они  
тогда же, что и мы, — а до того  
нас ждут, возможно, в бытии до бытия.  
Довольно поздно начинаешь понимать:  
все вещи — это времени плоды,  
в них темной косточкой таится бытия  
возможность, словно свернутый клубок  
цепи причин и следствий, но его  
попробуй лишь обратно размотать —  
и в никуда исчезнет, как тропа  
лесная, что травую поросла.  
И с этих пор велик соблазн считать,  
что вовсе нет зеркал, чернильниц, ламп,  
что иллюзорно их существованье —

они обрывки пены в море тьмы,  
что мимоходом затвердев, изображают  
мир внешний, нам являются на миг,  
как призраки, а после второпях  
обратно падают в дыру по форме вещи,  
прореху на небытия пластичной ткани,  
которой их отсутствие зияет. Но когда  
они, на снимке претворяясь, проступают  
при свете вспышки памяти, то вдруг  
прозрачными становятся как будто,  
сквозь них лучится из-за бытия  
тот свет, каким играет солнце на кружках  
цветных свинцовой рамы (впрочем, может,  
то зрения обман, та цветоперспектива,  
что времени присуща – как и небо, синева Ничто),  
и так из прошлого сияют, как в момент,  
когда окно, гребенка и стакан  
в огне заката благодатном, неземном  
преображаются, и с ними по сравненью  
день настоящий – небыль и мираж.



## Старые добрые времена

Подушки, шкаф с фамильным серебром —  
квартиры изнутри: уют лиан.  
За горизонтом времени вулкан  
уже дымит, но небо ясно. Дом

в центре: комнаты с высоким потолком.  
Безделки в пыли: страшный сон служанок,  
давно уже почивших. Розы в кадках.  
Шнурованная обувь. Юбки в пол.

Младенец в кружевах. В кругу родных  
сидит с котенком старец бородатый.  
В потустороннем, сером свете кадра  
лишь тенью мнятся нам, нет больше их.

“Исчезли мы, исчезли с нами вместе  
собака наша милая и сад,  
где в полночь мы с фонариком ежа  
искали. Нам привидеться уж негде:

тот дом, в котором прожили всю жизнь —  
цветы из камня, ставни и балкон, —  
надеялись, еще прослужит он  
и детям, и позднее — детям их,  
стоит, быть может, но прогнили стены,  
просела кровля, снега не сдержав,  
из стока нечистот клубится смрад,  
а может, рухнул — рана лет военных,

на месте том возникли ниоткуда  
кубические формы-близнецы,  
беспамятно и пестро, образцы  
пространства экономии разумной.

Раз в пару лет сменяются жильцы,  
туда-сюда их гонит вечным ветром.  
А вилла, где бывали каждым летом —  
цветник, садовый стол и тень лозы,

наш райский сад (давно забил бурьян) —  
прибежищем мышам и совам стала,  
а может, бизнес-центром, фитнес-залом,  
отелем — потускневший бриллиант  
добра чьего-то. Прошлого наследье

разлезлось в настоящем старым платьем,  
препятствий нет — обычаев и правил —  
между желаньем и осуществленьем.

Под наглухо закрытым платьем в пол  
мы скрыть пытались наше тело-зверя,  
в возможность обуздать его не веря,  
следили, чтоб луч солнца не дошел

до чудищ, обитавших глубоко  
в подвалах душ; мы знали их, но все же  
в руках, казалось, крепко держим вожжи;  
герои пьесы, что поставил Бог,

мы роль играть старались безупречно.  
Но лица прятала или меняла маска?  
Солдат, глава семьи, чиновник, пастор —  
все были включены в Порядок вечный.

Постой, о странник, не спеши, взгляни на нас —  
но не стремись к нам путь найти обратный!  
Над пропастью, что глубже смерти самой,  
наивно-строго выраженье наших глаз.

Чуть дольше посмотри, но все ж не смейся  
над нашими жилетами, тростями,  
собачкой на руках, тем, как над нами  
свет века утопающего сеет,



как мы сидим спокойно и уютно  
под ивой на траве, у быстрых вод,  
в подножье времени, что вмиг на нас падет,  
у наших ног ручей несется мутный”.

### *Солдаты, играющие в шахматы*

Как в этом блиндаже, что сделан наспех,  
на ум пришло им в шахматы играть?  
(На бревна голые приколоты на кнопки,  
висят картинки из журналов: кинозвёзды  
с натянутой улыбкой, кабаре  
артистки полные в бикини.)

Лица их

серьезны и задумчивы, а мысль  
сосредоточена на следующем ходе,  
но ничего на снимке нам не говорит,  
что им понятно: может, через час,  
или — как знать —  
уже через мгновенье  
взглянуть придется им в глаза Горгоны.

Что это? Мужество? Особая привычка?

Бравату напускают на себя?

И думают — как все, откуда жизнь  
иному не научит, —

что лишь им, одним лишь им готовит  
особую заботу Провиденье?

Что некий круг волшебный защитит?

Что ужасы —

оторванные ноги, глаза, что вытекают из глазниц, —  
всегда случаются лишь с кем-нибудь другим?

Как бы то ни было, но кажется, душа  
до ужаса подняться не способна,  
не терпит оставаться слишком долго  
на безвоздушном пике драмы, на скале,  
где выше линии снегов лишь лед и камень.  
Пожалуй, в отдаленной перспективе —  
а ею могут стать и пара дней  
в определенных обстоятельствах, часов —  
привычный быт всегда сильнее кошмара.  
В глубинах самых ада человек  
обжиться может,

заново создать  
над пеплом повседневности рутину.  
Да и вообще  
на ужасе лежит,  
как и на снах, фиктивности печать.  
Прошедший ужас неправдоподобен.  
Реальны лишь сегодняшний обед  
(с червивым мясом), глохнущий мотор  
и хитроумный перочинный нож,  
который, в долг отдав, вернуть попросим — вдруг  
еще на срок короткий будет нужен,  
но что вообще считать “коротким сроком”?  
Ведь если посмотреть, то десять лет  
и даже пятьдесят — совсем не срок  
по меркам дерева, звезды и мироздания.  
И все же, сознавая: век наш краток,  
играючи мы душу отдаем  
за преходящее, похожее на нас,  
за то, за это, ведь в конце концов  
не с точки зренья вечности глядим,  
а из конкретной точки  
времени, пространства  
на то, на что глядим, и оттого  
нам важным кажется до отправления в бой  
рокироваться и успеть прикрыть ладью.



*теги: детство, мороженщик, кино, прошлое*

Но все же — детство! Встав из моря жизни,  
подобно вышедшей из пены Афродите,  
приобретают форму на глазах  
рожок для обуви, комод и зеркала.  
Любовь еще не рвется к человеку,  
а лишь сияет тусклым светом на вещах;  
все чудо: зеркало, рожок, комод,  
нарциссов Вордсворта веселый хоровод.

Не встретишь женщин в брюках; нет нигде машин.  
Автобус ходит, да пешком вернее.  
Нет холодильников — остатки супа  
до завтра ждут между ледышек двух.  
Растопленная печь. Мерцание экрана  
не занимает ум, и он наедине с собой  
продолжит перемалывать печали,  
пока рука вдвигает нить в иглу, листает ноты.

Пылает летний день, в клубящейся пыли  
след трех колес мороженщик оставил.  
Приходят вновь ноябрь и февраль,  
и звезды в небе высоко стоят, когда  
пора явиться на завод, к шести часам,  
идешь обратно — солнце догорает,  
в сгущающейся тьме трусливый разум  
ужасные картины создает. А над холмом

собрались облака, закатный луч  
сверкает золотой икрой на волнах Иквы,  
сливово-синих из-за сточных вод завода,  
а небо пестрое дробится, преломляясь  
в вечернем свете. В кинозале “Сабадшаг”  
сегодня на экране — Софи Лорен. Ее Аида  
спускается в подземную гробницу.  
В картонном небе дальних киностудий

восходит красная луна из моря тьмы,  
дрожит ее двойник в пруду садовом,  
лицо меж листьев прячется, мерцает,  
в чужое платье облаченный принц  
беспечен и теряет сам себя  
среди толпы, шумящей в переулках,  
хитрец мальчишка джинна обманул,  
рубин сверкает в тонких пальцах вора.



Сад Гюль Бабы, сад роз там тоже был,  
 концерт вечерний, о любимице конторы,  
 о Вилье, будут петь. По радио звучит  
 “Вода прозрачна в озере лазурном”,  
 и кажется на несколько минут,  
 что время может повернуться вспять,  
 занять свой трон, оставленный когда-то,  
 что, бросив розу в озеро, ты мертвых оживишь.



© Fortépan / Szabó József 2.

*теги: микрорайон, киноклуб, безнадежность*

Песнь лета быстро отзвонит; даст рай  
 в конце концов в октябрьском тумане  
 лишь опыта червивый урожай  
 под небом, вечно серым и печальным,  
 при трезвом свете солнца виден край,  
 что садом был: в углу давно завяли  
 один-два кактуса — все, что осталось здесь,  
 и осознание: жизнь продолжится как есть.

Десятилетие — отчаянья комфорт,  
 привычной пресной радости декада.  
 Прошло все прошлое, остался лишь завод  
 по производству будней безотрадных,  
 всеобщее беспомыслие, разброд,  
 на пляжах жвачка-музыка играет,  
 вибрирует в засветке небосвод.  
 Секс — безопасный и приятный спорт.

Эпохи дух разглажен и спрямлен,  
 все сущее — бетон, прямоугольник.

Сожжет остатки всех былых времен,  
иссушит Солнце лишнее в итоге.  
Вся жизнь — один сплошной микрорайон,  
цветные лоджии, и матери в неврозе  
декретном перед местной бакалеей  
с колясками гуляют по аллее.

Над полем, где бульдозером снесли  
квартал бедняцкий, кубиков-домов  
ряд вырос сам собой; холмы вдали,  
скульптуры слепок — девушка с веслом,  
с проплешинами, солнцем злым палим,  
на карликовой площади газон,  
огни рекламы магазина в небе,  
фильм Бунюэля, Пепси Лайт — в буфете.

(Ты помнишь — если там, где нынче ты,  
возможно помнить — дней былых отрады?  
Как мы ходили пробовать плоды  
запретные по кино клубов залам?  
Кто за границу ездил, привозил  
с собою самиздат, порножурналы.  
Лев старый — догма — все ж мог укусить,  
еще был пафос в том, чтобы его дразнить.



© Fortepan / Bojár Sándor

А помнишь ли, как жили мы с тобой,  
как мыкались по крошечным квартирам,

где сизой плесени узор на стенах цвел —  
еще друг с другом, но в мечтах — с другими,  
шумела пуща наша вянущей листвою,  
а жизнь одним звучала лишь мотивом:  
под серым небом вечно ждать зимы исход,  
у рельсов, там, где поезд не пройдет).

*теги: стрекоза, боги, надежда*

Покуда в полусферах глаз стрекозых  
стеклом недвижимым водопад стоит,  
взирают из небесной ложи боги  
на то, как Альпы зыблются вдали,  
как будто рябь по луже ветер гонит,  
покуда время жителей Земли  
меж этими двумя посередине.  
Приборы времени отсчета, снимки,

показывают, как за десять лет  
укоротились юбки. А со шляп  
исчезли птичье чучело, букет,  
корзина с фруктами; и не сыскать  
на улицах извозчичьих карет,  
и если Спящая красавица опять  
на пятьдесят иль сотню лет заснет,  
увидит, пробудясь, другой народ.

Страна чужая — прошлое. Сегодня  
для нас его обычаи странны,  
что некогда являлось обиходным,  
теперь предмет курьезный старины.  
Все, что считали близким и знакомым,  
когда, кто знает, стало нам чужим?  
Ведь лишь постфактум, посмотрев назад,  
 заметишь перемены первый знак.

Как обжитую комнату, мы знаем  
свою эпоху вплоть до мелочей  
и точно помним, где стакан оставлен,  
где пепельница; даже в темноте  
мы их найдем с закрытыми глазами,  
когда отключат во всем доме свет,  
и без ошибки сможем указать:  
здесь кресло старое, а там — кровать.

Быть может, в обстановке ряд деталей  
с мест сдвинется, левой или правой,  
но измененья чувствуем едва ли:  
где чуть просторней стало, где тесней.  
С тех пор стоят лишь стены, где стояли,  
но наше восприятие вещей  
пока что не тревожит перемена,  
поскольку переходы постепенны.

Но вдруг! Мы похороненной считали  
надежду, а она еще жива!  
Сбылось, о чем уже и не мечтали,  
Свобода с баррикад зовет сама.  
Как будто старая картина оживает,  
олеография: знамена и толпа,  
кто мог подумать: дождались такого дня!  
Хоть раз не в полымя бы прямо из огня...

Одно лишь точно: все перевернется,  
уже и стенам тем неудержимо  
землетрясенья дрожь передается,  
меняя все; соленого прилива  
поток безумный бешено несется,  
на старой карте нет ориентира,  
Полярная звезда осталась нам.  
И буря гонит доску по волнам.



© Fortepan / Herpay Gábor

# Джойс Кэрол Оутс

[188]

ИЛ 11/2021



## Сага о Бельфлёрах

Фрагмент книги

*Перевод с английского и вступление*  
АЛЕКСАНДРЫ ФИНОГЕНОВОЙ

Джойс Кэрол Оутс (р. 1938) — американская писательница, прозаик, драматург, критик. Начиная с 1963 года у нее вышло более пятидесяти романов, большое количество рассказов, стихов и документальной прозы. Она является одним из многолетних претендентов на Нобелевскую премию по литературе, а также лауреатом множества литературных премий, в частности Национальной книжной премии США и Пулитцеровской. Дж. К. Оутс по праву называют певцом севера Америки. И действие романа “Бельфлёры” — семейной саги с неожиданными жанровыми вкраплениями — происходит именно в этой части США, в вымышленном горном краю на берегу озера Лейк-Нуар. События разворачиваются в поразительно воображении замке, выстроенном в память о фамильном гнезде во Франции, откуда приехал в молодую страну родоначальник семейства, Жан-Пьер Бельфлёр, в конце XVIII века. В центре повествования — последнее поколение рода, Гидеон Бельфлёр и его властная, страстная и ослепительно красивая жена Лея.

Роман охватывает судьбы нескольких поколений рода Бельфлёров. Род этот то ли проклят, то ли необыкновенно удачлив — его представители отвечают для себя на этот вопрос по-разному. Одно бесспорно: жизнь

© АЛЕКСАНДРА ФИНОГЕНОВА. Перевод, вступление, 2021

Фрагменты книги публикуются с разрешения издательства “Текст”, автора и агентства Prava&Perevody.

Бельфлёров насыщена роковыми событиями, порой объяснимыми только вмешательством сверхъестественных сил. В самом начале роду грозит исчезновение; потомки миллионера разочаровывают отца; в клавикорде словно поселяется несчастная душа; в близкородственном браке рождаются пугающе талантливые дети... Повороты сюжета непредсказуемы и зачастую жутковаты — недаром Оутс сравнивают со Стивеном Кингом, а сам “король ужасов” очень лестно отзывается о ней.

Семейное древо, заботливо выстроенное автором, позволит читателю не запутаться в многочисленных героях саги, а предисловие к роману написано специально для русского издания.

Роман, фрагменты которого мы предлагаем читателю, выйдет на русском языке в конце 2021 года в издательстве “Текст” в переводе Александры Финогеновой и Анастасии Наумовой.

## Крысы

**И**ЗОЩРЕННЫМИ и амбициозными были той осенью планы Бельфлёров по расширению своей империи, а судьба не скупилась на неожиданные дары, которые щедро подбрасывала семье: так, на одном благотворительном балу в особняке губернатора Хорхаунда юная Морна безо всякого расчета (ведь она была еще совсем ребенок) привлекла внимание его старшего сына, который теперь пылко ухаживал за ней; а однажды погожим октябрьским деньком Бельфлёры получили уведомление о том, что Эдгар Шафф скоропостижно скончался от сердечного приступа в Мехико и, согласно последней воле, оставил все состояние, в том числе усадьбу Шафф-холл, своей жене (несчастный брошенный муж так и не изменил завещание, невзирая на вероломное поведение Кристабель, будто надеялся, что когда-нибудь сможет вернуть беглянку домой).

(Загвоздка, по выражению Леи, заключалась в том, что Кристабель все еще скрывалась, по всей вероятности, со своим любовником Демуттом, и даже сыщики, нанятые Бельфлёрами, не смогли разыскать ее. Они тоже проследили ее путь до мексиканской границы — но дальше след терялся. Бельфлёры никак не могли наложить лапу на состояние Шаффа, если Кристабель не явится и лично не заявит на него право. Потому что его родня во главе с драконихой-мамашей не теряла времени на траур и немедленно оспорила завещание. Ибо Шафф-сын, отравленный страстью к своей слишком юной жене, оставил ей всё. Газеты, инвестиции, поместье, бесценное собрание древних артефактов, все частные коллекции —

и шестьдесят тысяч акров стратегически удачно расположенных земель.)

А еще Юэн, после досадного случая (он был вынужден арестовать собственного дядю, обвиненного в убийстве), теперь пользовался небывалой популярностью: в результате серии молниеносных операций против подпольных казино, включая известный инцидент в Пэ-де-Сабль, подробно освещавшийся в прессе (было установлено, что группа индейцев-полукровок хладнокровно и подчистую выманивала у наивных белых юношей все сбережения, автомобили и даже фермерскую технику), он добился выделения для округа беспрецедентного бюджета и, кроме того, значительного количества огнестрельного оружия, боеприпасов и подрывных средств для применения по необходимости. Гидеон, довольно медленно восстанавливаясь после аварии, тем не менее начал активную деятельность — продал все свои автомобили и вел переговоры с владельцем одного аэропорта в Инвемире (в семидесяти пяти милях к северо-востоку от Лейк-Нуар) о деловом партнерстве, — эта затея очень встревожила консервативных членов семейства, у которых самолеты вызывали глубинное недоверие; Лея же пришла от этой новости в бурный восторг.

На фермах Бельфлёров, под надзором Ноэля, были произведены серьезные изменения: старые амбары снесли, построив на их месте новые, с алюминиевыми крышами; появились полуавтоматические элеваторы и зернохранилища с электрическим освещением; курятники переделали в инкубаторы, где в сотнях клеток содержалось целых сто тысяч красных род-айлендов, питавшихся специальным кормом, который стимулировал яйценоскость и увеличивал размер яиц; с внедрением системы стойлового содержания молочные коровы тоже проводили всю свою жизнь в цементных загонах, получая корм (преимущественно люцерну) из навесного конвейера. При всех гигантских вложениях в новое оборудование Бельфлёры должны были сэкономить с течением лет немалые суммы, тратившиеся на содержание сотен ненадежных фермеров-арендаторов и их работников; теперь для обслуживания практически автоматизированной системы им требовалось лишь несколько человек. Альберт выразил горячее желание руководить этим процессом. “Вот бы еще избавиться от запаха этих созданий”, — как-то обронила Эвелин. Разумеется, она имела в виду животных.

Не обошлось, конечно, без некоторых неприятностей — ибо дела никогда не идут идеально. Лея знала, что в устройстве мира заключена порочность. Они с Лили так старались, чтобы именно Вида, прелестная малышка Вида привлекла

внимание сына губернатора, но он выбрал Морну, и теперь Эвелин кичилась перед ними “своим” успехом; планы Леи по строительству нового хорошенького поселка на пятьдесят акров на берегу озера, где сейчас в убожестве проживала упрямец тетя Матильда, пришлось на время отложить — но лишь на время: безумная старуха наотрез отказывалась съезжать; а вскоре после “сложностей” с собирателями фруктов (именно так Бельфлэры называли между собой события августа) Гарт с Золотком и своим маленьким сыночком решили покинуть свой каменный дом в деревне и переехать на другой конец страны. Гарт заявил, что хочет завести собственную ферму, в Айове или Небраске; они с женой желают жить там, где никто не слышал фамилию Бельфлёр.

“Что ж, быть посему, только не вздумай прибегать обратно в слезах, даже на коленях приползать не смей!” — сказал ему Юэн. Его так глубоко ранило решение сына, что он даже не пожал ему руку перед отъездом и отказался взглянуть на Гарта-младшего, хотя Золотко протянула плачущего малыша деду для прощального поцелуя. “Слышишь, не вздумай возвращаться обратно, мальчик мой, потому что мы тебя не примем. Ты понял меня?” — кричал Юэн. Гарт лишь коротко кивнул, отступая назад. Они с Золотком обменяли свой желтый “бьюик” на небольшой фургон, который был доверху нагружен их домашним скарбом.)

Так что без мелких неприятностей, без небольших огорчений не обошлось. Но в целом — даже пессимист Хайрам был вынужден согласиться — дела семьи шли как нельзя лучше; ведь, даже не считая свалившегося на них наследства Шаффа, Бельфлэрам теперь принадлежало больше трех четвертей первоначальной собственности, а остальное они надеялись прибрать к рукам за два-три года.

“Нам необходимо полностью сосредоточиться на цели, — твердила Лея. — Мы не должны ни на что отвлекаться”.

Губернатор Хорхаунд с семьей и часть его свиты были приглашены в замок для недельной охоты, как только откроется сезон; до приезда гостей оставалось меньше недели, и вот Паслён обратился к Лее с необычным предложением:

— Как вам известно, мисс Лея, — смиренно сказал он, — у нас существует проблема — крысы.

— Что-что?

— Крысы, мэм.

— Крысы?

— Да, мэм, крысы. Они водятся в стенах, на чердаке и в дворовых постройках.



Лея изумленно уставилась на слугу. Она уже настолько привыкла к карлику, что почти не замечала его, и сейчас, при взгляде на умное узкое личико с острыми, как осколки стекла, глазками и заметным углублением посреди лба, ей стало не по себе. Страшновата была и безгубая улыбка, напоминающая шрам от уха до уха. Впрочем, это было не совсем верно: никто не назвал бы эту гримасу улыбкой. Дети жаловались, что Паслён пугает их жутким зверьком-грызуном, склеенным из частей высушенных мышей, жуков, змей, жаб, птенцов, черепашек и других животных, хотя он всячески отрицал, что делает это нарочно. Эта штуковина была размером с кулак Паслёна (который был не меньше, чем у Юэна), и от нее исходил неприятный тухловатый запах — точно такой же, как от самого карлика.

Лея прогоняла детей, ее раздражали эти глупые байки. Она не верила, что горбун состряпал такую дурацкую безделушку, и уж тем более, что он пугал с ее помощью детей. И неправда, что от него чем-то воняет, она лично ничего не чувствует. Интересно, что этот достойный жалости человек за последнее время как будто подрос на дюйм-другой; его беспощадно скрюченное тело постепенно стало выпрямляться. Возможно, сказывался благотворный эффект хорошего питания, которое он получал в замке, а также спокойной обстановки и неизменно доброго к нему отношения.

И вот теперь он обратился к ней с совершенно неожиданной просьбой: позволить ему изготовить отвар, который избавит замок от паразитов раз и навсегда.

— Прежде чем пожалуют губернатор и его приближенные, мисс Лея, — проворковал он.

— Но у нас нет крыс, — запротестовала было Лея. — Ну, может, есть несколько — где-нибудь на дворе... Скажем, в старых сараях... Или, может, в подвале. Ну и мыши... вот мыши точно есть.

Паслён с прискорбием кивнул.

— Да. Мыши имеются.

— Но не так уж их много, чтобы беспокоиться, правда же? В противном случае мы бы давно вызвали профессионального морильщика. К тому же у нас есть кошки.

Губы Паслёна искривились, но он промолчал.

— Значит, ты утверждаешь, что крысы есть? — спросила Лея с нарастающим раздражением.

— О да, мисс Лея. Целые полчища.

— Но откуда ты знаешь? Ты сам их видел?

— Я способен на определенные умозаключения, мэм.

— Но... Я думала, что наши кошки справятся...

Карлик прищелкнул языком.

— О нет, мисс Лея. Куда уж им.

И вот Паслён приготовил в кухне замка свое ядовитое зелье на основе мышьяка. Он наполнил разбавленным ядом два чайника, по галлону каждый, и оставил на медленном огне на несколько часов, пока почти вся жидкость не выкипела. Этот яд, как всех уверял карлик, привлекал только грызунов и был смертелен только для них. Кошки и собаки не притронутся к нему; детей он тоже не заинтересует — при обычных обстоятельствах.

— Но ведь крыс не так уж много, — строго сказала бабка Корнелия. — Соглашусь, полевые мыши иногда проникают в подвал... ну и конечно, в амбары... Возможно, есть и пара лесных хомяков, я почти не сомневаюсь — препротивные твари, — но вряд ли это серьезно. Не понимаю, зачем нам понадобилось это массовое уничтожение.

— Кажется, это несколько чрезмерно, — сказал дядя Хайрам.

— Но раз уж Паслён приготовил свой отвар, — с лукавой улыбкой заметил дедушка Ноэль, — мы, конечно, должны испробовать его. Жаль, если такие старания пропадут втуне.

И вот утром на следующий день, когда почти все члены семейства еще спали, Паслён прошелся по всем комнатам замка и по хозяйственным помещениям, разбрасывая кристаллы отравы белоснежного цвета по всем углам. Затем он наполнил водой ведра и миски и расставил их в больших залах замка на всех трех этажах; он притащил несколько тяжелых тазов с водой в подвал, а еще несколько поставил снаружи: среди кустов, рядом с декоративными деревьями и на ступенях черного входа. Его лоб, побледневший, весь в складках от напряжения, вскоре покрылся каплями пота, а с лица не сходила деревянная улыбка. Домашние кошки при его появлении рассыпались в стороны или запрыгивали куда повыше и оттуда следили за ним блестящими прищуренными глазами. То одна, то другая из собак принималась лаять, но неуверенно, как-то робко. Паслён не обращал ни малейшего внимания на животных, но сосредоточенно расставлял свои ведра, миски, кастрюли, тазы и даже корыта, покряхтывая от усилий.

А потом уселся и приготовился.

Ждать пришлось недолго: через полчаса появились крысы.

Из подвалов, из стен, из кладовок и шкафов, с сеновалов и из-под половиц, из плотно набитых диванных подушек, из чуланов, из библиотеки Рафаэля (где книги сплошь в кожаных переплетах) полезли крысы — они пищали, скреблись и сверкали глазами, обезумев от жажды. Были особи длиннее фута, были и детеныши, розовые, безволосые. Все они бежали, неслись, словно спятыв, налезая, царапая друг друга, повизгивая, перестукивая коготками по полу, топорща усики. Как страшно они хотели пить! Они с ума сходили! Осатанели. Взбесились.

Они отвоевывали друг у друга очередь к воде, бросались в тазы с головой — некоторые в своем отчаянном желании напиться и правда утонули. Сколько было писку и визгу! Никто никогда не слышал ничего подобного.

Крысиные реки, мышинные и землероечные потоки налезали друг на друга, топотали внутри стен и, как только находили отверстие или непрочное место, просовывали головы и выби- рались наружу, устремляясь к воде... Бельфлёры в ужасе забира- лись на мебель, как можно выше, кто-то устроился даже на обе- денном столе в главной зале, не сводя глаз с кишашей, попискивающей массы. Господи, как их *много!* Кто бы мог поду- мать! И как невыносима была их жажда, с какой алчностью они пили воду, пили, пили и пили, словно никак не могли напиться! Нет, никто из Бельфлёров никогда не видел ничего подобного.

А потом, почти сразу, началась агония.

Каждую секунду десятки тварей буквально взрывались, словно воздушные шарик, и вскоре уже катались по полу, за- бираясь друг на друга, пища, визжа, царапаясь, кусаясь. Они извивались, из пасти у них шла пена. Лапы трепыхались в су- дорогах. Их писк, и без того резкий, стал совсем невыносим, и обитателям замка пришлось изо всех сил зажимать уши, чтобы не закричать самим.

Какая дикая картина, завораживающая в своей омерзи- тельности. Все эти раздутые крысиные тельца! Брюшки побеле- ли от натуги, кожа растянута и вот-вот лопнет, лапки молот- тят в воздухе, будто пытаясь выгрести, хвосты — твердые и прямые, как палки. Смерть невидимкой металась от одной крысы к другой, касаясь усатой морды там, надутого живота здесь, пока, по прошествии немалого времени, последняя из тварей не околела. У всех вывалились языки, тоже раздутые и ярко-розовые. В смертельном успокоении самые крупные эк- земпляры напоминали человеческих младенцев.

Паслён надел рыбацкие сапоги, доходящие ему до бедер, и стал бродить меж трупиков, беря один за другим за хвост и складывая в брезентовые мешки. Если какая-нибудь тварь умерла *не до конца*, он наступал ей на брюхо, с силой надавли- вал — исход был предрешен. (Некоторые из Бельфлёров от- ворачивались. А другие в ужасе смотрели, не в силах отвести глаз. Кого-то отчаянно тошнило, но до рвоты дело не дошло, и они просто глазели, не имея сил пошевелиться.) Хотя Пас- лён работал споро и эффективно, хотя никто из грызунов не оказал сопротивления и не пытался уползти прочь, все же “уборка” заняла у него порядочное время.

В каждый из мешков уместилось от пятидесяти до ста крыс, в зависимости от размера тварей. (Были среди них ги-

ганты норвежской породы, а землеройки, напротив, — меньше мыши.) Всего же на круг вышло тридцать семь мешков.

Тридцать семь!..

Но когда Паслён с поклоном приблизился к Лее, необычайно бледный после тяжелого дня, она сказала, что недовольна — тем, что он не предупредил членов семьи; ведь никто и представить не мог, сколько паразитов водится в замке. Это было неприятно, проговорила она дрожащим голосом, весьма неприятно... особенно для старшего поколения. Вся эта возня, писк, визг и эта отвратительная агония. В самом деле, мерзкое зрелище.

— Тебе следовало предупредить нас, Паслён.

Паслён поклонился еще ниже. Через некоторое время он осмелился поднять глаза и впился взглядом в край ее юбки.

— Но мисс Лея не сердится, правда?

— О, ну что ты — я, сердиться!.. — Она нервно рассмеялась.

— Возможно, я действовал неосторожно, — пробормотал Паслён. — Но ведь крысы подошли. Как вы сами видели.

— Да. Верно. Я видела.

— Так значит... мисс Лея не сердится на меня?

— Пожалуй, нет. Ты и впрямь славно потрудился.

— Славно?

— Превосходно! — устало сказала Лея. На какой-то миг ей стало дурно, стены и потолок словно закачались, и ее обдало волной густого и таинственного болотистого запаха, который источал низкорослый слуга. — И все же мы были захвачены врасплох — ведь, знаешь, мы были уверены, что наши кошки вполне...

— Ах, это... — произнес Паслён с неожиданно широкой улыбкой, до самых ушей. — Ваши кошки!.. Ну, куда уж им.

Тридцать семь мешков, набитых доверху и крепко-накрепко обмотанных сверху веревками, вскоре исчезли. Как избавился от них карлик, не знал никто, и Лея предпочла не спрашивать.

## *Дух Лейк-нуар*

Однажды, в стародавние времена, шепотом рассказывали детям, стряслось нечто ужасное. В мире происходят страшные вещи; и эта случилась с нами.

Однажды вечером, в октябре 1825 года, в поселении, которое позже стали называть Бушкилз-Ферри...

Но стоит ли рассказывать об этом детям, поколению за поколением?

Что это дает? Ну какой в этом прок?

И что мы теряем?

Но они должны знать!

Да почему должны, если это такой ужас? Если самые младшие плачут потом во сне, а кто постарше, не находят себе покоя от жажды мести?

Итак, в поселении, известном как Бушкилз-Ферри, в старом бревенчато-каменном доме, построенном Жан-Пьером и Луисом, были хладнокровно и безо всякой видимой причины убиты шесть человек: Жан-Пьер, его сорокалетняя любовница — индианка Антуанетт из племени онондага, сын Луис и трое его детей: Бернارد, Джейкоб и Арлетт. Двух собак Луиса — метиса-ретривера и колли с бельмом на глазу — тоже убили, забили дубинками, причем ретривера, что было совершенно необъяснимо (убийцы впоследствии вину в этом “дух Лейк-Нуар”), обезглавили охотничьим ножом. После чего дом облили бензином и подожгли.

Пять лошадей в конюшне не пострадали.

Именно благодаря пожару — здесь убийцы жестоко прощитались — и была спасена жена Луиса Джермейн: они сами ее сочли мертвой, а огонь, ясное дело, привлек внимание соседей, они ворвались в дом и нашли ее. (Нашли, надо сказать, по чистой случайности: она лежала там, где упала, у стены в спальне, в пространстве между стеной и пропитанной кровью кроватью, где остывало искромсанное тело ее мужа.)

Джермейн выжила. Несмотря на серьезные ранения (глубокие порезы на лице и груди, сломанную ключицу, перелом копчика, легкое сотрясение мозга) и непередаваемый ужас, который она испытала. Как только она пришла в себя, то сразу выкрикнула имена убийц — пятерых из восьми или девяти, которых узнала, несмотря на их маски из мешковины и женское платье. Торговец индейцами Рейбен и Варрелы: Рубен, Уоллес, Майрон и Сайлас. Она оказалась в состоянии не только опознать их, но и дать против них показания в суде.

В то время бедняжке сравнялось тридцать четыре года, и ей было суждено, став женой другого Бельфлёра, прожить еще двадцать два. Если на нее не указывали специально (вон она, видите, та самая Джермейн Бельфлёр, на глазах которой убили ее мужа и троих детей...), никто и не догадывался, что эта крепко сбитая розовощекая дама с проседью пережила такой кошмар — ведь она так легко *улыбалась*. В самом деле, улыбка слишком уж часто озаряла ее лицо. Да, она боялась резких звуков и могла впасть в истерику от слишком рьяного лая собак. Но в общем казалась женщиной на удивление урав-

новешенной. Потом у нее родились новые дети, трое, словно для того, чтобы заменить тех, утраченных. Это Господь послал тебе новых детей, двух мальчиков и девочку; это Божий знак, ведь ты потеряла как раз двух мальчиков и девочку, нашептывали ей, но Джермейн упорно молчала. Она не бросала с презрительной усмешкой: *Какие же вы глупцы, при чем тут Бог – этих детей растили только мы с мужем, больше никто!* Не говорила: *Не смейте болтать ни о моих мертвых детях, ни обо мне!* Она лишь кивала, словно в задумчивости, и улыбалась своей милой искренней улыбкой. А у ее левого глаза примостилась прелестная коричневая родинка.

— Прощаете ли вы тех, кто согрешил против вас? — спросил ее священник.

— Да, — отвечала Джермейн.

И почти неслышно добавляла: “Ведь все они мертвы”.

— Но стоит ли рассказывать об этом детям, поколению за поколением?

*Вёрнон, семи лет, затыкал уши. Он не хотел слушать.*

— Конечно, стоит! Они должны постичь тайные законы, что движут миром — в частности, такой: твой обидчик никогда не простит тебя.

Некоторые Бельфлёры недовольно морщились при одном упоминании Варрелов, и не потому, что жаждали мести (те давние события давно уже стали легендой: большинство Варрелов умерли, а их потомки обеднели и жили кто где, белая шантрапа), а потому что стыдились, что имеют отношение к столь варварскому происшествию. Охотников и зверобоев, торговцев и лесорубов, живших в том старом поселке Лейк-Нуар — с единственной грязной улицей, с рыскающими бродячими собаками, в которых они ради забавы стреляли, проезжая верхом мимо, с галлонами кукурузного виски, тавернами, пьяными драками, вечной поножовщиной, перестрелками и поджогами, — всех этих грубых полуживотных по большому счету нельзя было (как осознал Рафаэль позже) обвинять в жестокости, поскольку большинство из них были попросту недоразвиты: их интеллект находился на уровне двенадцатилетнего ребенка.

В Англии, где Рафаэль провел в поисках невесты пять месяцев, пока не встретил в тихой деревенской глуши Вайолет Олдин, его часто спрашивали о “кровной мести”, по слухам, распространенной в Америке. Правда ли, интересовались англичане, что семьи там враждуют друг с другом до тех пор, пока одна из них не истребит другую полностью, до последне-

го человека? Рафаэль сдержанно отвечал, что подобное поведение было бы эксцентричным даже на Западе — на Диком Западе, где цивилизация еще не так крепко пустила корни. Но ведь большинство жителей моей родины, продолжал он бесцветным голосом, из которого были вытравлены малейшие следы горного акцента, родом из разных *европейских* стран.

Вёрнон зажимал уши, хотя остальные мальчишки поднимали его на смех. А по ночам ему снилось, что он сидит, забившись в шкаф, в темноте, и кто-то тяжелыми шагами приближается к нему и шепчет мерзким голосом: *Вёрнон, Вёрнон, мальши, где ты, где же ты, может, под одеялом? Или под кроватью? А может, прячешься в шкафу?* И он сжимался в комок, чтобы стать еще меньше. Да он и был маленьким — размером с кошку. *Так ты в шкафу, вот ты куда забрался?* — ворковал голос, и вдруг раздавался ужасный удар, и сквозь дверь прорывались зубья вил. И тогда он визжал во сне, визжал — и с криком просыпался. (Впрочем, Арлетт не забила вилами в шкаф. Ее вытащили наружу, и она приняла, возможно, наиболее милосердную смерть, на полу в кухне.)

Но другие мальчишки, с налитыми кровью лицами, словно повзрослевшие от гнева — они хотели услышать, хотели узнать всё. Они перебивали друг друга, переходя на крик. Как мог дядя Луис не знать, что случится! Почему он не убил их первый! Рубена, и Уоллеса, и Майрона, и Сайласа, и Рейбена, и его зятя, и этого Уайли, “мирового судью”, и прочих — всех до единого! Почему он не догадался, что они хотят сделать, и не убил их первый, тайком? Разве он не держал рядом с кроватью ружье? Почему в первые секунды он решил, растерявшись, что к нему пришел полицейский с помощниками и с ордером на арест? (За Луисом Бельфлёрером водились грешки перед законом. К примеру, он отказывался платить штрафы, как и его отец, который не желал выплачивать некие суммы, присужденные ему по решению суда округа Нотога-Фоллз в связи с подозрением в мошенничестве — после того как Чаттарой-холл в поселке Серные Источники, заложенный-перезаложенный, сгорел дотла, как только его застраховали на двести тысяч долларов.) Почему он сам покорно вытянул руки, чтобы на него надели наручники, — неужели не разглядел, несмотря на опьянение и всю неразбериху (впрочем, многие полагали, что он почти ослеп на правый глаз — веко закрывало его почти полностью, а правая часть лица была парализована), что мужчины, ворвавшиеся в его дом, в его спальню в два часа ночи, были в масках и в женском платье? Да еще в высоких рыбацких сапогах?

Он оказал бешеное сопротивление, рассказывали детям. Но когда нападавшие выхватили ножи, а один из них появился в дверях с вилами наперевес (собственными вилами Луиса!), конечно, он был обречен.

Но почему же он не убил их *первый!* — негодовали юные Бельфлёры.

Сначала Джермейн говорила, что все нападавшие были в женской одежде. Но потом изменила показания — вспомнила, что, пожалуй, не все, только трое или четверо; на них были простые крестьянские юбки, еле прикрывающие колени как раз до сапог. А на всех ли были маски из мешковины, с грубыми прорезями для глаз? Ей кажется, что да, по крайней мере, на некоторых... На всех, точно, *на всех*. Ведь она не видела их лиц. У всех до одного лица были закрыты.

Она рассказывала свою историю столько раз! Какие-то детали размывались, какие-то, напротив, внезапно всплывали, и она заикалась, замолкала, начинала все сначала, плакала, откидывалась на подушки, почти в обмороке, и даже те, кто отлично знал, что произошло в доме Бельфлёров той ночью (и даже знал, кто были те самые “неустановленные лица”), начали поговаривать, что она все выдумала: просто выдумала личности убийц.

Их теория была такова: к дому под прикрытием темноты подкрались совершенно случайные люди — привлеченные подъездной дорогой, обсаженной елями, да и просто ее наличием (в то время это был самый роскошный частный дом в Бушкилз-Ферри), а может, дурной славой старика Жан-Пьера (к тому времени “Альманах состоятельных персон”, пусть бесстыдно скопированный с “Альманаха” Франклина, выдержал уже шестое издание; пожар в спа-гостинице “Серные источники” снискал сомнительную известность во всем штате; а про выигрыши Жан-Пьера на скачках толковали повсюду). Да, эти убийства могли совершить чужаки, возможно, городская банда: собрались обокрасть дом, но в последний момент передумали; а жене Луиса, получившей тяжелые ранения и напуганной до смерти, могло *показаться*, что она узнала голоса...

Но она не сдавалась. Она знала, кто это был, знала. И хотя ей пришлось повторять свой несвязный рассказ бесчисленное количество раз, иногда забывая одни детали и вспоминая другие, хотя она часто не выдерживала и могла вдруг разрыдаться, Джермейн никогда не покидала уверенность в том, что она узнала пятерых нападавших. Это были Рубен, Уоллес, Майрон, Сайлас и старый Рейбен, ненависть которых к ее свекру насчитывала вот уже тридцать лет; они и были убийцы. Она *знала*.



Каждую ночь они собирались в кабаке “Белая антилопа”, где напивались и обсуждали, как бы им разобраться с Луисом и его папашей. И вот в ту октябрьскую ночь решились.

Восемь или девять человек под предводительством Рубена Варрела.

(Уайли с ними не поехал, да и наручники отдал не по доброй воле, хотя позже, конечно, никак не мог это объяснить. Да, наручники принадлежали ему, да, они были похищены из его кабинета, но он клялся, что понятия не имеет, каким образом преступники могли туда забраться.)

Вырядившись самым забавным и экстравагантным образом — юный Майрон даже напялил женский чепчик, завязав ленты под подбородком, — и прихватив ножи, дубинки и ружья (которые они не собирались использовать, чтобы обошлось без шума), заговорщики проехали полторы мили до дома Бельфлёров, распахнули настежь незапертую входную дверь и ворвались в комнаты на первом этаже.

В одной спали Луис и Джермейн. В другой — Жан-Пьер и Антуанетт.

Грабители завопили: “Вы арестованы! Мы представители закона! Не двигаться!”

В комнате Луиса один из нападавших зажег керосиновую лампу, остальные вытащили его из постели. В этом и состоял их первоначальный план: сковать наручниками Луиса и старика, увезти подальше и прикончить; а потом утопить тела в озере, привязав к грузу, чтобы их никогда не нашли. Но почему-то... почему-то так случилось — возможно, виной тому были дикие крики Джермейн и скво, да и собаки вдруг залаяли и заскулили как ненормальные, да еще мальчишки сбежали вниз из своих комнат, причем один прихватил с собой крепкий брусок, — в общем, они вдруг разом набросились на Луиса с ножами. А Жан-Пьера даже не стали вытаскивать из постели. У него не было времени дотянуться до пистолета под подушкой, а у индианки — выбраться из кровати и в ужасе попытаться забраться под нее. Стальными охотничьими ножами и десятифунтовыми молотками они нанесли старику и его женщине бесчисленное количество ударов, забив до смерти в два счета.

Луис сопротивлялся, как разъяренный бык. Истекая кровью, с многочисленными ранами, одна половина лица мертвая, другая — перекошена в дикой гримасе, он бросался в разные стороны, налетая на своих убийц и зовя на помощь. И тогда один из убийц в маске с пьяным ревом кинулся на него с вилами.

На теле Луиса, вытаскленном из огня, обнаружат более шестидесяти колотых ранений.

Семнадцатилетнего Бернарда убили в углу кухни, куда он в страхе забился; Джейкоб, который был поздоровее и уже вымахал ростом с отца, пытался сопротивляться, размахивая перед собой деревянным брусом, пока его не выхватили у него из рук; тогда он развернулся и хотел выпрыгнуть из окна, не смотря на кровь, струящуюся из ужасной раны на шее, — но его ухватили сзади, бросили на пол и с боевыми криками и улюлюканьем (убийца охватила жажда крови, они уже не могли остановиться) забили мальчика насмерть.

Собак, конечно, тоже прикончили.

Кот, по всей видимости, сбежал: это был крупный серый котяра, длинношерстный, с одним изорванным ухом и немного провисающим животом.

С Джермейн вышло так: одним ударом дубинки Рубен Варрел, целясь в лицо, сломал ей ключицу, а его брат Уоллес, ухватив ее за длинные косы, швырнул о стену. Из рта и носа несчастной хлынула кровь, она мешком упала на пол, и они подумали — хотя кто был способен думать в этому аду, — что она мертва. И оставили, забыли про нее. Убийцы выскочили из комнаты, вопя и гогоча, налетая друг на друга, вытирая друг о друга окровавленные руки, торопясь поскорее сбежать.

Все убийства заняли не больше пяти минут.

Пять человек распрощались с жизнью за пять минут. А еще ретривер и полуслепая колли.

И тут один из них говорит: “Стойте, была же еще девчонка...”

— Но стоит ли рассказывать детям? Стоит ли им рассказывать всё?

— Они должны постичь тайные законы, что движут миром...

— Они должны понять, что значит быть Бельфлёрами...

И дети слушали, бледные как мел. Некоторые, как Вёрнон, зажимали ладонями уши.

А другие шептали: *Но почему они не убили их первые!*

Одна из девочек — возможно, это была Иоланда, очень давно! — ухватила себя за хвостики и яростно дергала, плача от злости: *Ох, почему у нее не было ножа! Она могла убить хотя бы одного!*

Позже, уже на пути обратно в деревню, обессиленные, протрезвевшие, растерявшие весь свой кураж, убийцы стали приходить к выводу, что это духи озера внушили им безумные желания. Они не собирались трогать женщин и даже мальчиков (конечно, если бы они рассудили заранее, спокойно и

хладнокровно, то, конечно, решили бы, что Джейкоб и Бернард должны умереть), и уж точно не собирались убивать Арлетт. Ведь она была лучшей подружкой шестнадцатилетней дочери зятя Рейбена и часто приходила к ним в гости.

Но воздух Лейк-Нуар, тяжелый, влажный, дурной, шепотки и науськивания ночных духов, их вопли, визги и улюлюканье — вот из-за чего нападавшие потеряли над собой контроль и не могли остановиться, пока не убили всех до единого. Пока не увидели всех Бельфлёров, лежащих без движения, истерзанных, истекающих кровью.

Индейцы всегда боялись Духа Озера, называя его ангелом горя и смерти. По словам подозреваемых, именно этот дух — они тут ни при чем! — довел их до сумасшествия, до жажды крови.

Они поехали прочь, постукивая ногами по бокам лошадей. Кого-то ужасно рвало, кто-то неслышно плакал. А Рубен все повторял, снова и снова, тихим, но четким, гипнотическим голосом: никто не узнает, никто не узнает, никто не узнает.

У них за спиной уже полыхал дом. Они разлили бензин по всему первому этажу и подожгли. Еще несколько минут, и пламя перекинется на крышу и стены — и тогда все улики, рассудили они, будут уничтожены.

Но кто это сотворил?!

Дух Лейк-Нуар.

Да, они терпеть не могли скво и считали, как и все в деревне, неслыханной наглостью со стороны Жан-Пьера жить с ней совершенно открыто (она была привлекательна, хотя совсем не красавица, не ярко выраженная индианка и на сорок лет младше старика), но они не собирались убивать ее. Как и Джермейн, и мальчиков. И их дочку, Арлетт. А ведь одной из собак даже отрезали голову. Как вышло, посреди этого угара, что кто-то не поленился и отрезал животному голову?..

(Никто из них не признался. Скорее всего, это было дело рук Майрона, он и раньше бывал замечен в таких проделках; но тот категорически отрицал свою вину: “Я бы не мог доказать до такого безумия”, — мрачно повторял он.)

Арлетт пряталась в шкафу, в своей комнате под самой крышей. Она поняла сразу, и что всю ее семью убьют, и кто убийцы, и почему они явились. Едва в сознании, она выбралась в темноте из-под кровати и забралась в шкаф; там убийцы и нашли ее, забившуюся в угол, перепуганную настолько, что она не могла сдерживать себя и вся обмочилась.

Они завопили, стали улюлюкать, выволокли девочку наружу и сорвали с нее ночную фланелевую сорочку, а потом по какой-то причине — возможно, хотели забрать ее с собой или

просто вытащить из дома, из всех углов которого теперь несло смертью, — стащили ее вниз. Это зрелище — голая, отбивающаяся юная девушка, почти физическое ощущение ее паники, все это возбудило их безмерно; высокими, срывающимися на визг голосами они стали выкрикивать, что собираются сейчас с ней сделать.

Но к ним вдруг подбежал Сайлас Варрел, оставшийся внизу. “Хватит уже! Довольно!” — закричал он. И, отпихнув одного из братьев в сторону, мощным ударом дубинки размозил Арлетт голову.

В доме царила тишина.

Да, теперь в доме царила тишина, если не считать прерывистого, тяжелого дыхания убийц.

...Четыре, пять, шесть. Шесть трупов. И так много крови. А собирались-то прикончить только двоих.

## Сомнения

*“Сомнения. Стихотворения Вёрнона Бельфлёра”.*

— Как это сюда?..

— Что это такое?..

— Кто это принес?

Тонкую книжицу нашли в библиотеке Рафаэля как-то утром — сборник стихов, подписанный их фамилией! — точнее, именем и фамилией не так давно усопшего члена семьи. Она была в красивом фактурном переплете кремового цвета с плотными сероватыми страницами, а шрифт — тонкий и изящный, причем краска уже начинала выцветать. Как это странно, невероятно странно, и что за шутник так нагло положил книжку на библиотечный шкафчик с картотекой?

— Какая-то мистика, — медленно произнес Ноэль, листая книжку.

Корнелия заглянула ему через плечо.

— Разве он писал в рифму? Вот уж не думала.

Они передавали книжку друг другу, быстро, с подозрением перелистывая ее, останавливаясь, чтобы прочесть ту или иную строку, и общая тревога становилась все ощутимее. Неужели это возможно?.. Неужели возможно, что Вёрнон не утонул, что он каким-то образом ускользнул от Варрелов? А теперь он ославит Бельфлёров на весь мир; теперь ничто не остановит его, и он разболтает все их самые потаенные секреты.

Особенно раздражало, что из стихов ничего нельзя было понять. Сплошь переплетение непонятных, незнакомых сло-

вес, неподатливых, словно слюдяная крошка; они не желали складываться в стройные предложения, утекая в никуда — в пустоту. Лили неуверенно сказала:

— Но ведь некоторые строки довольно красивы, правда?

Никто ей не ответил. А Корнелия воскликнула:

— Это какой-то шифр! Шарада! Глупые загадки, голову сломаешь их разгадывать!

Юэн схватил книжку и стал раздраженно листать ее.

— Как ты полагаешь, отец, — спросил он тихим, грозным голосом, — возможно ли, что наш Вёрнон все-таки не утонул?

— Невозможно, — отрубил Ноэль, забрал у сына книгу и резко захлопнул ее.

Так и не удалось установить — хотя были опрошены все дети и слуги, — кто же положил книжку на шкафчик и кому принадлежали эти нелепые “Сомнения”, написанные нелепым Вёрноном Бельфлёром. Разумеется, это был псевдоним. А даже если имя было подлинное и принадлежало реальному поэту, им не мог быть *их* Вёрнон.

— Да ведь бедняга под конец совсем свихнулся, — сказала Эвелин. — Вы же помните, как он повсюду порочил нашу семью. Как он мог найти себе издателя, этот безумец? Нет, это не он, как такое может быть!

— Самое главное — каким образом он мог спастись? — заметил Юэн. — Он ведь даже плавать не умел, с детства.

— Мы можем разыскать его, — небрежно произнес Гидеон. — Через издательство или типографию. Если захотим.

— Но там нет адреса! Только название издательства — “Анубис”. И звучит оно столь же неправдоподобно, как и “Вёрнон Бельфлёр”, вы не находите? — сказал Джаспер. (Он был одним из главных “подозреваемых”, так как часто ездил в город, один, по деловым поручениям Леи, и не желал, чтобы кто-то связывал его имя с этой книжицей.)

В конце концов решили, что книжку могли прислать по почте Кристабель или Бромвел, эти непослушные, “неудачные” дети, просто забавы ради. Ведь Вёрнон, безусловно, был мертв. Уж *их* Вёрнон — точно.

“Сомнения” лежали на шкафчике с картотекой около двух недель. Никто не удосужился рассказать о книжке Хайраму, но в то же время (такова уж была озорная бельфлёрова натура) никто не хотел лишать его радости самому обнаружить ее. Каждый день Ноэль и Корнелия перешептывались: “Хайрам уже прочел? Он уже был в библиотеке, нашел книжку?”

Корнелия была убеждена, что автор стихов – именно Вёрнон. Ее любимый племянник Вёрнон, которого она, так уж вышло, никогда не замечала, пока он жил у нее под боком.

– Я просто уверена, эти стихи – про нас, только написаны каким-то ужасным шифром, который мы не постигаем! – вскричала она, прижимая к груди руку, унизанную кольцами. – Он всегда был не в себе, еще до того, как ополчился на нас.

– Женщина, ты несешь чушь, – ответил Ноэль. – Тот Вёрнон мертв.

– Но у него ведь был талант!.. Или как это называется. Он всегда был, ну, знаешь... Такой восторженный, одухотворенный – и хвостиком ходил за Леей.

– Он нес полную ахинею! – сердито возразил Ноэль. – И это ты называешь талантом?

Но на самом деле он не то чтобы злился. В последние месяцы – после “неприятностей” со сборщиками фруктов и внезапного и бесцеремонного возвращения его брата Жан-Пьера в тюрьму Похатасси (где, по единодушному решению Бельфлёров, старика устроили “на лечение” в отдельное крыло имени Уистона Шилера), – в последние месяцы у Ноэля развилось нервное, почти воинственное ко всему отношение, и он стал напоминать старого драчливого петуха, готового чуть что броситься в бой. Небывалые финансовые успехи семьи казались ему какой-то фантастикой, и он не понимал, хотя Лея постоянно и упорно это подчеркивала, почему они имеют какое-то отношение к Джермейн; его так долго преследовали неудачи, что не слишком-то верил в лучезарное настоящее. Символом удачи для него была пара сапог в испанском стиле за двести долларов, а символом провала – старые тапочки, засаленные и бесформенные, в которых он шаркал по дому. Первые сидели как влитые, вторые же расплзались в стороны, как его собственные ступни. Но было ясно, что бы он выбрал, кабы мог.

– Теперь мы снова миллионеры, – частенько шептала ему жена, как глупая девчонка. – А Лея обещает еще больше, еще больше!

В ответ Ноэль бурчал что-то не слишком любезное.

Ему нравилось устраивать семейные обсуждения всяких неприятностей – например, по поводу этого загадочного “Вёрнона Бельфлёра”, чью книжку они все имели удовольствие прочитать. Или по поводу внезапно появившихся протечек в крыше, которая обошлась им – Боже правый! – в несколько тысяч долларов. Половина молодых деревьев в саду покрыты черными точками неизвестного грибка, вы заметили? А эта парочка престарелых бунтарей (прабабка Эльвира и Старик-из-

Потопа, ее несуразный муж, который начал расхаживать повсюду, словно член семьи, одаривая всех, кто ему встречался, глупой отеческой улыбкой) с их планами перебраться на ту сторону озера!.. Они открыто выступали против Леи; они хотели переехать жить к Матильде, чтобы провести там “сумеречные годы” – их выражение! – в уединении; разумеется, это помешает Лее снести старый поселок и построить новый согласно ее планам, созданным совместно с опытейшим архитектором. Видите, вы же видите, любил восклицать Ноэль, вечно все идет поперек нашей воли!..

Никто не осмелился передать книжку Хайраму. Но однажды вечером, вернувшись из трехдневной поездки в Винтертур, он наткнулся на нее, когда разбирал почту, копаясь в ворохе деловых изданий.

*“Сомнения. Стихотворения Вёрнона Бельфлёра”.*

В тот момент в комнате Хайрама никого не было, так что никто не видел его лица, когда он взял книжку в руки; никто не видел, с какой жадностью он принялся читать ее. Правая щека его задергалась в тике; он быстро перелистывал страницы, то и дело замирая и зачитывая ту или иную строку вслух. *Да как же это могло!.. Как, кто посмел!..*

Весь дрожа, Хайрам заставил себя вернуться к самому началу и прочитать все стихи по порядку.

Никто не знал, к какому выводу он в результате пришел: был ли поэт его сыном или самозванцем, или совершенно незнакомым человеком, случайным тезкой Вёрнона. И, конечно, никто не узнал (потому что никто, даже Ноэль, не смел спросить старика), что он думает о самих стихах – счел ли он эти загадочные “сомнения” провокацией или бредом. Но все прознали, что хорошенькая книжка – с десяток страниц разорваны, несколько смяты в гневе, обложка искромсана – была брошена среди вороха газет, журналов и другой ненужной почты, а потом сгинула в мусоросжигателе.

## Небо

Ненасытный Гидеон Бельфлёр!

Доподлинно неизвестно (вести счет было бы недостойно в глазах Гидеона), скольких женщин он любил в своей жизни – любил, если можно так сказать, взаимно; и тем более неизвестно, сколько женщин любили его. (Безнадежно, вопреки судьбе, даже когда его жестокий нрав стал притчей во языцех.) Но несколько человек в Инвемирском аэропорту, в том

числе бывший пилот бомбардировщика Цара, который станет инструктором Гидеона, знали, что последней женщиной, которую он любил, была высокая неприветливая и загадочная Рэч, она носила облегающие мужские брюки, куртку-хаки и появлялась на аэродроме каждые семьдесят дней, всегда беря напрокат единственный “Хоукер Темпест”, истребитель, чудом выживший в последней войне. “Темпест” был гордостью небольшого аэродрома: у него был двигатель мощностью две тысячи лошадиных сил. И Рэч всегда выбирала именно эту дерзкую машину!

Гидеон влюбился в нее одним ноябрьским днем, когда случайно увидел, как она шла по ангару, спиной к нему, с раздражением заправляя свои темные, неопределенного оттенка волосы под шлем, а вся ее узкоплечая фигурка была в нетерпении устремлена вперед. На ней, как обычно, были мужские брюки. И потрепанная куртка-хаки или, возможно, рубашка. И шлем, к которому, как положено, крепились летные темно-желтые очки. Гидеон уставился ей вслед, потеряв нить разговора, который вел с Царой. Мгновенно, не отдавая себе отчета, он ухватил взглядом ее поджарые ягодицы и бедра, длинную, гладкую линию спины, резкий взлет локтей, когда она убирала волосы, в нетерпении направляясь к своему самолету. Когда Гидеон не ответил на заданный Царой вопрос, тот произнес с печальной улыбкой: ее фамилия — Рэч. Это все, что я могу вам сказать. Мы даже не знаем точно, куда она летает.

Перед этим Гидеон любил жену Бенджамена Стоуна, до нее — девятнадцатилетнюю красавицу по имени Хестер, а еще раньше... Но все эти связи заканчивались плохо. Внезапно и плохо. Со слезами, порой угрозами покончить с собой, и непременно с жалобными причитаниями: “Что я сделала не так, Гидеон, в чем я провинилась, почему ты не смотришь на меня, почему так переменялся...” Как это было утомительно, предсказуемо, а часто глупо! — стоило чувству Гидеона остыть, а это могло произойти за одну ночь, даже за один час, и начинались женские попреки; а щеки, покрытые слезами, пособачьи тоскливые глаза и губы, которые он больше не желал целовать, вызывали у него легкое отвращение. “Что я сделала не так, Гидеон!” — спрашивали женщины иногда дерзким, а иногда хриплым от отчаяния, по-детски неуверенным голосом; почему ты разлюбил меня, что я такого сделала, умоляю, дай мне еще один шанс, почему вдруг...

Хорошее воспитание не позволяло Гидеону просто оттолкнуть женщину или крикнуть ей в лицо: имей хоть каплю гордости! (Как и большинство Бельфлёрсов, он презирал тех,



кто плакал на людях или в ситуациях, когда слезы были совершенно неуместны.) Он едва сдерживался, чтобы не заключить отвергнутую возлюбленную в объятия и покрыть ее лицо поцелуями, чтобы только успокоить ее — но он знал, что лишь продлит ее страдания. Встречал он и женщин, которые, поняв, что любовь прошла, со всей страстью и отчаянием уповали на его жалость, — это презреннейшее из чувств! — и поэтому поневоле выработал тактику: вести себя как можно холоднее и рассудительнее, впрочем, неизменно галантно, пока женщина не смирится с тем, что он больше не любит ее, что “необыкновенное чувство”, которое она пробудила в нем, просто-напросто зачахло.

Но почему, задавал он себе вопрос, порой с раздражением, почему все они его любят? Да еще с такой страстью?

Насколько проще была бы жизнь, часто думал он, родился он с другой внешностью! Как у его кузена Вёрнона, к примеру. Или с другой повадкой, с другой *аурой*.

За месяцы, что прошли после аварии, Гидеон все больше задумывался о своей жизни, хотя думать и тем более размышлять о чем-либо было совершенно чуждо его природе. Вообще, размышления, то есть уклонения от действий с тем, чтобы систематически *думать*, он считал занятием не только не мужским по природе, но и нелепым: как человек может увлекаться мыслями, всего лишь *мыслями*, когда перед ним лежит весь мир! Но после пребывания в больнице Гидеон начал раздумывать о своей жизни, хотя это лишь изредка касалось его семьи и брака, и всего прочего, связанного с замком; зато он часто вспоминал многочисленных женщин, с которыми имел связь на протяжении своей жизни.

А ведь он любил их, и каждую — со всей страстью. Любил до боли, беззаветно и отчаянно. Одну за другой, одну за другой... Его нужда в них была какой-то первобытной, неудержимой, почти пугающей; а его сексуальный голод — неутолимым. Что вовсе не отпугивало женщин — напротив, он пробуждал в них ответную страсть. Или, возможно, лишь пародию на страсть — скорее желание, в основе своей детское, обреченное, возбуждать его аппетит, одновременно утоляя его, и таким образом тешить свое самолюбие: мол, как же я хороша и неотразима, если способна породить в мужчине такую бурю! Оказалось, что множество неприглядных слухов, которые расползлись по окрестностям — например, что он якобы причина смерти не одной девицы, — вовсе не отталкивали от него прочих, он даже догадывался, что такая репутация работает *на* него. Но каким порочным, абсурдным, ничемным все это казалось! Его теща, злорадная, полная

презрения Делла, однажды исхитрилась и прошептала ему на ухо: после бедняжки Гарнет ни одна женщина не будет с тобой счастлива, — и хотя тогда Гидеон ответил лишь коротким кивком, сейчас он понимал, что ее слова оказались вещими. Но разве все эти женщины, скованные по рукам и ногам цепями самообмана, заслуживали счастья? Да и сам Гидеон — все еще, безусловно, привлекательный мужчина — был уже не тот, что прежде.

Он глядел на себя со стороны бесстрастно, даже со своего рода ироническим одобрением. Кожа его приобрела землистый оттенок, даже немного желтушный (а в определенном освещении отливала бронзой) и туго обтягивала резко выступающие скулы. Пока он лежал в больнице, его подвергали бесчисленным унижительным осмотрам и несколько раз обривали голову, так что волосы у него росли неравномерно, жесткими клочьями серебристо-стального цвета, которые он с трудом мог расчесать. Теперь он был безбород, впервые за многие годы. Его заостренный костистый подбородок, как и чувственные губы в форме лука, словно искривленные в нетерпении, не сулили нежности. Глаза в окружении глубоких теней сверкали, сверкали ярче, чем прежде, и он напоминал, не правда ли (так Гидеон, разглядывая “незнакомца” в зеркале, потешался над самим собой), поджарую и подозрительную длинноногую морскую птицу с острым клювом. Его тело как-то усохло — не только живот и талия, но и грудь, и плечи, и бицепсы, и он был уже не так мускулист, не так силен, как когда-то; к тому же — или это ему лишь чудилось? — он как будто стал на дюйм-другой ниже ростом. Казалось, его скелет оседает, проваливается внутрь. А еще он теперь прихрамывал, что придавало ему своеобразный шарм, — сказывалась травма правой коленной чашечки.

Гидеон Бельфлёр, как же ты изменился! И все же он ясно видел: это по-прежнему он, Гидеон. И он по-прежнему хорош, с этим угрюмым, голодным взглядом, с холодной, как у рептилии, улыбкой, которая, похоже, возникала на его лице непроизвольно. Женщин тянуло к нему, они были без ума от него, подчиняясь (после борьбы, которая могла быть намеренно затянутой или мгновенной) его желаниям, — это и называлось “любовью”, “романами”, столь невероятно захватывающими в начале. Может, если он снова обреет голову и будет ходить с эдаким злобным, хитрым и угрожающим видом, как уголовник, думал Гидеон, женщины станут его бояться?.. Или толку будет не много?

Единственная женщина на свете, которая никогда не испытывала к нему желания и уж тем более любви, была Лейя.

Так что он был свободен, не так ли, свободен, как птица, он пьян это свободой и совершенно безгрешен! Мир лежал у его ног, ему оставалось лишь исследовать его. И разве не его собственная теща предсказала, что после Гарнет ни одна женщина не будет с ним счастлива?

И все же Гидеон влюбился — в эту женщину, Рэч, имени которой он так и не узнал.

Еще до встречи с ней в маленьком аэропорту к северу от Ин-вемира Гидеон испытывал к воздухоплаванию очевидный интерес, правда, весьма капризный: он то нарастал, то вдруг полностью пропадал. Затем, прошлой весной, Гидеон договорился о проведении полномасштабного (и дорогостоящего) опыления своих полей при помощи самолета, и на него произвело большое впечатление мастерство немолодого уже пилота Цары. Тот с царственной уверенностью низко парил над полями пшеницы и люцерны, то разворачиваясь, то возвращаясь на прежний курс, то устремляясь вверх в последний момент, у самой лесополосы, и направляя в небо старую потрепанную “Цессну”, казалось, безо всяких усилий, а затем, снижая скорость, шел вниз — и снова устремлялся ввысь; единственный винт с постоянным числом оборотов был почти невидим глазу, а низко расположенные крылья и задранный хвост то казались бесцветными, то сияли в лучах солнца словно охваченные пламенем. Каким виртуозом был Цара! Гидеон тогда наблюдал за ним из своего автомобиля с кондиционером, полностью задрюив стекла, а Цара, пролетая совсем низко над дорогой, помахал ему рукой. Кажется, даже подмигнул. А может, Гидеону это почудилось.

В тот миг он ощутил, что Цара (мужчина далеко за пятьдесят, совершивший на последней войне более двухсот боевых вылетов на бомбардировщике) обладает свободой, превосходящей все когда-либо испытанное Гидеоном. Эта скорость, эта шноровка! И дерзость! И отвага! Цара в летном шлеме и очках — наемный пилот с почасовой оплатой, на своем скромном самолете, летящем низко над полями Бельфлёрров и оставляющем за собой белое облако, — был, в сущности, его, Гидеона, слугой, и все же обладал превосходством и знал неведомые ему тайны.

Проворство самолета, даже при солидном довеске в виде 1800-фунтового бака с химикатами, в глазах Гидеона превращало автомобиль в жалкое пресмыкающееся.

После той аварии автомобили стали вызывать в нем своего рода отвращение. Нет, не сами машины — его по-прежнему восхищал их внешний вид; его раздражал тот факт, что человек за

рулем вынужден передвигаться по дороге; по жалкой полосе асфальта или, хуже того — по грязи или гравию. Как это было предсказуемо, как... приземленно. На самой резвой своей машине он мог разогнаться до ста двадцати пяти миль в час по Иннисфейлскому шоссе, и то глубокой ночью или ранним утром, тогда как даже “Цессна”, самолет-опылитель, развивал скорость в сто пятьдесят одну милю, а уж “Фэрчайлд” с открытой кабиной летал куда быстрее. А ведь был еще “Хоукер Темпест” с укороченными, низко расположенными крыльями и ладно скроенным корпусом слепящего красно-черного окраса.

Кто эта женщина, допытывался Гидеон, та, что всегда берет истребитель? Откуда она знает, как им управлять? Где она получила права? О ней и впрямь никто ничего не знает?

Только одно: ее фамилия Рэч. Хотя даже это не точно: она *замужем* за мужчиной по фамилии Рэч, которого здесь ни разу не видели.

Высокая, стройная, плоскогрудая. С мальчишескими бедрами. И всегда, за секунду до того, как Гидеон замечал ее (он теперь постоянно околачивался на аэродроме), уже с надвинутыми на глаза очками, нетерпеливо заправляющая волосы под шлем. Левая челюсть, сжатые губы, чудесная загорелая кожа. Профиль у нее, как отметил он почти с неприязнью, был аристократический — нос чем-то напоминал его собственный. Он полагал, что ей лет тридцать, может, чуть больше... Не молоденькая девушка, это точно — а он устал, ох как он устал от умоляющей, трепещущей, безутешной страсти юных дев! Возможно, она даже старше, подумал он, почти столкнувшись с ней однажды, когда она спешила к своему самолету. Да сколько бы ей ни было — ему всё любо. Даже если она просто *взглянет* в его сторону.

Он стоял на взлетной полосе, прикрывая рукой глаза и наблюдая, как она выводит машину, стоял, не сходя с места, не смотря на оглушительный рев мотора, с надеждой — надо сказать, призрачной, — что она вдруг не справится с управлением на взлете и самолет покатится, клюя носом, на маковую лужайку. Он стоял на взлетной полосе из шлакобетона, дрожа на ветру в легкой одежде, и глядел, как “Хоукер” уносится все дальше, пока совсем не пропадет из виду, взмывая выше и выше, а потом уходя влево, на запад, в сторону гор. Иногда он ждал, пока Рэч вернется, хотя она всегда отсутствовала подолгу, и его немного задевало, что она видит: вот он стоит здесь, такой основательный, так крепко привязанный к земле, ждет и надеется. Ждет ее. Ждет *чего-то*.

Он теперь испытывал отвращение и к земле как таковой. Его швырнуло на нее бесцеремонно, словно какую-то тряпичную

куклу. Когда его бросило сначала о ветровое стекло “роллс-ройса”, потом прижало к дверце и вытряхнуло на колючее поле снятой кукурузы, он, роняя капли крови в августовскую пыль, кричал: “Джермейн! Джермейн! Боже мой, что я натворил!”. (Да и позже, уже в больнице Нотога-Фоллз, придя в себя от наркоза, в полубреду, Гидеон продолжал звать девочку. С чего он взял, удивлялись люди, что взял с собой в безумную гонку по шоссе свою трехлетнюю дочь?)

Отвращение к земле, к самому себе. Позволил обдурить себя этим мерзавцам, которые испортили его машину. (Но раз он знал об этом, можно ли считать, что его обдурили?) Нелюбовь к самому себе. К передвижению по земле. Почему человек обречен ходить по земле всю свою жизнь? А теперь Гидеон еще и калека, и у него ноет правое колено, и он ужасно напоминает своего отца, которого перестал любить давным-давно, уже трудно припомнить, с каких пор.

*Джермейн!..*

Далеко от дома, в безымянных городках, часто лежа бок о бок с безымянными женщинами, Гидеон просыпался с ее именем на устах. *Джермейн, что, уже пора? Нам наконец пора умереть?*

Ненасытный Гидеон!

Теперь он был одержим небом — и самолетами. Что есть небо, каким образом мы попадаем туда? Как отрываемся от земли?

Влюбился в эту Рэч, а она либо не замечала его, либо приветствовала коротким кивком. От любви к ней его кровь становилась медленной и вязкой, дыхание неровным.

“Цессны” и “Фэрчайлды”, “Бичкрафты”, “Стинсоны”, “Пайпер-Кабы” и прочие маленькие легкие машины, переваливаясь, выруливали на взлетную, проносились над маками, ловили ветер и взмывали ввысь, ввысь...

Он полюбил запах керосина и моторного масла. И тревогу, панику, почти физически ощутимую (ведь всегда есть риск, что самолет разобьется в момент удара шасси о землю), когда Цара возвращался с одним из пилотов-стажеров. Может, мне начать брать уроки? Выставить себя на посмешище? А почему бы и нет, черт побери!

Он мерил шагами маленький невзрачный аэродром, фальшиво насвистывая какую-то мелодию. Болтал о том о сем с механиками, которые сами ни разу не поднимались в воздух, да и не собирались, зато у них были определенные соображения — выдвигаемые довольно осторожно — о том, кто такая эта Рэч. (Кстати, ее права на управление самолетом были выданы в

Германии.) Он бросал монеты в сигаретный автомат, потом курил прогорклые сигареты; его вдруг охватывал голод — и он жевал шоколадные батончики из автомата в конторе управляющего. Гидеон влюблен, ненасытный Гидеон влюблен. Когда “Хоукер” выкатывался на взлетную полосу, поднимался вверх и начинал свой постепенный подъем, Гидеон чувствовал, будто вслед за ним устремляется его душа, истончаясь, редая, пока совсем не растворялась в холодном прозрачном воздухе, и слышалось лишь хлопанье раздутого ветроуказателя. Гидеон знал: это бьется его собственное сердце.

Ненасытный Гидеон Бельфлёр, неприкаянный, дрожащий силуэт на взлетном поле, несчастный, бездомный.

Цара знал, что Бельферы собираются купить аэропорт, но никогда не обсуждал сделку с Гидеоном; если он и открывал рот (а это случалось нечасто), то говорил исключительно о предстоящем полете да о погоде.

В первый раз он поднял Гидеона в воздух на биплане “Кёртис” с поблекшими от времени желтыми крыльями — своим собственном самолете. Гидеон забрался в кабину, чувствуя, как у него на глазах за толстыми стеклами летных очков наворачиваются слезы. В его жизни наступил поворотный момент, это ясно. Он теперь совсем другой человек. Сердце колотилось в груди, как в детстве, и ему было дико страшно.

*Что есть небо, каким образом мы попадаем туда? Как открываемся от земли?*

Старый самолет покатился по взлетной полосе, покачиваясь и вибрируя, и, когда он в последний момент поднялся в воздух (полоса худосочных маков унеслась назад с поразительной скоростью), у Гидеона вдруг перехватило дыхание, и он громко закричал — с детским восторгом, смешанным с ужасом. Ах, как это прекрасно! Невероятно! Они летели! Поразительно — он никак не мог унять дрожь. Его подбородок трясся, дыхание сперло. А когда самолет рванул вверх, желудок Гидеона, будто связанный с землей невидимой нитью, ухнул вниз.

Земля провалилась. Подумаешь, просто отделилась ненужная поверхность. Гидеон в изумлении глядел, как небо разворачивается перед ним и открывается во всем своем величии. Маки исчезли. Поросшее сорняками поле, прилегающее к аэродрому, тоже. Сейчас они, борясь с ветром, в бешеной тряске летели над лесом. Потом над полем. С такой высоты казалось, что река Похатасси вьется по зимним полям узкой полоской, сверкая, словно змеинная чешуя, — такой он никогда ее не видел. Цара направил самолет к реке — и вот

она уже позади, унеслась куда-то назад. Поля, леса, квадраты фермерских участков, дома, амбары, силосные башни, разные постройки, скот, пасущийся на заснеженных пастбищах, — все было такое миниатюрное и продолжало уменьшаться, ведь они устремлялись все выше и выше, — как дико, как чудесно, как невероятно! Конечно, это было обычное дело, да и сами самолеты — обычное дело; Гидеон знал, что ему нечего бояться, и все же не мог унять дрожь, не мог прогнать с сияющего лица безумную, счастливую улыбку. Наконец-то! Вот это радость! Вот это свобода! Его сердце в полете! Его дух парит высоко над землей!

*Вот оно, правда же?* — прокричал он Царе, который, разумеется, не мог его слышать.

### *Веселая свадьба*

Сколько было пылких межконтинентальных телеграмм, а в ответ — закапанных слезами писем; сколько тактичных, со вкусом выбранных подарков посылал лорд Данрейвен своей застенчивой возлюбленной (в канун Михайлова дня — старинное кольцо с одной розовой жемчужиной, на Рождество — японскую шаль, словно пронзенную ярко-фиолетовыми и зелеными всполохами, на Крещение — миниатюрную немецкую музыкальную шкатулку, высланную изнутри черепаховыми пластинами и кованным серебром, — бедняжка Гарнет знала, что не должна принимать их, но ей не хватало духу возвращать подарки из опасения оскорбить чувства поклонника). А когда лорд снова приехал в Америку, вскоре после Нового года, и, разумеется, был приглашен погостить к Бельфлёрам, он неделю за неделей лично доставлял письма для Гарнет в дом миссис Пим, неделю за неделей добивался там “встреч наедине” (разумеется, Делла находилась в соседней комнате, в качестве своего рода дуэньи), неделя за неделей — бессонные ночи, все более нетерпеливые мольбы со стороны лорда при слабеющем сопротивлении со стороны Гарнет; пока в конце концов, к вящему изумлению окружающих, и не в последнюю очередь — самого Данрейвена, девушка не согласилась стать его женой.

— Я не могу сказать — я просто не знаю, сумею ли я когда-нибудь почувствовать к вам любовь, подобную той, какую, по вашим словам, вы испытываете ко мне, — рыдала Гарнет в его объятьях. — Но... но... Если вы и впрямь не считаете меня недостойной, если действительно втайне не испытываете ко мне презрения из-за того, что я отдала свое сердце и душу дру-

гому, — ах, как опрометчиво! — если, как вы утверждаете, брачные узы со мной осчастливят вас и избавят вас от отчаяния, тогда... тогда я не могу отказать вам, ведь вы, лорд Данрейвен, по всеобщему убеждению, самый добрый человек на свете, самый щедрый и самый честный...

От слов Гарнет и без того румяное лицо лорда стало совсем пунцовым, и в первые секунды он, казалось, даже не понял — не смел понять их смысл. Но через мгновение, прошептал: “О дорогая моя! Любовь моя, Гарнет!”, он сжал ее в объятьях еще крепче и запечатлел на ее трепещущих губах горячий, страстный, мужнин поцелуй.

Гарнет Хект — сиротка-полуприслуга, неродная внучка старого Джонатана Хекта, бесприданница, малообразованная и — со времени ее постыдной связи с Гидеоном Бельфлёром и рождения незаконного ребенка — предмет жалости всей округи, эта самая Гарнет Хект станет супругой лорда Данрейвена! Станет женой безупречного джентльмена и проведет с ним всю жизнь в фамильном поместье в Англии!

“Это поистине невероятно”, — говорили все.

“Невероятно, — говорила Лея. — Наша бедная крошка Гарнет станет леди Данрейвен!”

Конечно, не обошлось без лавины сплетен и кривотолков. Однако, как ни странно, лишь немногие злословили по этому поводу. Ибо Бельфлёрам было совершенно очевидно, что девушка всерьез сопротивлялась натиску лорда; что она всерьез намеревалась прервать общение с ним, и не единожды; и речи не шло о том, что она соблазнила его или заставила жениться на себе хитростью. Гарнет, считали они, вела себя с честью. И хотя она не принадлежала к членам семьи, но проявила истинно бельфлёровскую последовательность — в самом деле, какая досада, что они не могли гордиться ею как родственницей.

Прабабка Корнелия предложила устроить свадьбу в замке — все шло к тому, что, если Морна действительно выйдет за сына губернатора Хорхаунда (а их отношения развивались стремительно), свадебный прием состоится в доме губернатора, а не у Бельфлёров. Но точно не раньше июня — если состоится вообще.

— Вы должны позволить нам сделать все, что в наших силах, — обратилась Корнелия к застенчивой паре. — Ремонт в западном крыле почти завершен, третий этаж готов для приема гостей, комнаты одна лучше другой; сам этаж, безусловно, станет идеальным гнездышком для новобрачных: там просто и никто вас не потревожит...



Но в результате Делла настояла — и, конечно, никто не смел ей перечить, — чтобы свадьбу отпраздновали у нее. Гарнет и лорд Данрейвен должны пожениться в англиканской церкви в Бушкилз-Ферри, а после будет небольшая вечеринка в ее доме.

— Гарнет, как все знают, мне больше чем дочь, — сказала Делла, и губы ее дрожали, словно она едва сдерживала слезы. — Я буду скучать по ней, скучать безумно. Но я желаю ей только счастья. Этот брак ниспослан ей свыше. Если там, наверху, и правда кто-то есть.

Так что и венчание, и празднование решили устроить на том берегу озера. Но предстояло определить дату. Дело в том, что лорд Данрейвен, естественно, желал обвенчаться как можно быстрее (ведь он так долго ждал, так бесконечно долго ждал согласия своей любимой, а был он не так уж молод; кроме того, ему не терпелось вернуться на родину), но Джонатан Хект был совсем плох, и существовало опасение, что он умрет со дня на день. Доктор Дженсен не давал никакой надежды. Действительно, мертвенно-бледный старик уже напоминал труп. Корнелия с Деллой обсуждали ситуацию часами. Если рискнуть и назначить свадьбу на начало марта, как, по всей видимости, хотел лорд Данрейвен, велика была вероятность, что Джонатан как раз скончается, и тогда свадьбу придется отложить. Но дожидаться его смерти они тоже не могут, это выглядело бы ужасно. Самое разумное — устроить свадьбу немедленно, но это тоже невозможно, потому что спешка породила бы волну сомнительных слухов, что повлияло бы на торжественный характер церемонии.

В конце концов свадьбу назначили на первую субботу марта, накануне Великого поста.

И свадьба состоялась день в день, без каких-либо помех. Были опасения, что в последний момент Гарнет может передумать, потому что она продолжала сомневаться в правильности этого брака, как и в том, заслуживает ли она любви лорда Данрейвена; но она твердо держалась своего решения и произнесла обеты новобрачной ясным, уверенным голосом. Свет еще не видывал невесты столь изысканной красоты, говорили все. И столь веселой свадьбы.

Небольшая церковь была с большим вкусом украшена лилиями, белыми розами, белыми и розовыми гвоздиками; жених, чьи серебристые волосы были тщательно зачесаны назад, был просто неотразим; ну а невеста — ах, невеста была ослепительна: ее узкие бедра и маленькую, упругую грудь выгодно подчеркивало простого кроя белое платье со сборчатым лифом, а на густых волосах медового оттенка, разделен-

ных на прямой пробор и двумя волнистыми прядями ниспадавших на виски, лежала накидка фламандского кружева — та самая, в которой венчалась Делла. И держалась Гарнет великолепно — нет, не стоит опасаться, шептали даже не слишком сентиментальные из Бельфёров, что она вдруг, покраснев от стыда, побежит по проходу вон или разрыдается в самый важный момент. Ее безупречная молочная кожа сияла (следы страданий последних двух лет бесследно исчезли); а благородно удлиненная шея, как и утонченная грация манер, словно подчеркивали: теперь она действительно *леди Данрейвен*. Единственное, что выдавало волнение новобрачной, это букетик белых и розовых гвоздик, дрожащий в ее руках.

Помимо красоты невесты и нескрываемой любви, которой светилось лицо жениха, эта свадьба стала незабываемой и по другой причине: древний старик Джонатан Хект не только ухитрился дотянуть до этого дня, не испортив праздник, но даже — что, очевидно, стоило ему сверхъестественных усилий — поднялся со своего одра и, пересев в инвалидное кресло, которым он не мог по слабости пользоваться уже лет шесть, явился на свадьбу — и “отдал замуж” невесту.

— Вот так номер! Какой сюрприз! — сказал дедушка Ноэль, пожимая после церемонии руку старику. — Я смотрю, ты идешь своим путем — как и все мы, а?

Ноэль был самым разудалым и шумным гостем на свадьбе. Он заявлял, что с радостью готов смешить народ, перецеловал всех женщин на приеме и настаивал на танце с новобрачной, как если бы она была его дочерью.

— Леди Данрейвен, так, значит? Леди Данрейвен? Я не ошибаюсь? — говорил он, подмигивая, и обнимал зардевшуюся невесту, пока не подросла Корнелия и не увела его. — Ты тоже идешь своим путем! Теперь я это вижу! Я прекрасно это вижу!

Стало быть, Гарнет и лорд Данрейвен наконец-то поженились и вскоре отплыли в Англию, где им предстояло жить до конца дней в добром согласии; веселая свадьба и вправду стала предвестницей счастливого брака. В январе следующего года они отправили телеграмму, так и не полученную, о рождении у них сына; но в целом после отъезда общение между ними и Бельфлёрами практически сошло на нет.

— Что правда, то правда, — говорила Делла с печальной улыбкой. — У каждого из нас свой путь.

И все же...

За каких-нибудь два дня до свадьбы Гарнет тайно вызвала своего любовника Гидеона и с горячностью проговорила с ним около сорока пяти минут.

Она сказала, что хочет лишь попрощаться с ним. Ведь, как ему известно, в субботу она выходит замуж и вскоре после этого отбывает в Англию. Жизнь ее делает поворот, которого она не могла предвидеть.

— Между нами... Между мною и тобой... столько всего произошло, — запинаясь проговорила она. — Будто бы мы... Будто мы и впрямь были *женаты* и вместе скорбели о потере нашего ребенка. Поэтому... поэтому мне захотелось попрощаться с тобой... Наедине.

Глубоко тронутый Гидеон взял девушку за руку и поднес ее к своим губам. Он что-то пробормотал о ее изысканном обручальном кольце — небольшая розовая жемчужина в старинной оправе, — мол, он ничего подобного не видел.

— Да, — рассеянно отвечала Гарнет, — оно очень красивое... Лорд Данрейвен — прекрасный человек, и я с трудом... с трудом... — Глядя в сумрачное, меланхоличное лицо своего возлюбленного (ведь он тоже страдал, возможно, сильнее, чем она), она потеряла нить своих мыслей.

Немного погодя, Гидеон отпустил ее руку. Он пожелал ей счастья в браке там, на ее новой родине. Как она думает, она когда-нибудь вернется в Америку?

Нет, полагала Гарнет. Лорд Данрейвен не раз выражал желание “устроиться на одном месте” — после этого изнурительно суматошного года; было очевидно, что он привык к куда более размеренному образу жизни.

— Он по натуре спокойный человек, — сказала Гарнет. — В отличие... в отличие от тебя. И твоей семьи.

— Да, он прекрасный человек, — промолвил Гидеон. — И заслуживает счастья.

Какое-то время оба молчали. В дальней части дома раздавались бравурные звуки пианино и весело смеялись дети; от камина исходил приятный запах пылающих дров; дверь в комнату, где они находились, была прикрыта неплотно — и, толкнув ее, к ним зашел кот Малелеил собственной персоной, ослепительно красивый в своей зимней шубке. Вопросительно мяукнув, он резво подбежал ближе, словно они с Гидеоном были близкие друзья. В свете люстры в его янтарных глазах, казалось, светился скрытый ум, а роскошный серебристый хвост веером распушался кверху.

— Что ж... — произнесла Гарнет. Она остановилась, часто моргая. — Я только хотела... Я подумала, раз до субботы осталось всего...

Гидеон тяжело кивнул.

— Да, нужно столько всего подготовить, могу себе представить. Ты будешь вся в делах.

— Миссис Пим рассказала мне... что ты купил аэропорт, в Инвемире, это так? Ты учишься летать на самолете?

— Да, — ответил Гидеон.

— Но разве... Разве это не опасное занятие?

— Опасное? — переспросил Гидеон. Он наклонился и стал гладить красавца-кота по голове; казалось, это отвлекло его внимание. — Но мужчина всегда должен к чему-то стремиться, как же иначе. Только в движении жизнь.

— А твоя жена не возражает? — сказала Гарнет тихим, дрожащим, отчаянным голосом.

— Моя жена?.. — спросил Гидеон, словно не понимая.

— Да, неужели она не возражает? Ведь, это, конечно, очень опасно.

Гидеон рассмеялся и выпрямился. Гарнет не могла истолковать его реакцию.

— Только в движении жизнь, — проговорила она. — Я запомню это.

Она улыбнулась своему возлюбленному прелестной и печальной улыбкой, столь обворожительной, что ему пришлось отвести взгляд.

— Что ж, — прошептала она, — наверное, нам пора попроситься. Полагаю...

Малелеил потерял о ее ноги и завел свою булькающую горловую песню, но, когда она нагнулась, чтобы погладить его, он вдруг уклонился, запрыгнул на спинку стула, а оттуда на каминную полку. Хрустальная ваза, задетая его хвостом, зашаталась и чуть не упала.

— Да, наверное пора, — сказал Гидеон.

Он был сейчас совсем смиренен, почти торжественен. Хотел ли он зарыдать, закричать в голос, как она? В последние месяцы у него на лице появилось скорбное выражение. Но, несмотря на впалые, изборожденные морщинами щеки, глаза с темными тенями и почти жестокий изгиб губ, он был по-прежнему неотразимо хорош собой. Гарнет почувствовала укол блаженного испуга: она понимала, что обречена носить образ этого мужчины в самом потаенном уголке сердца всю свою жизнь.

— Но если в последний миг, — вдруг воскликнула она, и сердце как бешеное колотилось у нее в груди, — если... даже на пороге церкви... Или после церемонии, когда мы будем уезжать... Знай, если ты подашь мне знак, если поднимешь руку, так, словно... словно по случайности — о, даже в самый последний миг, Гидеон, знай, я прибегу к тебе!

И тут несносный кот перепрыгнул с каминной полки на стол и в прыжке все-таки смахнул вазу на пол; она разлетелась на дюжину крупных, причудливой формы осколков.

Когда новобрачные уже садились в семейный лимузин Бельфлёров и, стоя на пороге дома Деллы, махали на прощанье ликующим гостям, у Гидеона, стоящего позади в тяжелом ондатровом пальто и шапке (мартовский ветер принес с собой пронзительный холод), зачесалось ухо; он машинально поднял было руку — но вдруг замер. Потому что увидел, *как* смотрит на него Гарнет.

Она тоже усердно махала гостям. Ее прелестные ручки в белых перчатках летали в воздухе, как пташки, чудесные волосы развевались на ветру — и вдруг, увидев, что он вроде бы хочет сделать какое-то движение, она вся застыла. И уставилась на него с выражением, в котором смешалась надежда, ужас и неверие.

Но Гидеон не стал чесать ухо. Медленно, очень медленно он опустил руку. Я потерплю, подумал он, несмотря на сильный зуд, потерплю, пока лимузин не скроется из виду, мчась по дороге к Фоллз.

### *Барабан-из-кожи*

Непостижимо! И зачем он вообще это затеял? По какой причине впал с такой цинизм, в такое безрассудство? Только вообразите: великий Рафаэль Бельфлёр пожелал, чтобы с него сразу после смерти (которую он, без сомнения, приблизил сам, буквально уморив себя голодом и не принимая ни одного из лекарств, прописанных доктором Уистаном Шилером) *сняли кожу* и, должным образом обработав, натянули на кавалерийский барабан времен Гражданской войны, который надлежало держать, согласно его завещанию, “навсегда и во веки веков”, на лестничной площадке первого этажа у подножия раздвоенной витой лестницы, которая вела в главную залу замка Бельфлёров! Человек, построивший этот замок, решил в прямом смысле остаться в нем навечно — в виде барабана, в который надлежало бить ежедневно (опять-таки, согласно его завещанию, хотя это условие никогда не будет соблюдаться), возвещая о начале трапез, или прибытии гостей, или о других важных событиях... Немыслимая порочность! — говорили люди, смеясь и поживаясь. А ведь он, между прочим, находился в здравом уме, так что оправдания этому не было.

Если в барабан — Барабан-из-кожи прапрапрадеда Рафаэля — били как надо, он издавал четкий, звенящий, повелительный рокот, который магическим образом проникал в каждый уголок замка. Услышав его (с барабаном иногда

забавлялись дети, рискуя получить серьезный нагоняй), Бельфлёры вздрагивали, а потом долго сидели, уставясь в пространство. Он здесь, думали члены семейства — все без исключения, даже самые ярые противники предрассудков, — старый Рафаэль, живой, как прежде.

Часто барабан не производил впечатления — поначалу. Потому что дети, демонстрируя его кузенам или друзьям, как правило, скрывали самую важную информацию о нем — что он сделан из человеческой кожи. Они рассказывали, что это настоящий барабан времен Гражданской войны, отлично сохранившийся, с латунными деталями и выцветшими красными бархатными ленточками, не слишком отличавшийся от подобных барабанов, которые гости могли видеть и в других местах. Держи, ты же не прочь постучать по нему, — говорил тогда кто-нибудь из детей приятелю, протягивая палочки, — послушай, как он звучит!

Как-то один из мальчиков (а именно — Дейв Синкфойл, а случилось все за несколько дней до загадочной гибели сына Дуонов) схватил палочки и, неловко зажав барабан между колен, словно оседлал лошадь, вдруг так лихо по нему застучал и стал хохотать, и был настолько заворожен его звуком (судя по четкой дроби, у паренька был врожденный талант к игре на ударных), что просто не мог остановиться. Широко улыбаясь и посмеиваясь, порой ловя ртом воздух, он восседал на лестничной площадке и молотил палочками что есть мочи, а руки его двигались с такой скоростью, что сливались в единое пятно, лицо заливал пот, а глаза лихорадочно сверкали; мальчики Бельфлёры безуспешно уговаривали его уняться — они ведь и предположить не могли, что их кузен настолько увлечется этой штуковиной! Постепенно к лестничной площадке стали сходить, зажимая уши, и другие обитатели замка — даже самые терпеливые из слуг и самые младшие дети, — но Дейв никак, никак не мог остановиться, пока наконец Альберт не вырвал у него из рук палочки, прокричав в испуге: “Бога ради, довольно!”.

Уже после Дейву рассказали, что на самом деле барабан сделан из кожи прапрапрадеда Рафаэля — он, кстати, был прапрапрадедом и самого Дейва. Он уставился на ребят со слегка отвисшей челюстью и странной диковатой улыбкой, а потом, вытерев потное лицо, сказал, что догадался об этом, — может, он слышал эту историю от родителей или находясь в замке, но нет, он был уверен, что сам догадался об этом, пока бил в барабан. Не о том, что он именно из кожи Рафаэля, конечно. А о том, что сделан он из человеческой кожи, более того — из кожи кого-то из Бельфлёров.

— Да, — сказал мальчик с неуверенным смешком. — Я и сам догадался. Это *он* заставил меня играть без остановки.

[222]

ИЛ 11/2021

Многим было известно, что личный врач старого Рафаэля, прославленный Уистан Шилер, старался отговорить его от этой “барабанной блажи” (доктор Шилер сам придумал это выражение, возможно, в попытке как-то развеять власть безумной идеи над воспаленным мозгом больного), он обращал внимание на то, что экстравагантное желание Рафаэля, этот нелепый каприз, может напрочь затмить другие, куда более важные достижения его жизни. Он, в конце концов, построил замок Бельфлёров! В горах Чотоква просто не было ничего подобного, замок бедняги Ганса Дитриха не шел с ним ни в какое сравнение ни по великолепию, ни по размаху, а монстр в готическом стиле, сооруженный ниже по течению братом “зернового барона” Донохью, в лучшем случае смахивал на домик для рыбалки и охоты. Кроме того, Рафаэль был основателем — не так ли — Республиканской партии, во всяком случае здесь, на севере, и создал свою “хмельную” империю буквально с нуля, выплачивая, в годы расцвета, недельное жалованье более чем тремстам рабочим... Всем было известно, что он жил с королевским размахом: гостями замка были судьи Верховного суда, в том числе великий и ужасный Стивен Филд, пивной король Кили, сенаторы Клепмайстер и Фокс, сюда приезжали принц Уэльский с официальным визитом, госсекретарь Сьюард, военный министр Шофилд, генеральные прокуроры Спид, Стэнбери, Хоур, Тафт, Натан Гофф, после подачи в отставку с поста министра военно-морского флота и (правда, с совсем краткими визитами) Шайлер Колфакс, тогда еще вице-президент страны, Хэмилтон Фиш, сразу после скандальной “вирджинской” истории, и даже, лишь на полдня, заезжал Джеймс Гарфилд во время своей президентской кампании. Однажды в замке собирался провести выходные Честер Артур, но в последний момент был вынужден остаться в Вашингтоне в связи с болезнью своей супруги; Улисс Грант принял приглашение, но так и не появился; и конечно, был еще загадочный “Авраам Линкольн”, нашедший прибежище в замке Бельфлёров, где ему и суждено было прожить до конца своих дней.

(Доктор Шилер никогда не разговаривал с этим человеком, ибо Рафаэль старался никого не допускать к высокому гостю, но ему довелось несколько раз увидеть того довольно близко — и действительно, старик напоминал покойного президента. Осунувшийся, со впалыми щеками, меланхолического вида, с печатью ума на лице и с бородой, похожей на ту, что

носил бывший президент; только был он намного ниже ростом, так что, конечно, это был не Линкольн, да и не мог им быть; и почему Рафаэль так держался за эту блажь, а может, искренне верил в нее — доктор Шилер понять не мог. Возможно, в своем преждевременном слабоумии бедный старик так желал стать значительной политической фигурой, а потерпев неудачу на этом поприще, — считаться близким другом значительной политической фигуры, что выдумал себе собственного Авраама Линкольна?.. На своем, как оказалось, смертном одре Рафаэль “открылся” доктору: президент Соединенных Штатов был на грани отчаяния, даже самоубийства (почти раздавленный приступами паники, грузом вины и ужаса из-за гибели бесчисленного количества сторонников Союза; оскорбленный недостойным поведением и спесью военного министра Кэмерона и в придачу вероломством Конгресса; павший духом из-за общей сумятицы в стране, даже в тех ее частях, где не велось масштабных сражений), сознавал (хотя в то время он никому в этом не признавался), что поступил дурно, несправедливо, отправив в заключение так много гражданских лиц, в Индиане и не только, лишь по подозрению в сочувствии рабовладельцам, — и был уверен, что должен понести наказание. Поэтому при содействии Рафаэля Бельфлёра, которого впавший в уныние президент считал единомышленником, он придумал целый план: нанять актера, который “убьет” его у всех на глазах, после чего положить в гроб искусно изготовленную восковую фигуру и выставить на обозрение тысяч скорбящих, а самому, отдав дань смерти, укрыться в райских кущах Чотоквы в качестве постоянного гостя Рафаэля. По утверждению Рафаэля, все прошло идеально, и Линкольн провел остаток лет в поместье почти в самозаточении; он бродил по лесам, глядя на озеро и горы, читал Платона, Плутарха, Гиббона, Шекспира, Филдинга и Стерна, а долгими зимними закованными в лед вечерами играл в шахматы и триктрак с хозяином замка, который и сам постепенно превращался в отшельника. Как раз вскоре после “убийства” Линкольна, как поведал Рафаэль доктору, он начал задумываться, как увековечить себя в смерти бескровным и все же незабываемым образом.)

Но почему Рафаэль хочет поглумиться над собственным достоинством, надругавшись над своим телом, и настаивает, чтобы наследники освежевали его и превратили в барабан? Доктор Шилер просто не постигал этого.

Рафаэль вежливо молчал, обдумывая ответ. В последние годы он двигался медленно, с патрицианской сдержанностью. Каждое его действие, даже самое незначительное и



тривиальное – например, когда он брал чашку, – было выверено и исполнено иронии, но и напряжения, заметного любому, кто наблюдал за ним. Если раньше девизом его жизни был кураж, то теперь – ирония.

– Так вы хотели спросить, – наконец произнес он, – почему я выбрал именно барабан, а не какой-то иной инструмент? В таком случае я могу лишь ответить: это первое, что пришло мне в голову. Просто у нас в хозяйстве был кавалерийский барабан.

Доктор Шилер намеренно проигнорировал безупречно поданный сарказм и мягко ответил:

– Я хотел спросить, господин Бельфлёр: почему вы хотите поглумиться над собой, надругавшись над собственным телом таким странным образом? Я, пожалуй, никогда не слышал ни о чем подобном.

– Да разве это глумление? – спросил старик, в удивлении подняв брови. – Я полагал, это своего рода бессмертие.

– Бессмертие! Быть натянутым на ударный инструмент, на котором вашим потомкам велено играть, по крайней мере, несколько раз в день! – воскликнул доктор. – Это что-то невысказанное.

– Я приказал построить достойную усыпальницу по собственному эскизу – прелестный мавзолей с отделкой из белого итальянского мрамора, с изящными коринфскими колоннами и прекрасными, почти бесплотными ангелами с выразительными глазами, на страже которого стоит сам Анубис, – произнес Рафаэль, словно с трудом извлекая слова. – Но увы, его некому со мной разделить. Миссис Бельфлёр, как вам известно, решила попрощаться с нами весьма мистическим образом; мои сыновья, Родман и Сэмюэль, просто-напросто исчезли. Сомневаюсь, что они когда-нибудь отыщутся – вряд ли они объявятся даже после моей смерти. Плач Иеремии – мой единственный наследник, но вы знаете, во что он превратился.

– Он целеустремленный, великодушный молодой человек.

– Недоумок. А его жена Эльвира, вы, конечно, знаете, что она вернулась в отчий дом – на время, как она утверждает, чтобы разрешиться там от бремени, – видите ли, атмосфера замка внушает ей беспокойство!.. И я сомневаюсь, что эта упрямяца вернется обратно, пока я жив.

– Она любит вас, но, возможно, обстановка в замке действительно пугает ее. Учитывая эту вашу идею...

– Любит! – презрительно фыркнул Рафаэль. – Ничего подобного. Да и мой сын меня не любит. И не то что меня это

печалит. Именно поэтому я и хочу, чтобы мое желание было исполнено согласно моей последней воле.

- Поэтому?.. — озадаченно спросил доктор Шилер.
- Именно, — уверенно сказал Рафаэль.

Через много лет после скандала доктор Шилер был вновь приглашен к Бельфлёрам для лечения Рафаэля, который заметно сдал после третьего проигрыша на выборах и страдал от “вялого кровообращения”, бессонницы и хронической депрессии. Доктору было ясно, что его подопечный махнул рукой на свою жизнь и лишь по инерции задает какие-то вымученные вопросы, вроде того, какие лекарства ему нужно принимать для улучшения состояния. Он часто бродил в проливной дождь по огороженному стеной саду или медленно брел вдоль берега озера, тяжело опираясь на трость, а его пенсне на шнурке-резинке болталось на уровне груди. Он не заботился о том, чтобы вовремя менять белье, даже чтобы бриться; его брови кустились; он постоянно бормотал себе под нос и порой скалился, все перемалывая старые споры.

Он трижды баллотировался на пост губернатора и трижды проиграл! И в последний раз поражение было самым унижительным. Сотни тысяч долларов коту под хвост... Его надежды, силы, идеализм — туда же... Конечно, в прессе, в передовицах, против него развернули атаку. Были и комические шаржи, и мерзкие карикатуры. Пасквили-“разоблачения” от нахальных журналюг: “Собиратели хмеля у Бельфлёров живут хуже свиней”. Или: “Работники Бельфлёров мрут как мухи”. Прервав предвыборную кампанию, он примчался домой, чтобы распорядиться об уборке в бараках, и правда не блиставших чистотой, но опоздал — уже разразилась эпидемия инфлюэнцы; то лето выдалось необычайно дождливым, следующее тоже; он не сумел нанять достаточно рук, и хмель созрел раньше времени и начал гнить на корню... Сотни тысяч долларов гнили на корню! Его зеленые джунгли, сотни акров, где лоза спиралью оплетала шесты, спелая, переспелая, гниющая в лужах под лучами солнца. *А как все радовались, узнав о том, что он разорен!*

Хейес Уиттиер тоже его предал. Сын Хейеса, туберкулезник, наконец умер — его не спасло пребывание у вод Лейк-Нуар, — но вовсе не из-за смерти сына Хейес вдруг ополчился на него и даже (хотя слухи ходили разные) публично выступал с его критикой в последние дни его провальной кампании. Хейес был влюблен в Вайолет. По крайней мере, так все выглядело. Его поразила, как он выражался, некая “загадка” в ее лице. (Возможно, причиной тому было ее фатальное увлече-

ние этим полудурком, венгерским плотником, чье имя Рафаэль не потрудился запомнить.) Ему казалось, что сентиментальная страсть Хейеса к Вайолет возрастала по мере того, как ухудшалось здоровье его сына. Он глядел на нее затуманенным, бессмысленным взором. Всегда с радостью сопровождал ее на прием или обед, однажды даже на роскошные “общественные” похороны какой-то шишки в Вандерполе; влюбленный взгляд Хейеса забавно контрастировал с его массивным телом и длинными растрепанными бакенбардами, с его грузной женой (это была большегрудая Гортензия Фрайер, дочь епископа) и с его репутацией одного из самых компетентных и амбициозных лидеров Республиканской партии. Тот факт, что он предавал своих товарищей и довел по меньшей мере одного из них (Хью Баутвелла, бывшего кандидата в сенаторы) до преждевременной могилы, Рафаэль считал лишь подтверждением авторитета этого человека; он и подумать не мог, что Хейес когда-нибудь пойдет против него.

“Возьми меня с собой в Вашингтон, — умоляла его Вайолет в то роковое апрельское утро (накануне, почему-то запомнил Рафаэль, было Вербное воскресенье). — Мне невмоготу оставаться в замке, когда тебя нет”, — а он, раздраженный внезапным жениным капризом, нетерпеливо заметил: “Моя дорогая, я ведь буду в отъезде всего два дня! Поездка в коляске утомит тебя, и нам придется тут же ехать обратно — это, знаешь ли, не увеселительная прогулка”. — “Тогда вели, чтобы наши гости отложили свой визит”, — сказала Вайолет. “Об этом не может быть и речи! — отвечал Рафаэль, глядя на нее через пенсне. — Быть может, мне послышалось? Ты сказала: ‘Вели, чтобы гости!..’”. — “Но Уиттиеры, они такие...” — “Оба? — перебил ее Рафаэль с загадочной улыбкой. — Ты говоришь о...” Она заметалась по комнате, словно актриса, изображающая отчаяние, даже пряди волос выбились из прически, вот чертовка, сейчас она казалась своему мужу просто упряницей, ничуть не очаровательной, ведь она подвергла сомнению его веру, его супружескую, нерушимую веру в нее. Да как она могла вообразить, что он поверит, будто она способна уступить докучливому вниманию Хейеса Уиттиера!.. Какая грязь, как чудовищно! Рафаэль схватил ее сиреневый зонтик — дурацкая французская штучка, вся в оборочках — и швырнул его об стену. “Мадам! — вскрикнул он резко, оскорбленный. — Вы унижаете сам дух нашего дома, и такого рода чувства я могу лишь презирать и отвергать — всем, что заключено во мне!”

Гораздо позже — тогда и сама поездка в Вашингтон, и ее жалкие плоды были позабыты — Рафаэль был приглашен на

обед в Манхэттене, где присутствовал Хейес и еще несколько джентльменов; и, отметив почти осязаемую холодность Уиттиера, его нарочитую любезность, он понял — с облегчением и благодарностью, — что его, мужа, вера в добродетель Вайолет была не напрасна, нет, она не могла стать любовницей этого пузатого мужичка с пушистыми бакенбардами даже на одну ночь; сама мысль об этом казалась непристойной. А как поживает миссис Бельфлёр, спросил Хейес за бренди и сигарами, весьма рассеянно, избегая взгляда Рафаэля, и тот коротко обронил: Вайолет здорова.

— Возможно, вы хотите унижить сами себя, — осторожно начал доктор Шилер, — потому что испытываете, пусть и не проговаривая вслух, чувство вины за ее...

— Ничего подобного, — ответил Рафаэль. — Это она должна испытывать вину, а заодно и стыд. Разве она не предала меня? Не предала свои свадебные обеты, столь беспричинно лишив себя жизни?

— Вина, о которой я говорю, — неосознанная, — сказал доктор Шилер. — Она никем не доказана. Напротив...

— Это она должна стыдиться и все остальные, — сказал Рафаэль слабым, усталым голосом.

— Понимаете, такого рода вина...

Рафаэль вдруг расхохотался. Усаженный так, чтобы опираться на подушки, истекающий потом в жестоком приступе инфлюэнцы, которую он подхватил, по мнению доктора, вследствие неразумной полуночной прогулки вдоль берега озера под сильным дождем, этот почти старик был будто не от мира сего и одновременно чуть ли не *провидцем*. Он вдруг соорудил гримасу, перекосив пол-лица, и подмигнул доктору.

— Простите, но я просто не мог не вспомнить... о моем... о моем деде Жан-Пьере, я думаю о нем не так уж часто... Ведь я не знал его, он умер до моего рождения, давно уже умер, а ведь если бы он не умер, он и все остальные страдальцы, то я бы никогда не появился на свет, так что... Так что есть определенные вещи, о которых ты просто не думаешь, если хочешь сохранить рассудок, пока не придет время и все не выйдет наружу... Но о чем бишь я... кажется, я потерял мысль...

Доктор Шилер положил ладонь на пылающий лоб больного и попытался успокоить его.

— Мы беседовали с вами об умозрительных вещах, — сказал он мягко. — Возможно, сейчас не лучшее время...

— Вина, — сказал Рафаэль, с силой смахнув руку врача. — Моей жены ли, моя ли, говорите, что хотите. Вина, стыд и все, что прилагается. Я вдруг вспомнил об одном из трюков

старого пройдохи: продажа “лосинового” навоза в Эдемской долине. “Несравненный, арктический навоз высочайшего качества”! Он продал целых двадцать пять возов, как я помню, по семьдесят пять долларов за каждый, каким-то недоумкам-фермерам. И они купили, понимаете, купили! — воскликнул Рафаэль, снова принимаясь хохотать, даже прихрюкивая. Из его сощуренных, стального цвета глаз потекли слезы. — Лосиный навоз! Старый, спятивший пройдоха. Неудивительно, что он умер так, как умер, — по-другому быть *не могло*... А Луис... И остальные... Если бы они не умерли, я бы никогда не появился на свет. Ни я, ни Фредерика, ни Артур. Так-то. Видите ли, дело в том, доктор Шилер, — Рафаэль смеялся так безудержно, что его вдавленная грудная клетка ходила ходуном, — что все это в конечном счете лосиный навоз. Ваши теории, моя вина, или ее, или их, кого угодно — все это *лосиный навоз*. Отменный, высочайшего качества, арктический, богатый азотом навоз.

Доктор отодвинулся от постели больного и смотрел на него ледяным взглядом. Через некоторое время, пока Рафаэль продолжал хохотать, с самозабвенностью, которая не подобала ему ни по состоянию здоровья, ни по положению, добрый доктор сказал:

— Господин Бельфлёр, я отказываюсь понимать причину вашего веселья.

Но Рафаэль, умирающий Рафаэль, все смеялся и смеялся.

И вот легендарный Бельфлёр умер, ибо это была самая прискорбная часть проклятья Бельфлёров: все умирали... в старости или в юности, со страстным желанием или с отвращением, никто не мог избежать этого, всем приходилось умирать.

В своей кровати, от болезни, или в чужой постели. В водах озера, зловещего, непроницаемого; или прямо на скаку; с “огоньком”, в пламени пожара; или в результате несчастного случая, в родном доме — например, поскользнувшись на ступеньках лестницы главной залы; или от заражения в результате кошачьей царапины. Бельфлёрам суждена необычная смерть, как однажды заметил Гидеон задолго до своей собственной смерти; но его версия не была стопроцентно верной.

Так, смерть Рафаэля никак нельзя назвать “необычной”. Сердечный приступ вследствие жестокой пневмонии; кроме того, он, что поделаешь, был немолод — преждевременно состарился. Только умер он не в своей удобной кровати с балдахинном, а на полу в гостиной Вайолет, которую сохранили точ-

но в том виде, в каком она оставила ее в ночь самоубийства. (Каким образом разбитый болезнью старик добрался туда, не понимал никто. Накануне казалось, что силы покинули его.) Рафаэль скончался в комнате Вайолет июньской ночью, тело его наутро обнаружил слуга: покойный ничком лежал на ковре рядом с клавикордом. Со скамейки была сброшена зеленая бархатная накидка, но крышка инструмента была опущена.

Конечно, траур был объявлен по всему штату, и даже многочисленные старые враги Рафаэля, которые издевались и сплетничали за его спиной, были удручены этим известием. Рафаэль Бельфлёр, построивший этот чудовищный замок, умер, словно... простой смертный!

Говорили, что Хейес Уиттиер, живущий в собственном особняке в Джорджтауне и прикованный к инвалидной коляске, разрыдался, услышав эту новость.

— Это конец великой эпохи, — сказал он. — Америка больше никогда не узрит ничего подобного. (Несмотря на то, что его опубликованные посмертно “Мемуары”, к разочарованию многих, лишь вскользь затрагивали его частную жизнь — при всей провокативной откровенности, что касалось жизни политической, — судя по меланхоличной, безнадежной интонации, с которой он описывал “прекрасную англичанку” с загадкой во взоре, хозяйку замка Бельфлёров, напрашивался вывод, что он никогда не был любовником Вайолет.)

Итак, умер великий человек, который в свои лучшие годы был мультимиллионером; его единственный наследник, Плач Иеремии, не посмел послушаться последней воли отца. С Рафаэля действительно сняли кожу, должным образом обработали, а затем натянули на кавалерийский барабан, который многие годы висел на особом месте на нижней площадке витой лестницы главной залы. Барабан единодушно считался весьма неплохим инструментом, в своем роде. Безусловно, он не мог похвастаться грациозным великолепием клавикорда Вайолет — но был по-своему красив.

Барабан-из-кожи использовали согласно желанию Рафаэля — то есть били в него по особым случаям — считанные разы (после рождения Жан-Пьера Второго; в ночь на новый, 1900 год; в годовщину смерти Рафаэля); это делал слуга в форменной ливрее, привратник и мастер на все руки, который некогда, во времена Гражданской войны, служил барабанщиком. После ухода слуги из замка Иеремия пытался сам заменить его — но губы бедняги тряслись, а палочки несколько раз выпадали из онемевших пальцев; на этом все и закончилось. Больше никто не хотел бить в Барабан и уж тем более — слышать его

звук. Ибо треск он издавал поразительный, всепроникающий, который было не забыть.

Зато случилось следующее, чего Рафаэль никак не мог предвидеть: Барабан стал невидимым.

[230]

ИЛ 11/2021

Нет, конечно, он так и оставался висеть на лестничной площадке долгие годы, но его никто... не видел, даже девушка-служанка, которая дежурно смахивала с него пыль; и только когда Лея стала готовить замок к празднованию столетнего юбилея прабабки Эльвиры, все вдруг осознали, *что это такое*, и тогда вдруг Барабан привел всех в ужас, вызвал отвращение и стыд, после чего кто-то (по всей вероятности, Лея) велел убрать его, “для сохранности”.

Так что Барабан был обречен на существование — в кладовке ли, на чердаке или в темных недрах подвала — до тех пор, пока стоит замок Бельфлёров.

# ЙОРГОС СЕФЕРИС

## *Речь в мэрии Стокгольма по случаю вручения Нобелевской премии 10 декабря 1963 года*



*Нобелевская премия  
1963 года*

[231]

ИЛ 11/2021

*Перевод с новогреческого* ОЛЕГА ЦЫБЕНКО

В настоящий момент я чувствую, что являю собой очевидное противоречие. Действительно, Шведская академия решила, что мои усилия на литературном поприще, на языке, на котором разговаривают веками, но который в его нынешней форме не имеет широкого распространения, заслужили столь высокого отличия. Она пожелала оказать честь моему языку, а я сейчас выражаю благодарность Шведской академии не на моем родном языке, а на чужом. Прошу вас извинить меня за это.

Я принадлежу малой стране. Моя страна — всего лишь небольшой каменистый мыс в Средиземном море, у которого нет иного блага, кроме борьбы ее народа, моря и света солнца. Наша страна малая, но традиция ее огромна и непрерывна. Греческий язык никогда не переставал быть разговорным. Он претерпел изменения, которые претерпевает все живое, но в нем нет никакого зияния. Другая характерная черта этой традиции — человечность, приверженность к справедливости. Древнегреческая трагедия всегда выстраивается так, что человека, преступившего меру, обязательно покарают Эринии. Тот же закон действует и по отношению к явлениям природы. “Солнце не преступит положенных мер, а не то Эринии, служительницы Правды, разыщут его”, — говорит Гераклит.

Думаю, что современному ученому было бы весьма полезно задуматься над этим изречением ионийского философа. Что



же касается меня, я испытываю особое волнение, замечая, что чувство справедливости настолько сильно пропитало греческую душу, что оно стало главным для нее и для мира природы. Один из моих учителей в начале прошлого века писал: "...мы погибнем, потому что совершили несправедливость..."<sup>1</sup>. Этот человек был неграмотен: писать он научился в возрасте тридцати пяти лет. Однако и в сегодняшней Греции устная традиция уходит в прошлое так же далеко, как и письменная. Для меня имеет большое значение то обстоятельство, что Швеция решила оказать честь и этой поэзии, и всей поэзии вообще, даже когда поэзия исходит из народа немногочисленного. Потому что я полагаю, что современный мир, в котором мы живем, мир, измученный страхом и беспокойством, нуждается в поэзии. Корни поэзии пребывают в человеческом дыхании: что же будет с нами, если дыхание наше ослабеет? Речь идет о доверии, и одному Богу известно, не происходят ли переживаемые нами ужасы из-за отсутствия доверия.

Год назад за этим же столом отмечали, что между открытиями в современной науке и в литературе существует очень большое отличие, а между древнегреческой драмой и современной отличие небольшое. Да, кажется, что поведение человека в основе своей не изменилось. И нужно добавить, что всегда ощущается потребность слушать тот человеческий голос, который мы называем поэзией. Человеческий голос, который каждое мгновение подвергается опасности, умолкает из-за отсутствия любви и все же постоянно возрождается. Гонимый, он знает, где найти убежище; отвергаемый, он инстинктивно старается укорениться в непредвиденных местах. В мире для него не существует больших и малых стран. Его царство в сердцах всех людей земли. Он обладает даром всегда избегать механистичности, автоматизации. Я приношу благодарность Шведской академии, которая почувствовала это, почувствовала, что языки так называемого ограниченного пользования, не должны становиться оковами, в которых задыхается биение человеческого сердца, не должны стать неким ареопагом, способным "судить казенной справедливостью несправедливость жизни", если вспомнить Шелли, вдохновлявшего, как говорят, Альфреда Нобеля — человека, который сумел искупить неизбежность насилия величием своего сердца.

1. Речь идет о Макрияннисе. Здесь Й. Сеферис допускает хронологическую неточность относительно "начала прошлого" (т. е. XIX в.), поскольку "Воспоминания" Макриянниса были написаны позднее. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

В этом постоянно сжимающемся мире каждый из нас нуждается во всех остальных. Нужно искать человека, где бы он ни находился.

Когда по дороге в Фивы Эдип встретил Сфингу и она задала ему свою загадку, ответом на которую было: человек, — это простое слово погубило чудовище. Нам нужно уничтожить множество чудовищ. Задумаемся же над ответом Эдипа.

Наконец, я хочу сказать о поколении, пришедшем вслед за нами, о том поколении, детские и юношеские годы которого травмированы в годы последней войны. Конечно же, у него другие проблемы и другая перспектива: Греция становится индустриальной страной. Нации все более сближаются. Мир меняется. Процессы в нем все более ускоряются. Можно сказать, что изображение бездн либо в человеческой душе, либо во Вселенной стало характерным для сегодняшнего мира. Время как понятие тоже изменилось. Современная молодежь страдающая и беспокойная. Я чувствую ее трудности, которые, впрочем, не так уж и далеки от трудностей, которые переживали мы. Великий предвестник нашей свободы Ригас<sup>1</sup> учил: “Кто мыслит свободно, мыслит правильно”. Хотелось бы пожелать нашей молодежи подумать и о словах, высеченных на притолоке входа вашего университета в Упсале: “Мыслить свободно — важно, мыслить справедливо — еще важнее”<sup>2</sup>.

1. Ригас Фереос (или Велестинлис) (ок. 1857–1898) — греческий революционер, писатель и переводчик, один из предвестников Греческой революции 1821 г.

2. Последний абзац взят из второго варианта речи Й. Сефериса. Первый вариант был произнесен 10 декабря 1963 г. во время торжественного ужина в мэрии Стокгольма после церемонии вручения Нобелевской премии; второй — в Шведской академии во второй половине дня 11 декабря. Оба варианта были написаны Й. Сеферисом по-французски, а затем переведены автором на греческий.

# ЙОРГОС СЕФЕРИС

## Стихи

[234]

ИЛ 11/2021

Перевод с новогреческого ОЛЕГА ЦЫБЕНКО

Из сборника “Тетрадь упражнений”  
(1928–1937)

По поводу одного чужого стиха

Элли, Рождество 1931 года

Счастлив проделавший странствие Одиссея<sup>1</sup>.  
Счастлив, если в начале пути он чувствовал, что в  
теле его простерты снасти крепкие любви, словно  
жилы, гудящие кровью.

Любви в неутомимом ритме, неодолимой, как музыка,  
и непрестанной,  
потому как родилась она с нашим рождением, но,  
когда мы умрем, умрет ли она — про то ни мы, ни  
кто другой не знает.

Молю бога помочь мне высказать в минуту великого  
блаженства, какова она — эта любовь.

Иногда, возвратившись с чужбины, я слушаю ее  
далекий гул, словно шум моря, сочетавшегося с  
неизъяснимой бурей.

© Олег Цыбенко. Перевод, 2021

1. *Счастлив проделавший странствие Одиссея... — Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage* (в оригинальной орфографии: *Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage*). Начальная строка стихотворения из сборника “Les regrets” (“Сожаления”) Жоашена дю Белле, выдающегося французского поэта XVI в., члена “Плеяды”. Стихи сборника были написаны в 1553–1557 гг., во время пребывания поэта в Риме, и изданы по возвращении в Париж в 1558 г. Основной мотив стихотворения — тоска по родине. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, — прим. перев.*)

И тогда вновь и вновь является мне призрак Одиссея  
с глазами красными от соли морской  
и от страсти, созревшей сполна, от желания снова  
видеть дым, идущий от тепла его дома, и пса,  
одряхлевшего у ворот в ожидании.

Он стоит, огромный, шепча из поседевшей бороды  
слова нашего языка — того, на каком говорили три  
тысячи лет назад,  
он протягивает мне ладонь с мозолями от канатов и  
весла рулевого, кожа на ней выделана сухим  
северным ветром, зноем и снегом.

Он словно хочет изгнать из нас сверхчеловека —  
киклопа, видящего одним глазом, сирен, слушая  
которых, забываешься, Скиллу и Харибду —  
чудовищ столь невероятных, что невозможно  
представить, как он, человек, обладавший душою и  
телом, решил вдруг бороться в этом мире.

Одиссей велик: он тот, кто сказал, что нужен конь  
деревянный, и ахейцы овладели Троей.  
Порой мне кажется, он приходит ко мне и говорит,  
что и я могу смастерить деревянного коня и  
овладеть моей Троей.

Говорит он спокойно и просто, не напрягаясь,  
словно знает меня, как отец.

В годы моего детства так пели мне старые моряки,  
сидя на своих сетях, когда свирепствовал  
холодный зимний ветер,

они пели мне об Эротокрите, и слезы у них на глазах  
выступали,  
а я вздрагивал, слушая сквозь сон о злой доле Ареты,  
спускавшейся вниз по ступеням мраморным.

Одиссей рассказывает мне, что тяжело и больно  
чувствовать, как паруса твоего корабля  
наполняются воспоминаньями, душа твоя  
становится рулевым веслом,  
а сам ты одинок во мраке ночном и над собою уже не  
властен — как солома на ветру.

Рассказывает, как горько видеть, когда товарищи,  
разбросанные порознь, тонут в бурном море один  
за другим.

Как странно, что ты вдруг исполняешься отваги,  
разговаривая с мертвыми, когда живых уже почти  
не осталось.

Он говорит... И еще я вижу, как его руки, умеющие  
оценить, хорошо ли изваяна на носу корабля  
сирена,  
дарят мне лазурное море без волн в самый разгар  
зимы.

## Из сборника “Бортовой журнал — II” (1944)

### Июньские дни 41-го<sup>1</sup>

Взошла молодая луна в Александрии,  
держа в объятиях старую<sup>2</sup>.  
Мы направлялись ко Вратам Солнца<sup>3</sup>  
с сердцем во тьме, три друга.  
Кому теперь хочется омыться в водах Протеевых?<sup>4</sup>  
К превращенью стремились мы в юности  
с желаньями страстными, игравшими, словно  
большие рыбы  
в морях, внезапно высохших:  
мы верили во всеисиле тела.  
А теперь взошла луна молодая в обнимку  
со старой, кровавясь вместе с прекрасным островом —  
спокойным, сильным, невинным<sup>5</sup>.  
Тела — как ветви изломанные,  
как корни, из почвы изъятые.  
Жажда наша —  
конный страж, ставший камнем,  
у темных Врат Солнца,

1. Название дано по аналогии с названиями ряда любовных стихотворений К. Кавафиса, называющихся “Дни”. Название “Дни” Й. Сеферис дал также своим дневникам.

2. Ср.: *I saw the new moon late yestreen / Wi' the auld moon in her arm...* (“The Ballad of Sir Patrick Spens”). “Баллада сэра Патрика Спенса” входит в сборник народных шотландских и английских баллад XVIII в. (*Прим. автора.*)

3. Врата Солнца — городские врата Александрии. Другие ворота назывались Вратами Луны. (*Прим. автора.*)

4. Известный своими превращениями морской старец Протей обитал на острове Фарос у входа в гавань Александрии.

5. Речь идет об установлении немецкой оккупации на Крите (официально с 1 июня 1941 г.).

не умеющий просить ни о чем:  
она здесь хранима, здесь, на чужбине,  
близ усыпальницы Александра Великого<sup>1</sup>.

*Крит–Александрия–Южная Африка,  
май–сентябрь 1941 года*

[237]

ИЛ 11/2021

## Из сборника “Бортовой журнал — III” (1955)

### Воспоминание, I

*καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.  
...и моря уже нет<sup>2</sup>.*

И я только с тростинкой в руках<sup>3</sup>.  
Ночь спокойна была, луна в ущербе,  
а земля пахла дождем недавним.  
Я прошептал: “Воспоминанье болит, где бы его ни  
коснуться,  
неба совсем уж мало, а моря нет уж более.  
Тех, что днем убивают, на повозках за горный хребет  
увозят”.

Пальцы мои в забытьи на свирели играли,  
подаренной старым пастухом за то, что я сказал ему:  
“Добрый вечер!”.  
Другие ведь уже совсем позабыли приветствия:  
просыпаются, бреются и принимаются за  
повседневный труд до изнеможения —  
подрезанье ли ветвей, другое какое занятие —  
методично,

бесстрастно:  
боль мертва, как Патрокл, и никто ошибок не делает.  
Я подумал было наиграть мелодию, но затем  
устыдился другого мира,  
который видит меня сквозь эту ночь среди моего  
света,  
сотканный живыми телами, нагими сердцами  
и любовью, присущей даже Почтенным<sup>4</sup>,

1. Усыпальница Александра Великого, согласно народным поверьям, до сих пор находится “где-то” на территории Александрии.

2. Откр. 21.

3. Ср.: Откр. 11: “И дана мне трость, подобная жезлу...”

4. Почтенные — одно из умиротворяющих прозвищ богинь кровной мести Эриний-Эвменид.

как и человеку, камню, воде, траве,  
 а также животному, глядящему  
 прямо в глаза приходящей за ним смерти.  
 Так прошел я по темной тропе,  
 свернул в мой сад, разрыл землю и похоронил  
 тростинку.

А затем прошептал снова:  
 “Воскресение свершится однажды на рассвете,  
 подобно сиянию деревьев весной, распустится  
 вдруг мерцанье зари,  
 снова возникнет море, и волна взметнет Афродиту:  
 мы — семя, которое умирает”<sup>1</sup>. И в мой пустой дом  
 вошел я.

## Воспоминание, II

### Эфес

Он говорил, на мраморе сидя,  
 казавшемся остатком врат древних,  
 бескрайнее, пустое было поле справа,  
 а слева сумерки с горы спускались:  
 “Поэзия — везде. Твой голос  
 к ней приближается порою,  
 дельфин, бывает, так сопровождает  
 бегущий парусник золотой под солнцем,  
 а после исчезает. Словно крылья ветра,  
 поэзия везде, где мчится ветер,  
 на миг коснувшись крыльев чайки.  
 Особая она, несхожа с жизнью,  
 лицо меняется, все тем же оставаясь,  
 у женщины, что тело обнажила. Знает  
 про то любивший. Мир подвержен гибели  
 при свете чужаков. Но ты запомни:  
 “Аид и Дионис — одно и то же”<sup>2</sup>.  
 Так молвив, по большой пошел дороге  
 он к гавани былой, что ныне скрыта  
 в болотах. Сумерки  
 назвать бы смертью существа живого,  
 так были они обнажены.

1. Ср.: Ин. 12:24: “Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода”.

2. Один из постулатов философии Гераклита.

Еще я помню:  
 в краю Ионии, в пустых витках театров,  
 где только ящерицы да сухие камни,  
 скитался он. “Здесь будут люди снова?” —  
 спросил я, он ответил: “Может быть, в час смерти”,  
 и на оркестру выбежал, взывая:  
 “О дайте брата моего услышать!”.  
 Вокруг нас было жесткое молчанье,  
 не вычерченное по стеклу лазури.

### *Саламин Кипрский*

...Σαλαμῖνά τε,  
 τᾶς νῦν ματρόπολις τῶνδ' αἰτία  
 στεναγμῶν.  
 ...и Саламин,  
 Ныне ставший матерью-градом  
 наших страданий.

*Персы*<sup>1</sup>

Иногда полуденное солнце, иногда мелкий дождь  
 пригоршнями,  
 и берег моря, усеянный осколками древних сосудов.  
 Колонны бессмысленны.  
 Только Святой Епифаний<sup>2</sup>  
 тускло являет поглощенную силу  
 златообильной империи.  
 Молодые тела прошли здесь — тела влюбленные:  
 трепет в груди, розовые раковины,  
 по воде бесстрашно бегущие,  
 и объятия, распростерты для слияния страсти.  
*Господь над многими водами*<sup>3</sup>,  
 над всем, что прошло здесь.  
 Тогда услышал я шаги по морским камушкам.  
 Лиц я не видел: когда обернулся, они ушли уже.  
 Однако голос, тяжелый, как поступь быка-труженика,  
 остался там, в жилах неба, в перекатах моря,  
 на гальке, звуча снова и снова:  
 “Нет у земли рукоятей,

1. Трагедия Эсхила.

2. Раннехристианская базилика Святого Епифания находится на территории археологического заповедника Саламина Кипрского.

3. Псал. 28.



ее, взвалив на плечо, не унести”<sup>1</sup>.

Невозможно, сколь сильна б ни была жажда,  
сделать море слаще, воды добавив полкапли.

А у этих тел,  
созданных из земли, о чем сами они не ведают,  
души есть.

Чтоб изменить их, готовят орудия,  
но изменить их не смогут — уничтожат только,  
если вообще души уничтожаемы.

Не замедлит наполниться колос.

Ведь времени много не нужно,  
чтобы взошло горечи тесто.

Ведь времени много не нужно,  
чтобы голову подняло лихо.

А больному разуму, что уходит,  
тоже времени много не нужно,  
чтобы сменило его безумие.

*Остров есть*<sup>2</sup>...

Друзья по войне минувшей,  
на этом бреге пустынном и облачном  
о вас я думаю, когда день проходит.

Павшие на войне и павшие много лет после битвы.

Зревшие наш рассвет после инея смерти  
иль в одиночестве диком под звездами  
ощутившие над собой большие лиловые  
глаза катастрофы всеобщей,  
и те еще, что молились,

когда раскаленная сталь корабля пилила<sup>3</sup>:

“Господи, помоги нам запомнить,  
как это убийство свершилось,  
грабеж, коварство, корыстолюбие,  
любви очерствение.

Господи, помоги нам вырвать это с корнем...”

— Теперь лучше забыться здесь на гальке у моря.

Говорить бесполезно.

1. Слова из “Воспоминаний” Макриянниса, памятника простонародного греческого языка середины XIX в.

2. “Остров есть для землями Саламина” (Эсхил, “Персы”) — начало рассказа вестника царице Атоссе о разгроме персов в битве при Саламине (480 г. до н. э.).

3. В одной южноафриканской газете я прочел (сентябрь 1941 г.) молитву, составленную для своего корабля капитаном третьего ранга Hugh Beresford’ом R.N.: “Господи, любящий Отец наш... Помоги нам помнить истинные причины войны — бесчестие, жадность, эгоизм и отсутствие любви — и да изгоним мы их с этого корабля, чтобы стал он образцом нового мира, за который мы сражаемся”. Он погиб в битве за Крит. (*Прим. автора.*)

Мнение сильных изменить кто способен?  
Кого станут слушать?  
Каждый мечтает порознь, не слушая, как хрипят  
другие.

— Верно. Но спешит вестник,  
и, сколь далеким бы ни был путь, принесет он  
тем, что пытались цепью сковать Геллеспонт<sup>1</sup>,  
страшную весть о Саламине.  
*Глас Господень над водами*<sup>2</sup>.  
*Остров есть...*

*Саламин, Кипр,  
ноябрь 1953 года*

### *Еврипид-афинянин*

Состарился он средь пожара Трои  
и в каменоломнях Сицилии.  
Нравились ему пещеры у песчаного берега и картины  
моря.

Жилы людей он видел  
как сеть богов, в которую они нас ловят как диких  
животных,  
и пытался разорвать ее.  
Был он угрюм, друзей у него было мало.  
Пришло время, и его разорвали собаки.

1. Во время похода на Грецию в 480 г. до н. э. персидский царь Ксеркс соорудил через Геллеспонт (совр. Дарданеллы) понтонный мост, а когда буря разрушила этот мост, велел бросить в море оковы и бить волны плетями. Эсхил в "Персах" представляет это событие так, будто Ксеркс заковал Геллеспонт в цепи как строптивого раба.  
2. Псал. 28.

# ОЛЕГ ЦЫБЕНКО

## *Йоргос Сеферис и восприятие античности*

[242]

ИЛ 11/2021

В 1963 году Нобелевская премия в области поэзии была присуждена греческому поэту Йоргосу Сеферису с замечательной формулировкой: “За выдающиеся лирические произведения, исполненные преклонения перед миром древних эллинов”. Примечательно, что, когда в 1979 году Нобелевскую премию получил другой греческий поэт, Одиссеас Элитис, формулировка, в которой упоминалось о следовании “греческой традиции”, уже не содержала указания на “мир древних эллинов”<sup>1</sup>. В ответной речи Сеферис подчеркивает свою принадлежность греческой культурной традиции, однако ни о каком “преклонении” нет ни слова, да и само это понятие здесь вряд ли уместно. То огромное духовное богатство Древней Греции, которое стало основой европейской цивилизации и до сих пор вызывает восхищение, в речи Сефериса отмечено буквально двумя очень легкими, даже прозрачными штрихами — цитатой из Гераклита и упоминанием о загадке Сфинги. Акцент здесь сделан на мало известных (в особенности за рубежом), но очень характерных моментах в осознании духовности и принадлежности к многовековой традиции Греции в ту восторженно наивную романтическую эпоху, когда Новая Греция обретала национальную независимость и вопрос о ее отношении не только к прошлому, а через прошлое и к будущему становился жизненно важным. Впрочем, в формулировке Нобелевского комитета в связи с Сеферисом само слово “традиция” отсутствует, а в отношении творчества Элитиса присутствует, хотя творчество Сефериса именно на традиции и зиждется: на традиции в ее изначальном смысле — на том, что “передаваемо”. Традиция для Сефериса — это ее живое дыхание, ее простота и человечность, ее непосредственность и, наконец, что подчерки-

© Олег Цыбенко, 2021

1. Формулировка Нобелевского комитета, присудившего в 1979 г. премию Одиссеасу Элитису: “За поэтическое творчество, которое в русле греческой традиции, с чувственной силой и интеллектуальной пронизательностью рисует борьбу современного человека за свободу и независимость”.

вал сам Сеферис, ее “причастность справедливости”, некоей основополагающей справедливости.

При панорамном обзоре литературного наследия Сефериса — не только его поэзии, но также эссеистики, посмертно опубликованных романов и его замечательных дневников — бросается в глаза весьма незначительный “удельный вес” сюжетов или разного рода реминисценций, связанных с античностью, — казалось бы, вопреки формулировке Нобелевского комитета. Формально в его творчестве значительно больше материала, освещающего те или иные явления новогреческой культуры, но и там, где античность представляет как бы центральную тему, от нее обязательно перебрасывается мостик в неоэллинизм в широком временном смысле<sup>1</sup>, в том числе в современность. Все эпохи греческой истории существуют для Сефериса в некоем вечном единстве, будучи как бы частями единого целого: современность принадлежит нам в той же степени, в которой принадлежит древность. “Время без расклин” — одно из выражений этого единства, и речь идет здесь не только о времени в его “цифровом” измерении. Античность Сефериса — не описание, а реконструкция, но реконструкция не в антикварном, а, если можно так выразиться, в анти-антикварном смысле: он не уточняет, а истолковывает античность, но истолковывает, связывая ее с жизнью — той жизнью, в которой пребываем и мы сами. Пожалуй, еще вернее было бы сказать, что Сеферис не реконструирует античность, а заново конструирует ее. Или же что античность Сефериса — это *попытка прочувствовать* ее. Вот почему один из созданных им ярчайших античных образов, некий символический, исторически не зафиксированный “царь Асины”, воспринимается так живо и настолько “по-античному”, что Элитис упоминает о нем в одном ряду с ярчайшими образами классической трагедии:

Я пошел по тропам и снова вышел к их началу:  
Креонты и Антигоны, Электры и Эгисфы —  
Каждый со своей круглой луной в руке  
Своей собственной ночью.  
Они все еще живы, живы, идут и страдают,  
И даже тот, якобы забытый всеми  
Царь Асины, даже он восходит — вот он,  
А за ним убиенные и не убиенные —  
На холм, всезлатой...

1. Традиционный отсчет неоэллинизма начинается со времени взятия Константинополя турками (1453 г.).

“Царь Асины” сотворен Сеферисом из конкретного археологического, филологического, но прежде всего эмоционального векового греческого бытия-небытия, сотворен путем совершенно оригинальных рекомбинаций.

Сеферис писал, что “из жизни нашей – той, которой мы живем, – невозможно исключить, как ни старайся, сопричастности этой действительности – солнца, которое сияет в настоящий момент, или петушиного крика, разбудившего меня сегодня на заре. Благодаря этим обыденным вещам меняются и те, древние, и только поэтому древние могут присутствовать и в настоящем”.

Для широкой публики, интересующейся греческой культурой, Сеферис – прежде всего поэт, однако не в меньшей степени он был замечательным эссеистом. Античность является центральным объектом трех эссе Сефериса, которые были написаны по заказу и прежде всего для иностранного читателя уже после получения автором Нобелевской премии, то есть когда его имя уже обладало определенной культурной, да и коммерческой значимостью. Отмечаем это потому, что такой заказ предполагал уже сам по себе нацеленность на конкретный объект, на определенную его популяризацию и системное изложение. Наиболее “описательное” (то есть представляющее последовательное описание памятника или комплекса памятников в соответствии с определенной системой) эссе “Дельфы” было издано в виде иллюстрированного фотографией путеводителя по археологическому заповеднику и музею сначала на немецком, а затем и на английском языке. Однако системное описание в этом оригинальном археологическом путеводителе свелось к тому, что в нем просто упомянуты наиболее крупные памятники, тогда как общая картина некогда священного пространства включает не только весьма впечатляющий пейзаж, подчеркнута эмоционально выписанное природное окружение – скалы, река, море, но и звуки, перепады света, запахи. И каждая из античных реалий, как археологических, так и литературных, сопровождается аналогом либо из последующей “вне-античной” жизни – сохранившейся в фольклоре (то есть в памяти народной, хотя и размытой временем) или современной, переносимой иной раз ту или иную дельфийскую реалию за пределы территории Дельф. Оригинальность археологического путеводителя Сефериса в том, что это – введение в атмосферу Дельф, самое начало знакомства с древними памятниками в том виде, в котором они продолжают жить и сейчас. Читателю предоставляется возможность не только

воспринимать античные памятники опозитивно, как воспринимает их Сеферис, но и радоваться наивным, а потому и особо умильным “ошибкам” народных верований (иногда самонадеянных, но искренних — как в случае с платанами, которые якобы “посадил сам Агамемнон”), радоваться восторгам современных “гиперборейских девушек”, прибывших из какой-то северной страны (страна конкретно не названа, и это еще более делает ее той легендарной Гипербореей) или же научным (психоаналитическим) проекциям мифа об Эдипе в “эдипов комплекс”, благодаря чему и античные реалии выглядят жизненно и правдиво. Очень бережно упорядоченная археологией и филологией античность входит в современную жизнь, а современная жизнь дает новое дыхание, свет, благоухание археологии и филологии. Чувство меры, к которому так часто призывает Древняя Греция, при этом не нарушено нигде.

Создавая “цивилизационное” полотно Дельф от тех древнейших времен, когда “вначале был гнев земли”, и до дня завтрашнего, Сеферис поясняет: “...когда мы говорим ‘вечность’, то не имеем в виду нечто, измеряемое годами, но поступаем, как пифия, которая, впадая в экстаз, воспринимала все пространство и все время, прошлое и будущее, как нечто единое”. В этом смысле весь единый, неразрывный поток греческой цивилизации — тоже вечность.

Самое пространное “античное” эссе Сефериса — “Отступления от Гомеровых гимнов”. “Отступления” тоже написаны по заказу иностранного издательства, на сей раз итальянского — “Edizioni dell’Elefante”. Если “Дельфы” были заказаны как своего рода введение к археологическому заповеднику, то “Отступления” стали предисловием к одному из самых известных памятников древнегреческой художественной словесности — “Гомеровым гимнам”. Это предисловие не было предисловием филологическим: автор прекрасно сознавал разницу между трудом филолога и литератора. Его предисловие — литературное, хотя культурно-историческая информационная составляющая здесь весьма существенна: Сеферис находит в памятнике архаической эпохи те нотки, которые присущи не в меньшей мере фольклору — как древнему, так и современному. Такие нотки (в том числе народные обряды и суеверия) звучали очень естественно, по крайней мере, в детстве Сефериса, “два поколения назад”.

Современный эмоциональный исходный пункт “Отступлений” следует искать в европейской литературе — собственно говоря, это своего рода полемика с негативным утвержде-

нием Малларме: “Кто сегодня занимается греками? Я уверен, то, что мы называем сегодня *мертвыми языками*, исчезнет в гниении. Мы уже не в состоянии понимать чувства героев Гомера...”. Для Сефериса греческий язык, “на каком говорили три тысячи лет назад”, отнюдь не мертвый язык: “он претерпел изменения, которые претерпевает все живое, но в нем нет никакого зияния”. И “чувства героев Гомера” тоже не мертвые чувства: нужно только *вникнуть* в тот язык и в те чувства, которые были высказаны три тысячи лет назад, чтобы ощутить “...фрагменты жизни, которая была некогда полной, ощутить находящиеся совсем рядом волнующие частицы, становящиеся на какое-то мгновение нашими, а затем — таинственными и недостижимыми, словно очертания вылизанного волной камня или раковины на дне морском”. Поэт (в первоначальном и широком смысле слова, близком к понятию “творец”) должен сделать “жизнь, которая была некогда полной”, снова полной через то вечное и непреходящее, что едино для нынешнего дня и для множества прошедших веков и тысячелетий. Нужно найти те образы, те движения, те смыслы, которые, остаются неизменными даже в самых разных их вариациях. “...Два орла, распластав неподвижные крылья, медленно парят в голубизне, словно те орлы, которых выпустил некогда Зевс, желая определить местонахождение пупа земли”.

Едва ли не самое замечательное наблюдение Сефериса относительно живого восприятия античности в филологическом смысле касается различия между традициями греческой и римской словесности, выраженного в сопоставлении их эпических вершин — Гомера и Вергилия. Формально оба эпоса повествуют о героях, которые действуют в неразрывной связи с богами: можно сказать, что оба героических эпоса — повествования не только о героях и богах, о реализации в жизни смертных божественной воли. Эней, не только вергилиевский, но, что особенно важно, уже гомеровский, — образ “религиозный”, причем единственный образ в троянском цикле мифов, чье будущее предопределено божественным провидением: это “беглец в Италию, ведомый роком” (*Italiam fato profugus*). В этом смысле “Энеида” — основа западного мировосприятия. Замечательно, что здесь с Сеферисом согласен и Элиот — поэт, в некотором смысле определяющий для Сефериса смысл современной европейской поэзии: именно перевод “Бесплодной земли” Сеферисом (1933), который стал “классическим”, принято считать началом периода сюрреализма в греческой поэзии и в греческой литературе в целом.

Римская традиция, лежащая в основе всей западной традиции, — традиция от Вергилия и до Элиота, чужда идущей от Гомера греческой традиции, через которую Сеферис старается прочувствовать греческих богов. Какими же эти боги были для Сефериса? Будучи приверженцем православной традиции в не меньшей степени, чем приверженцем греческой традиции вообще, Сеферис совершенно далек от какого бы то ни было неоязычества: его вера в исконных греческих богов столь же сильна, как вера в греческий пейзаж, греческий свет, греческий язык, греческую причастность чувству справедливости.

Живая античность — это живое восприятие античности. Главное и необходимое условие для такого восприятия — непосредственность и отсутствие всякой неискренности, прежде всего перед самим собой. В сцене, которую в принципе можно наблюдать во множестве самых различных вариантов: “пока гид витийствовал, искусно обнаженная девушка в серьгах чрезмерной величины громко зевнула, вынула из сумки флакон с благовонным маслом и принялась страстно растирать свои подрумянившиеся члены”, зевок “искусно обнаженной” вряд ли вызывает осуждение или даже порицание: это всего лишь деталь, оживляющая общую картину археологического заповедника, — для “искусно обнаженной” античность не жива.

Но античные памятники тем не менее живут. Археология вместе с ее реставраторскими специализациями в значительной степени способствуют этому. Архитектурный памятник был создан в неразрывной связи с окружающей природой и продолжает существовать в неразрывной связи с окружающей природой, и именно поэтому он жив, как жива и природа, которая порой уже не воспринимается без “своего” памятника. Таков мыс Суний с храмом Посейдона и наивными преданиями об этом сооружении, возникшими в послеантичные времена. Таков движущийся в легчайшей дисгармонии своих колоннад храм загадочной богини Аффеи на острове Эгине. Таков, наконец, Парфенон, венчающий скалу в центре холмистого амфитеатра Атики. Такими были, начиная со времен романтического открытия Греции и до недавнего времени, три колонны храма Зевса в Немее, которые зрительно “растворились” теперь среди других шести колонн после реконструкции последнего десятилетия<sup>1</sup>. Таким был и

1. Три колонны храма Зевса Немейского неоднократно изображали художники XVIII–XIX вв., в том числе Карл Брюллов (1835).



вызывавший еще недавно восхищение храм Аполлона Эпикурия в Фигалии (Бассах), но затем исчезнувший под чудовищным шатром ЮНЕСКО, превратившись в несуразное пятно среди божественного горного пейзажа<sup>1</sup>.

“Сколько бы ни позволяло логическое осмысление этой архитектуры представить, что развалины этих сооружений можно перенести по частицам в дальние страны, очень боюсь, что из этого не вышло бы ничего, кроме транспортировки груд мусора”, — пишет Сеферис, и он совершенно прав: античный памятник принадлежит окружающему пейзажу, став его неотделимой частью. Более того, ни античный памятник, ни окружающий его пейзаж (вместе это “античный пейзаж”) не могут жить своей полноценной жизнью без особого оживляющего их греческого света.

Природа, органично “вросший” в природу памятник (преимущественно архитектурный), местные *genii loci*, будь то языческие божества, христианские святые или смертные (как исторические персонажи, так и самые обычные люди), связанные и с природой, и с памятником, образуют некую триединую субстанцию. Эта “триединая субстанция” и есть античность в творчестве Сефериса, как в поэзии, так и в эссеистике, и даже в дневниках.

1. Этот памятник гармонии классической греческой архитектуры среди горного пейзажа был запечатлен, в частности, на картине К. Брюллова (1835), а затем, намного позже, на фотографии Й. Сефериса, который, обладая умением *видеть*, был также прекрасным фотографом.

# Ласло Ф. Фёлдени

## Прощание с образованностью

Об образованности, знании, информации

*Перевод с венгерского* Ольги Балла

[249]

ИЛ 11/2021

Фантомами образованности меня пугали еще в детстве. Будь образованным, внушали мне со всех сторон, пытаюсь вколотить в меня все то, что, по идее, делает человека образованным. Многому я сопротивлялся, но было и такое, чему сопротивляться я не мог. То, чего избежать было невозможно, я вызубривал, вгрызался в книги, к которым меня принуждали. Затем каждую из них я медленно забывал. Помнил только названия. Все это были книги, которых теперь я бы не взял в руки ни за какие деньги. Книги эти, великие шедевры европейской литературы, вместо образованности вызвали во мне внутреннее сопротивление на всю жизнь.

Должно было пройти много лет, чтобы я, уже на основе собственного опыта, пришел к выводу: образованность — это не накопленное знание. Она означает не материал, который надо вызубрить. Для обретения ее недостаточно изгрызть канонизированные сокровища европей-

ской культуры. Образованность — прежде всего образ жизни, способ видения. Ее подлинное значение особенно ощущалось в XVIII веке, в эпоху Просвещения, тогда, когда перед европейской культурой было еще открыто будущее и видна была, главным образом, солнечная его сторона. И когда институты, поддерживающие цивилизацию Нового времени, не закоснели еще настолько, как позже, в XIX веке. XVIII век был еще столетием открытых возможностей; Европа могла развиваться в самых разных направлениях. А с нею вместе — и культура. Качество “образа жизни”, который, по моему, — основа всякой образованности, могло быть важно еще и поэтому. Но по мере того, как институты, политические системы, типы государств начали закостеневать, цель все более сводилась к оптимальному использованию успевших сформироваться условий; надо было приспособливаться к уже существующему, а не устраивать мир заново. Ко второй половине XIX века вместо образования по всей Европе основное значение стало придаваться знанию. Его пугали с образованностью все чаще. То, что раньше было средством — информированность, зна-

© LÁSZLÓ F. FÖLDÉNYI

© ОЛЬГА БАЛЛА. Перевод, 2021

Публикуется с любезного разрешения автора.

ние, — превратилось в цель. Место “образованного бургера” занял новый тип, который Ницше назвал “образованным филистером”<sup>1</sup>.

Я и сам стал жертвой такого превратного понимания образованности. И не я один. В Восточной Европе при социализме мою судьбу разделили многие. Это понятно: и родители, и родственники, а часто и воспитатели спасались от реальности с помощью некоторого идеала образованности. Они искренне полагали, что Данте и Бальзак, Сервантес и Золя, Томас Манн и Гомер мне помогут. Или, по крайней мере, помогут в том, чтобы я не слишком зависел от окружающих меня обстоятельств. Первостепенная цель образованности состояла даже не в том, чтобы я был образованным, но скорее в том, чтобы направить мое внимание в нужное русло. Образованность создавала иллюзию, будто время остановилось и мы до сих пор живем в Какании<sup>2</sup>. Воспитатели мои пытались насильно сделать меня образованным, но при этом имели в виду еще и нечто другое. Неудивительно, что я сопротивлялся. Ребенок немедленно чувствует,

если окружающие не вполне искренни. От этого страдало целое поколение.

Позже, уже в семидесятых-восьмидесятых годах, мои знакомые, западные европейцы, часто замечали — с уважением, — как много в Восточной Европе так называемых образованных людей. Они удивлялись и тому, какими тиражами у нас издаются книги, на которые на Западе почти нет спроса. И как много люди читают. Словом, какие они образованные. Кое-чего они, правда, не знали. То, что пестование этой образованности, включая и книгоиздание, которое тогда, бесспорно, было на высоком уровне, — это своего рода заместительная, компенсаторная деятельность. Мои западные знакомые завидовали нашей образованности. А мы — их свободе.

Когда в конце восьмидесятых социализм кончился, оказалось, что образованность, которой раньше выразители официальной политической позиции гордились точно так же, как и те, которые этой политике противостояли, на самом деле была игрой в кошки-мышки. После того, как стена рухнула, акции “образованности” начали падать с невообразимой скоростью. Когда выяснилось, что защищаться больше не нужно, все как-то разом рассеялось. Почтение к “образованности” в традиционном смысле исчезло, вкус к чтению упал, изданию классиков пришел конец. Те, кто продолжал за это цепляться, производили — и производят — на большинство впечатление застрявшего в нашем времени архаического ископаемого из далекого прошлого.

1. В “Несвоевременных размышлениях”. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

2. Каканией Роберт Музиль называл Австро-Венгерскую империю — по сокращению “K. und k.” или “k. u. k.” (*нем.* kaiserlich und königlich), означавшему “императорский и королевский”, принятому в отношении государственных учреждений Австро-Венгрии после заключения Австро-венгерского соглашения 1867 г. и преобразования Австрийской империи в дуалистическую монархию.

Место классической образованности в Центральной Европе занял идеал образованности другого рода. Такой, который не противостоит чему бы то ни было, но проявляется свободно. Сущность которого — не замкнутость и отгороженность, но открытость миру. Завораживающим лозунгом стала “мировая библиотека”, пришедшая на смену библиотеке личной, собранной согласно индивидуальным потребностям. Это ново со многих точек зрения. С одной стороны, “мировая библиотека” — как следует уже из ее названия — содержит *все*. С другой стороны, она доступна *всем*. С третьей же стороны, она *виртуальна*: поскольку она оцифрована, она доступна исключительно тогда, когда я к ней обращаюсь. Сегодня Интернет кажется идеальным домом — и инструментом — этой глобальной образованности. Кажется, будто великую мечту Просвещения об универсальной образованности материализовал именно он.

И тем не менее при обращении к Интернету меня по большей части охватывает чувство того же рода, что было в школьные годы, когда меня пичкали образованностью. Тогда меня принуждали, теперь я занимаюсь интернет-серфингом свободно. Но внутреннее чувство пресыщенности очень похожее. Я мог бы сосчитать на пальцах одной руки, сколько раз за многие годы я выходил в сеть таким образом, чтобы, найдя то, что искал, тут же и закрыл бы свой ноутбук. В большинстве случаев — почти всегда — я причаливал совсем не там, куда изначально хотел попасть. Вместо радости от наход-

ки, от достижения цели во мне растет какая-то внутренняя пустота. Удушье возникает уже не из-за политического давления, но из-за неограниченной свободы. У которой, вероятно, нет ничего общего со свободой истинной. И с настоящей образованностью тоже.

Величина этой внутренней пустоты кажется мне пропорциональной количеству обрушивающейся на меня информации. То, что называют “образованностью” сегодня, на самом деле означает массу непроработанной информации. Которую невозможно вместить. По идее, она обещает полноту — на практике же приводит к опустошению. По мере того, как умножается информация, разрастается и голод, который эта информация вызывает, и ничто не способно его утолить. Миф о Тантале никогда не был актуален так, как сегодня, когда дух все более голоден, но все менее находит для себя пищу. Это стало одной из причин того, что в последние десять-двадцать лет индустрия развлечений так плотно опутала своей сетью весь земной шар: сегодня только она и дает людям надежду на утоление голода. Особенно это заметно в Центральной Европе, на территории, уязвимой в этом отношении как минимум так же, как африканский континент. Только теперь по-настоящему видно, что так называемая образованность, которая казалась великим достижением социализма, не смогла сформировать у живущих здесь людей никакого иммунитета.

Конечно, “высокая культура” тоже старается на свой лад предложить им какую-никакую

пищу. Но достаточно вернуться хотя бы на три-четыре десятилетия вспять и сравнить тогдашние — европейские или американские — литературу, кинематограф, изобразительное искусство с нынешними, чтобы увидеть разницу. Кажется, будто нечто непоправимо кончилось и навеки закатилась эпоха, для которой определенные слова, сегодня утратившие смысл, еще имели значение. Например, слово “образованность”. Образованность наводит на мысль о некоторой устойчивости, неподвластности времени. Так в пятидесятые-шестидесятые годы писатель, художник или режиссер совершенно серьезно стремился к тому, чтобы творить “нетленное”. Сегодня смешна уже одна только мысль об этом. Вместо вечности пределом мечтаний становятся очередная книжная ярмарка, выставка или фестиваль. Требуется быть не вечным, но обтекаемым, легкоусвояемым. Одним словом, модным. Поэтому индустрия развлечений и “высокая культура” начинают пугающим образом походить друг на друга.

Но что же в таком случае означает образованность? Если она не сводится к некоторому запасу знаний и не тождественна информационному демпингу, то где возможно обнаружить ее следы? В поисках ответа мы должны вновь вернуться к Просвещению.

В том, что волшебным словом для всех стала сегодня доступность информации, а главным императивом — скорость ее обретения, можно заметить своеобразную мутацию

духа. Началась она не сегодня — сегодня она всего лишь разогналась до невероятной скорости. Нечто от нее можно было почувствовать еще два века назад. По крайней мере, Эдуард в “Избирательном сродстве” Гёте, вероятно, думал о чем-то подобном: “Все-таки очень плохо, что теперь ничему нельзя научиться на всю жизнь. Наши предки придерживались знаний, полученных в юности; нам же приходится переучиваться каждые пять лет, если мы не хотим во все отстать от моды (Mode)”<sup>1</sup>. Как всякое “ностальгическое” чувство, и это тоже тесно переплетено с чувством беспомощности. Эдуард подчинен власти “Mode”. Поэтому он вынужден каждые пять лет надевать новую одежду. Не только внешне, но и внутренне. Его мысли, мнения, опыт тоже должны кроиться по новым выкройкам. Одним словом, так должен поступать его дух. Каждые пять лет надо распарывать швы, отрезать одну часть здесь, другую вставлять туда, здесь обуздить, там сделать вставку из другой материи, замаскировать, насколько возможно, следы старых швов, затем все сметать и снова сшить. Но спустя пять лет все надо начинать заново. Мода действует в направлении, противоположном традиции. Так, как незадолго до “Избирательного сродства” писал Шиллер в оде “К радости”: мода “строго разделяет” (“Was die Mode streng gete-

1. И.-В. Гёте. Собрание сочинений в 10-ти тт. — Т. 6: Избирательное сродство / Пер. с немецкого А. Федорова. — М.: Художественная литература, 1972. — С. 23.

ilt”)<sup>1</sup>. В течение пяти лет мода (по крайней мере, во времена Шиллера) создает впечатление устойчивости и окончательности, но затем вновь все разрушает. И при этом она позволяет увидеть не только новизну, но и ту разлагающую пустоту, которая заключена в стремлении к постоянному обновлению.

Знание, которое нужно реформатировать каждые пять лет, нельзя называть образованностью. Да, оно дает человеку возможность ориентироваться в настоящем. Обеспечивает ему возможность взаимопонимания с теми, кто тоже каждые пять лет учится всему заново. Включает его в электрическую цепь. Но многого другого оно его в то же время лишает. Опыта окончательности. Уверенности в том, что тем, чем он однажды овладел, он сможет распоряжаться до конца своей жизни. Лишает чувства устойчивости. С одной стороны, человек чувствует, что именно благодаря этому постоянному переучиванию (*umlernen*) он “присутствует” в мире. С другой стороны, однако, это присутствие означает рабство у времени. Присутствие становится родственником сиюминутности. Райнхарт Козеллек обратил внимание на то, что в немецком словоупотреблении слово “Gegenwart”, которое изначально означало “An-

wesenheit” (присутствие), стали использовать в значении “настоящее, современность” около 1800 года. То есть тогда, когда Гёте назвал принуждающую власть моды ответственной за то, что однажды обретенному знанию нельзя более доверять. И когда Шиллер объяснил разделяющей властью “моды” нехватку “божественной радости”, то есть всемирный раздор между людьми. Тот самый раздор, который Шиллер, когда он писал о нем не стихами, называл “буржуазным обществом”.

Около 1800 года действие широко понятой “моды” было еще заметно, пружины его бросались в глаза. Было относительно легко отделить друг от друга простую *информацию*, качественно отличное от нее *знание* и *образованность* (*Bildung*), более всеохватывающую, чем знание.

Образованность, знание, информация. Речь идет о трех различных констелляциях духа. Точнее говоря, об изменении того *образа*, который дух создает о самом себе и о мире. “Образ”, скрывающийся в немецком слове *Bildung*, доказывает, что изначально это слово выражало определенный способ видения, активное отношение к миру. В этом чувствуется наследие средневековой мистики, согласно которой человек может приблизиться к Богу посредством того, что Его Сын обретает в душе *образ*. В процессе *Bildung* душа постепенно формируется. Нет нужды в том, чтобы непременно настаивать на имени Бога; “понятие” *Bildung* изначально содержит в себе жажду совершенства, стремления к нему. Оно означа-

1. В русских переводах первой строфы оды “К радости”, где “людей делят то вражда, то эпохи”, переводчики до сути не дошли. Наиболее близкий (и все-таки не совпадающий со сказанным) перевод принадлежит Константину Аксакову: “Ты опять соединяешь, / Что обычай разделил”.

ет не *количество* накопленных знаний и добытых сведений, но *качество* образа жизни. Усовершенствование его было одной из великих целей Просвещения, поэтому Bildung можно назвать даром Просвещения. В XVIII веке самоочевидной была мысль Лихтенберга: “Мир существует не затем, чтобы мы его познавали, но затем, чтобы мы в нем формировали себя (uns in ihr zu bilden)”<sup>1</sup>.

Однако немецкому Bildung, подобно французскому Просвещению, угрожала внутренняя опасность. Как ни удивительно, именно из-за ориентированности его на совершенство. На рубеже XVIII-XIX веков образованность (Bildung), сохраняя многое от своего изначального смысла, постепенно стала превращаться в *норму*. С процесса активного внутреннего формирования (образования) акцент все более перемещался на конечную цель, на идеал образованности (“Bildungsideal”), которого необходимо достичь. Цель же — в том, чтобы человек обзавелся определенным запасом знаний (Bildungsgut). Что войдет в такой запас, зависело, среди прочего, и от текущих потребностей общества. И в этом смысле — как свидетельствовало уже само по себе придуманное Гумбольдтом понятие “образовательной политики” (Bildungspolitik) — это было вопросом идеологии.

На протяжении XIX века этот процесс набирал силу. Хотя, пожалуй, в этом веке образованность упоминали чаще всего, на самом деле она все больше относилась не к качеству образа жизни, а к количеству знаний. К тому времени секуляризация эпохи модерна достигла своей зрелости. С одной стороны, знание — точнее, набранный запас сведений — ценилось теперь выше, чем во все предыдущие времена. С другой стороны, прямо пропорционально этому все более забывалась та традиционная, самоочевидная не только для европейских, но и для внеевропейских культур исходная позиция, согласно которой человек не сам определяет границы своего мышления и собственного “я”. Чувство встроенности в космос было вытеснено из поля зрения цивилизации. Идеал знания Нового времени видел свою цель в том, чтобы человек стремился во всем обнаружить самого себя. Везде он ищет собственный образ и забывает о том, что при этом он и сам — отражение чего-то другого.

Этот процесс кажется необратимым. Его узниками являются даже наиболее радикальные его противники. Цивилизация теперь означает зависимость от *образов*. Образованность победили на ее собственной территории. Она истекла кровью там, где должна была восторжествовать: в области образов. Льющаяся отовсюду информация, миллиардами воспроизводимые образы формируют нас, хотим мы того или нет. Так же, как меня в детстве пытались насильно сделать образованным.

1. Существующий русский перевод: “Мир существует не для того, чтобы мы его познавали, а для того, чтобы мы воспитывали себя в нем”.

В Центральной Европе пришла к концу эпоха, когда образованность создавала иллюзию возможности противостоять гнету. В условиях обрушившейся на нас свободы, однако, сложилась новая, рафинированная форма угнетения. Сопротивляться лишенному очертаний демпингу образов и информации труднее, чем такому гнету, который более-менее поддается описанию. У потока информации и образов, хлещущего по каналам массовой коммуникации, уже нет и моральных сдерживающих принципов, которые были у образованности, нет у него и профессиональных точек зрения, которыми обладало специальное знание.

По всей вероятности, нам придется окончательно распрощаться с иллюзией того, что образованность в ее классическом смысле когда бы то ни было вновь обретет свои права. Великая эпоха образованности, впрочем, была не такой уж долгой: как идеал она появилась в XVIII веке и едва продержалась два столетия. Вместе с нею пришла к концу и эпоха Просвещения. Место его заняло нечто такое, что нельзя назвать ни образованностью, ни всеобщим знанием, но следует назвать скорее капитуляцией перед образами и информацией. Образованность, если сегодня и проявляется кое-где, ведет арьергардные бои; специальное же знание укрылось в стенах науки и сделалось недоступным для обычного человека. Исчез не только “Bildungsbürger”, но и

“Bildungsphilister”, а место их занял “Informationsbürger”. Станным образом, это особенно чувствуется в Центральной и Восточной Европе, в тех новообразованных демократиях, в которых традиции несравнимо более хрупки, чем в Западной Европе, и люди особенно уязвимы перед принуждающей силой новшеств. Ни к чему не обязывающая информация в этих краях не считается ни с одной из областей жизни. Мы можем даже гордиться, что живем в таком месте, которое, по крайней мере, в этом отношении первенствует в Европе.

Можно ли извлечь из этого какой-нибудь урок? Вряд ли. Придерживаться сохранения качества образа жизни, означающего истинную образованность, все труднее. Образованность — синоним свободы. Сегодня обязательное ее условие — необходимость отгородиться от искусственно взвинченного демпинга образов и информации, который ожидает от меня тотального приспособления к нему. Вопрос, однако, в том, осталась ли еще такая незатронутая им область жизни, куда можно было бы отступить без потерь. Поскольку дело с легкостью может обернуться так, что, размахивая знаменем образованности, я буду не образованным, а всего лишь пленником некой иллюзии. И, цепляясь за идеал образованности, окажусь и сам в подчинении у образа, миража.



ЕКАТЕРИНА ТЕРЕШКО,  
ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА,  
СВЕТЛАНА БОЧАВЕР

*Всемирный день поэзии 2021  
года. Хроника фестиваля  
“Poesia21”<sup>1</sup>*

21 марта было провозглашено ЮНЕСКО Всемирным днем поэзии в 1999 году. С тех пор в этот день в разных странах по всему миру проходят поэтические мероприятия, позволяющие привлечь к поэзии дополнительное внимание, показать значимость поэзии на самых разных языках, поддержать языковое разнообразие и дать новые возможности для культурного диалога. Дату празднования Дня поэзии предложила Линдия Стефано, руководствуясь идеей о том, что в день весеннего солнцестояния — 21 марта — свет побеждает тьму так же, как поэзия изгоняет тьму из душ людей.

Кризисный 2021 год лишил нас привычных форматов очных встреч и международных поэтических фестивалей и мастерских. Однако вместе с кризисом приходят и новые возможности. Так, на онлайн-платформе “Poesia21” состоялось одно из самых масштабных празднований Дня поэзии за всю историю его существования. В этот день поэты со всего мира — от Японии до Аляски, от Исландии до ЮАР — читали свои стихи в живых онлайн-трансляциях. В этом действе за сутки приняли участие триста семьдесят поэтов из девяноста пяти стран, говорящие на восьмидесяти пяти языках, что делает “Poesia21” одним из крупнейших мировых поэтических событий.

Оказалось, что именно новый онлайн-формат позволяет как нельзя лучше продемонстрировать “характерное для человеческого рода невероятное разнообразие языков и куль-

© ЕКАТЕРИНА ТЕРЕШКО, 2021

© ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА, 2021

© СВЕТЛАНА БОЧАВЕР, 2021

1. Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00429) в Институте языкознания РАН.

тур”, о котором говорит в своем послании по случаю Всемирного дня поэзии в 2018 году генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. В этом году мы можем особенно интенсивно почувствовать объединяющую силу поэзии, так как пандемия изменила все, а в новой онлайн-жизни особенно важно находить то, что позволит нам общаться в условиях “самоизоляции” и “социальной дистанции”.

Организаторами проведения Дня поэзии на платформе “Poesia21” выступили Институт языкознания РАН, фестиваль “Биеннале поэтов в Москве”, Фонд Бальмонта, Образовательный союз и Poets’ Circle (Греция), главными кураторами были Наталия Азарова (ИЯ РАН) и Димитрис Анхелис (Poets’ Circle). Им удалось создать особый, совершенно новый формат фестиваля, призванного преодолеть закрытые границы и объединить людей со всех континентов при помощи поэзии. Для проведения фестиваля была создана многофункциональная платформа “Poesia21”, где в онлайн-формате встретились поэты всего мира, чтобы прочитать два своих и одно чужое стихотворение, при этом у слушателей была возможность, параллельно с оригинальным звучанием, читать тот же текст в одном из доступных переводов: рядом с окном видеотрансляции появлялся перевод текстов, а если были доступны переводы на несколько языков, слушатель сам мог выбрать тот, который он хотел прочитать. Если на офлайн-фестивалях посетителям чаще всего приходится воспринимать поэтический текст только на слух, то платформа “Poesia21” дает возможность зрителям, не знакомым с родным языком автора, читать перевод прямо в момент исполнения произведения. Таким образом, диджитал-формат позволил обеспечить небывалое языковое разнообразие и дать представителям восьмидесяти пяти языков равные возможности для участия.

В течение дня у слушателей со всего мира была возможность “прогуляться” по всему земному шару и погрузиться в звучание разных регионов. Этот уникальный опыт было бы невозможно получить на обычном фестивале, где посетители и выступающие все-таки ограничены местом и временем. Формат фестиваля является очень демократичным по своей сути – единственным формальным условием для участия зрителей и чтецов являлось наличие доступа к Интернету, который в наши дни есть практически у каждого. Все восемь трансляций с выступлениями поэтов из разных частей света доступны в записи на сайте [roesia.world](http://roesia.world), также как и биографии авторов и почти тысяча стихотворений и переводов, многие из которых были сделаны специально ко Дню поэзии.

Руководствуясь культурной общностью регионов и распределением часовых поясов, организаторы разделили весь мир на восемь хабов и пригласили региональных кураторов, которые помогали составлять программу фестиваля, приглашали поэтов, значимых в их регионе, открывая таким образом новые поэтические горизонты, которые иначе трудно было бы увидеть из России. В качестве кураторов выступили выдающиеся деятели культуры из каждого региона: издатели, поэты и филологи.

## *Восточная и Юго-Восточная Азия и Океания*

Составлением программы и курированием хаба Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании занимались шесть кураторов. Перед ними стояла непростая задача представить поэтический мир Азии и Океании во всей его полноте. Мин Ди — поэт, переводчик и редактор, вместе с Шень Хаобо — поэтом, давшим толчок развитию авангардной поэзии в Китае, курировали китайских поэтов. Шим Бо-Сон, южнокорейский поэт, представлял корейскую поэзию, а Танака Йосуке курировал японских авторов. Интересно отметить участие в этом хабе Саота Ситуморанга, индонезийского поэта, который прожил десять лет в Новой Зеландии, где писал на английском языке, но сейчас он живет в Индонезии, продолжая заниматься поэзией уже на индонезийском, которая успешно переводится на множество других языков. В хабе также участвовали поэты из Австралии, в том числе пишущие на языках коренного населения, которых курировала Люси Холт (LK Holt). Трансляцию хаба Восточной и Юго-Восточной Азии и Океании вела Юлия Дрейзис, специалист в области китайской литературы и участник проекта “Poesia21”.

В общей сложности в хабе прозвучали голоса пятидесяти четырех авторов из одиннадцати стран. Это поэты, которые говорят и пишут не только на таких распространенных в регионе языках, как китайский, японский, корейский, вьетнамский, малайский, тагальский, индонезийский, тайский, кхмерский и английский, но и те, кто говорят и пишут на малых языках коренных народов, например, прозвучала поэзия на тибетском, языках лоло из тибето-бирманской группы, пуюма — языке тайваньских аборигенов, вираджери — языке австралийских аборигенов. В рамках хаба в первой части трансляции выступили поэты из Китая, Гонконга, Макао и

Тайваня. Так как помимо двух собственных стихотворений поэтов просили прочитать и текст другого автора на их выбор, было интересно послушать поэзию европейских поэтов, например Фернандо Пессоа, в переводе на китайский язык. Одним из наиболее ярких участников хаба является Чжэн Сяоцун — поэтесса третьего поколения рабочих мигрантов, редактор, одна из самых известных представителей современной китайской поэзии. С 2007 года Чжэн Сяоцун является лауреатом многих премий, в том числе Народной литературной премии.

## Чжэн Сяоцун

### Промзоны

лампы накаливания источают свет, многоэтажки — свет,  
механизмы — свет,  
усталость тоже источает свет, чертежи источают свет...  
это вечер седьмого дня, вечер августа пятнадцатый день  
луна выходит колесом пустоты, в роще личжи  
свежий ветер колышет нутра белизну, многолетний  
молчащий  
покой, в вечнозеленой траве скрипят жуки, городские  
огни источают свет  
в промзонах, сколько наречий их, сколько по дому тоски  
сколько слабых и немощных — телом там, сколько лунного  
света блеском на  
день седьмой станки чертежи, и она — луна — поднимаясь  
вверх  
озаряет мое лицо, пока сердце исподволь ухаает вниз. <...>

*Перевод с китайского Юлии Дрейзис*

Во второй части трансляции выступили авторы из Кореи, Японии, Вьетнама, Камбоджи и Таиланда. Особенно впечатлили слушателей выступления камбоджийских поэтов с произведениями по-кхмерски: они пели свои стихи. В целом в хабе звучало много музыки: помимо стихотворений в песенном исполнении, звучали и различные традиционные музыкальные инструменты, воссоздавая особую поэтическую атмосферу Азии. Трансляцию продолжили выступления поэтов из Филиппин, Малайзии, Сингапура, Индонезии и, наконец, Австралии.

Евразийский хаб курировали поэт и филолог Наталия Азарова — главный куратор проекта “Poesia21” и “Биеннале поэтов в Москве”. В числе кураторов евразийского хаба — Максим Амелин, поэт, переводчик, литературный критик и издатель. Он известен своими переводами античных классиков, которые повлияли и на его собственную манеру письма, в связи с чем он получил литературное прозвище “архаиста-новатора”. Кураторами хаба Евразии выступили также Дмитрий Бак, поэт и литературный критик, а также директор Государственного литературного музея Светлана Бочавер — исследователь, лингвист и один из кураторов “Биеннале поэтов в Москве”.

В евразийском хабе зрители могли получить представление о языковом и культурном разнообразии как России, так и других стран — от Монголии до Турции. В хабе прозвучали стихотворения на казахском, удмуртском, якутском, чувашском, монгольском, грузинском, белорусском, русском, татарском, азербайджанском, адыгском, турецком и других языках. Всего в этом хабе приняли участие сорок три автора из девяти стран, участники из России представили более десяти регионов страны, что позволило нам услышать очень разные поэтические голоса и познакомиться с многообразием поэзии в России, в том числе услышать классиков на малых языках, например исполнение А. Пушкина на бурятском языке в переводе Амарсаны Улзытуева.

Поэзию на русском языке представили такие современные поэты, как Ольга Седакова, лауреат премии Солженицына, Владимир Аристов, лауреат премии Андрея Белого, Максим Амелин, лауреат премии “Поэт”, и другие. Среди зарубежных авторов особо стоит отметить участие Нурит Зархи, которой в день фестиваля вручали Премию Израиля за вклад в развитие культуры.

### *Йолдыз Миннуллина*

На замороженном окне от пальца след-глазок —  
дюймовая Казань бесчувственна.

Молчит.

Такой мороз рябины горечь обращает в сок  
и сморщенная ягода ни капли не горчит...

От остановки к остановке  
город все мутней,

накрыло пеленой дома  
в проталине-глазке...  
В один и тот же день  
на Володарского в окне  
который год старушка вяжет теплые носки...  
Из года в год,  
от запаха снежинок захмелев,  
плетется старый лодочник,  
шатаясь, в мертвый порт...  
Мужчина средних лет,  
взбешенный, словно лев,  
не слыша криков: “Стой!”,  
не видя никого в упор,  
и, позабыв, конечно, напрочь о том, что вскоре  
придет раскаянье,  
уходит налегке.  
Ему вослед летит герань в горшке,  
поставив на сугробе точку в споре...  
В такую зиму, когда трещат и лопаются клены,  
твой город будет все мутнее и мутней  
от остановки к остановке  
в потоке дней,  
пока его не обогреешь  
дыханием влюбленным.

*Перевод с татарского Наиля Ишмухаметова*

## *Северная и Центральная Европа*

Кураторами хаба Северной и Центральной Европы выступили Бас Квакман — нидерландский поэт и писатель, который с 2003 по 2019 год был директором крупнейшего международно-го поэтического фестиваля “Poetry International Rotterdam”, Дмитрий Кузьмин — поэт, критик, издатель и переводчик, создавший множество переводов специально ко Дню поэзии, чтобы сделать тексты авторов, принявших участие в фестивале, более доступными для русскоязычных читателей и слушателей, а также Линда Мария Барос — поэт, писатель и переводчик, живущая в Париже и обладающая множеством премий.

Хаб Северной и Центральной Европы был представлен пятьюдесятью четырьмя авторами. Удачей было услышать не только широко известных авторов, таких как Фиона Сампсон (кавалер Ордена Британской империи), но и поэтов, пишущих на малых языках, например, исландскую поэзию в исполнении Сигурбь-

ерг Шрастардоттир. В продолжение темы переплетения музыки и поэзии венгерская поэтесса покорила сердца слушателей, исполнив “Ведьминский напев” в виде песни-речитатива.

[262]

ИЛ 11/2021

## *Сигурбьерг Шрастардоттир*

### *Старое дерево*

При входе на поляну надломленный ствол нижняя ветка  
медленно клонится вниз  
она оторвется  
от небес в сентябре  
здесь ничто не живет,  
что шевелится  
лишь доносится пение хора по-немецки, и  
Красная Шапочка на валуне мертвая  
со следами трех когтей  
на шее

*Перевод с исландского Ольги Маркеловой*

## *Южная Азия*

Южноазиатская секция была представлена более чем пятьюдесятью участниками из Индии, Непала и Пакистана. Чтения были разделены на пять частей по языкам: бенгальский, далит, английский, хинди и многоязычная секция. Кураторы и поэты, в том числе удостоенная многих наград поэтесса Тришна Басак, поэт, издатель и переводчик Танудж Саркар, поэтесса-билингв Санхита Синха, поэтесса и индолог Бахата Ансумали Мукхопадхьяй, обсудили глобализацию, переводы и особенности бенгальской поэзии, а также проблемы, которые перед ней встают – урбанизация и устаревание многих слов, что ставит поэта перед выбором – писать с анахронизмами или подстраиваться под аудиторию.

Мультикультурную Индию представляли кураторы Арундхати Субраманиам – поэтесса, которая пишет в основном на английском языке, и Рати Саксена – поэтесса, которая пишет на хинди. Кроме этого, в данном хабе впервые в мире прозвучала поэзия далитов, “неприкасаемых”, – касты, занимающей самое низкое положение в индийской иерархии, – встречающихся также в остальной части Южной Азии, в Непале, Пакистане, Бангладеш и Шри-Ланке. Куратором и участни-

ком секции далитов выступил Чандрамохан Сатхьянатхан, поэт и литературный критик, стипендиат Международной писательской программы (IWP-2018) Университета Айовы. Он отметил, что на данный момент на платформе “Poesia21” выступило самое большое число поэтов-далитов одновременно, среди них поэт и автор статей для проекта “Round Table India” с аудиторией более сорока трех тысяч человек Чанчаль Кумар и тамильская поэтесса Кутти Ревати, которая является автором пятнадцати сборников стихов и редактором первого тамильского феминистского журнала “Panikkudam”.

## *Кутти Ревати*

### *Женщина-упырь*

Женщина-упырь с иссохшей грудью, вздутыми венами — / Пустые глаза, белые зубы, сморщенный живот, / Рыжие волосы, два клыка, / Костлявые лодыжки и тощие голени — / Заперта на этом кладбище, злобно воет. / Это место, где мой Господь танцует в огне, тело его прохладно, Его струящиеся волосы летят в восьми направлениях, / Это Тируваланкаду.

*Перевод с тамильского Екатерины Симоновой*

В этом хабе была представлена бенгальская секция, куратором которой выступил Шубрушонкор Даш, двуязычный поэт и писатель, в равной степени владеющий английским и бенгальским языками. Еще одним куратором и переводчиком южноазиатского хаба стал Филипп Николаев, также двуязычный поэт и переводчик с русского и английского языков, полиглот. В ходе дискуссии поэты отметили, что для их региона характерно существование в мультязычной среде, и это, конечно, накладывает свой отпечаток на восприятие их родного языка и языка как средства донесения информации. Хотя многие поэты сейчас пишут на английском, они все равно опираются на национальную поэтическую традицию, и это делает их поэзию уникальной.

## *Южная Европа*

За хаб Южной Европы, в котором приняли участие сорок поэтов из четырнадцати стран, отвечали Димитрис Ангелис и



Мариса Мартинес Персико. Стихи Димитриса отмечены множеством наград, в том числе Национальной поэтической премией Греции, он также является директором “World Poetry Festival” в Афинах. Мариса Мартинес Персико родилась в Аргентине, а сейчас живет в Италии. Мариса – поэт, переводчик, а также преподаватель латиноамериканской литературы. Марисе удалось сделать трансляцию по-настоящему мультикультурной и мультиязычной, свободно переходя в дискуссиях между английским, испанским и итальянским.

В первой части трансляции прозвучали стихи авторов из Греции, Испании, Португалии, Северной Македонии, Кипра и Украины. Поэзия малых языков, представленная авторами из Галисии, Каталонии, Валенсии и Фриулии, развивается быстрыми темпами, и было особенно ценно услышать стихи на этих языках в рамках фестиваля.

Участники говорили о том, что именно поэзия в тяжелые времена кризиса придает сил и помогает справляться со страхом и усталостью. Важной темой было взаимодействие и взаимопроникновение разных культур, которое начинается с перевода стихотворений, а позже приводит к переосмыслению и использованию чужих поэтических традиций. Ярким примером такого восприятия западной культурой традиций восточной поэзии является поэтический сборник Панайотиса Николайдеса “Oinopoiesis” (2014), состоящий из шестидесяти шести хайку о вине и поэзии, написанных на кипрском диалекте.

Во второй части трансляции была затронута тема связи языка и политики, в том числе запрета национальных диалектов и роль поэтов в борьбе с тоталитарными режимами. В этой связи интересны стихи румынской поэтессы и политической деятельницы Магды Карнечи и албанской поэтессы Лидии Души, пишущей на гегском диалекте албанского языка.

## *Северная Африка*

Огромную работу проделал и куратор хаба Северной Африки Мухаммед Милюд Гаррафи, франко-марроканский поэт, писатель и переводчик, преподаватель арабской литературы в Лионе (Франция). Североафриканская секция была представлена тридцатью тремя поэтами из Египта, Алжира, Ливии, Туниса, Марокко. Поэзия всегда играла особую роль в арабском мире, начиная с доисламских времен, когда устная лиро-эпическая поэзия была связана с обрядово-магической

практикой бедуинских племен. Современная арабская поэзия отказалась от традиционных размеров и тем, но сохранила богатство языка и связь с песенной традицией.

Стремительно развивается женская поэзия в этом регионе: из тридцати трех участников этого хаба почти треть — женщины, среди которых следует особо отметить обладательницу многочисленных литературных премий Шерин Алавави, автора семи поэтических сборников и лауреата Танжерской поэтической премии Нагят Али и египетскую поэтессу и кинорежиссера Сафаа Фатхи, предисловие к одному из сборников которой написал Жак Деррида.

[265]

ил 11/2021

## Нагят Али

### Соперница

<...> Обе были всем / Друг на друга похожи: / Глубокими глазами, / Чувствами, которые разрушила Любовь, / Телом, которым овладела / Слепота. / Однако ее / Соперница / Была невиннее, / Чем она, / И не писала стихов.

*Перевод с арабского Александры Голиковой*

Кроме того, во время трансляции прозвучали стихи классика арабской литературы и автора более тридцати книг марокканца Мухаммеда Али Реббауи, в чьей поэзии переплетаются традиция и современность, а также обладателя литературной премии ЮНЕСКО 1995 года Ахмада аш-Шахави и лауреата национальной премии Марокко Дриса Малиани, чья поэзия переведена на все основные европейские языки и который также известен как переводчик русской литературы на арабский.

## Тропическая Африка

Кураторами хаба Тропической Африки выступили Тони Адам Мочама, кенийский поэт, писатель, автор и журналист, и Нии Айиквей Паркес, поэт-перформансист, писатель, издатель и социокультурный комментатор из Ганы. В секции прозвучали стихи поэтов из Кении, Нигерии, Намибии, Того, Камеруна, Зимбабве, Уганды, Танзании, ЮАР, Мадагаскара,

Ганы и Сьерра-Леоне. Многие стихи были переведены на русский специально ко Дню поэзии, и для некоторых участников это был первый опыт перевода их стихов на другой язык.

Поэзия этого региона затрагивает острые социальные и экологические проблемы: поэт и драматург Умар Фарук Сесай пишет о загрязнении окружающей среды в родной Сьерра-Леоне, Тони Мочама прочитал стихотворение, написанное на первую годовщину COVID-19 “Первые семь дней короны”, а кениец Кристофер Окемва является составителем и редактором крупнейшей в мире антологии о коронавирусе “Размышления во время пандемии: всемирная антология стихов о COVID-19”, которая включает пятьсот пятьдесят поэтов со всего мира. Камерунец Тимба Бема и ганская поэтесса и активистка Апиоркор Сейирам Ашонг-Эббей в своем творчестве затрагивают темы панафриканизма и национальной идентичности.

## *Две Америки*

Новаторским в рамках фестиваля было выделение американского хаба, в который вошли страны как Северной, так и Южной Америки, и в рамках которого звучали не только широко распространенные в этой области английский и испанский во всех их вариантах, но и языки малых народов, например один из инуитских языков — инуктитут — в поэзии Джоан Кейн. Кураторами этого хаба выступили Али Кальдерон (Мексика), исследователь латиноамериканской поэзии, издатель и создатель одного из самых крупных поэтических интернет-ресурсов в мире, и Андреа Коте-Ботеро (Колумбия — США), поэт, чьи стихи были переведены на английский, французский, немецкий, каталанский, итальянский, португальский, македонский, арабский, польский и греческий языки. Поэзия двух Америк была представлена в переводах на различные языки, такие как китайский, русский, нидерландский, польский, итальянский, португальский, французский, испанский и английский.

В трансляции приняли участие такие выдающиеся деятели американской литературы, как Брайан Тернер — американский поэт, публицист и профессор, получивший премию Беатрис Хоули 2005 года за свою дебютную коллекцию “Неге, Bullet”, первую из множества наград, полученных за этот сборник стихов о его опыте солдата во время войны в Ираке, и Пулитцеровский лауреат Форрест Гандер.

# Габриэль Чавес Касасола

## Песнь супу

Когда мой дедушка был молод, семьи были большими,  
жили в больших домах — больших или маленьких,  
но все же больших,  
иногда в крошечных, но все же больших.

Ели за большими столами,  
за крепкими столами, покрытыми или нет огромными  
скатертями,  
закрепленными по краям.

Ели за большими столами суп на большой обед.  
Суп разливали большими половниками  
из больших супниц. <...>

*Перевод с испанского Дениса Безносова*

## Переводческая программа

Особой частью фестиваля было составление переводческой программы, к участию в которой привлекли более тридцати волонтеров-переводчиков с различных языков<sup>1</sup>. Особые сложности для перевода представили языки малых народов, например языки манипури и конкури в индийском регионе, язык синдхи, распространенный преимущественно в Пакистане, фриульский язык с тремястами тысячами носителей на севере Италии и другие. Однако у каждого стихотворения, даже написанного на одном из таких редких языков, есть хотя бы один перевод, чаще всего на английский или русский языки. Для некоторых поэтов это первый опыт перевода их поэзии.

1. Ростислав Амелин, Владимир Аристов, Денис Безносов, Екатерина Белавина, Михаил Бордуновский, Александра Валикова, Виктор Веденяпин, Надежда Вольнова, Дмитрий Гаричев, Алла Горбунова, Юлия Дрейзис, Софья Дубровская, Елизавета Жимкова, Наталья Игнатьева, Петр Колпаков, Кирилл Корчагин, Владимир Кошелев, Дмитрий Кузьмин, Антон Линьков, Светлана Литвак, Серафима Литвинова, Марина Мохнатская, Евгений Никитин, Филипп Николаев, Алексей Прокофьев, Андрей Сетеньков, Иван Стариков, Софья Суркова, Екатерина Терешко, Екатерина Федорова, Александра Шаламова.

Выделяются популярные для перевода авторы и стихотворения. Так, стихотворение Ольги Седаковой “Ангел Реймса” переведено на семь языков, а “Долго ты пролежала в земле, праздная” Максима Амелина – на десять языков, в том числе на китайский и корейский. Но абсолютным чемпионом по количеству переводов стало стихотворение “Кириллюбовь” турецкого автора Эфе Дуияна, переведенное на тринадцать языков.

Организаторы призывают уделять большее внимание переводам современной поэзии, так как это, во-первых, обогащает языки, на которые поэзия переводится, привнося в него новые идеи, образы и формы, во-вторых, делает поэзию более доступной в мировом масштабе и, в-третьих, развивает гибкость в творчестве поэтов, на язык которых поэзия переводится. Кроме того, перевод поэзии – важная часть поддержки национальных литератур. Ведь чтобы сохранить язык, необходимо не только разговаривать на нем в бытовых ситуациях, но и читать и создавать литературу на этом языке. Как верно было подмечено на фестивале, “не надо предсказывать поэтическую ‘погоду’, нужно создавать ее самостоятельно”, в том числе при помощи перевода.

Перевод поэзии еще раз подтверждает мысль, звучавшую лейтмотивом на фестивале “Poesia21”: поэзия, сталкиваясь с границами стран и языков, высвечивает сходство и объединяет нас. Организаторы и участники фестиваля верят, что это масштабное поэтическое событие, ставшее возможным, в том числе благодаря новому формату, станет началом новой эпохи и создаст мировое поэтическое единство, преодолевая границы и расстояния.

# СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

## Горы

Памяти Алика Дарчиашвили

Есть такой шуточный способ деления людей на две породы, что ли: чай или кофе? собаки или кошки? Достоевский или Толстой? — и пр. Я бы добавил в этот опросник графу “горы или море”? Пастернак, обращаясь к морю, сказал, что, в отличие от всего остального, этой стихии “не дано примелькаться”. Мой сердечный опыт иной: только в виду гор меня не оставляет ощущение торжества, восторга, праздника.

Лучшие из известных мне слов о первом впечатлении от гор сказаны Львом Толстым в повести “Казаки”: “Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не верил, — и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же... Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегаящую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор... ‘Теперь началось’, — как будто сказал ему какой-то торжественный голос”.

Большинство моих привязанностей по ходу жизни идут на убыль, а эта, кажется, даже крепнет по мере того, как шансы

на очередную вылазку уменьшаются из-за надвигающейся старости и нынешней затяжной эпидемии.

[270]

ИЛ 11/2021



*Фото автора*

Море поначалу впечатляет, но вскоре делается привычным, будто равнина, степная или пустынная; оно не меняется каждые десять-пятнадцать минут, как горы и их рукотворные сородичи — тесные высокие города.

Речь, видимо, о любви, иначе откуда бы взяться ревности? Я смолоду обуян бесом странствий, так что чувство мгновенной зависти к людям, отправившимся за тридевять земель, мне вполне знакомо. Но применительно к горам душу мигом опаляет вовсе не легкая зависть, а тяжелая растрата. Почему, с какой стати эмоции, уместные, если нечаянно узнаешь про амуры небезразличной тебе женщины, вдруг возникают по отношению к “форме рельефа, изолированному резкому поднятию местности с выраженными склонами и подножием”, говоря по-ученому?

Но как быть — вот и классики описывают любовь к женщине и страсть к “форме рельефа” чуть ли не слово в слово.

Лев Толстой, там же: “Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Терекe; а го-

ры... Из станицы едет арба, женщины ходят красивые, женщины молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость; а горы...”

Теперь — Владислав Ходасевич:

Странник прошел, опираясь на посох, —  
Мне почему-то припомнилась ты.  
Едет пролетка на красных колесах, —  
Мне почему-то припомнилась ты.  
Вечером лампу зажгут в коридоре —  
Мне непременно припомнишься ты.  
Что б ни случилось, на суше, на море  
Или на небе — мне вспомнишься ты.

Будь моя воля, кажется, запер бы эту красоту за глухой стеной от туристических посягательств: пикников, шашлыков, разбитных под семиструнку песнопений — “А Жора целовал мой ледоруб...” и проч. Впору закатить истерику, как в детстве, когда, поскуливая от жадности и жалости, пинал по дороге в школу матовый гребень нового ночного сугроба — “так не доставайся же ты никому”!

Посыпались вперемежку горные воспоминания, будто встал на цыпочки, дотянулся до верхней полки с пыльными фотоальбомами, а удержать не удержал и собираешь по одному снимку с пола, разглядывая наново и бередя душу.

Под Нальчиком осенью я завалил камнями узкое русло речки Кенже, и вода поднялась по колено. Мы по очереди помылись в сумерках в ледяной запруде, оставили общий обмылок на валуне на краю купальни и пошли к костру выпивать. А утром мыло — было да сплыло, и вода стояла почти по пояс, натянутая, как струна: это палую листву ночь напролет несло течением, и она законопатила все щели, и плотина сделалась непроницаема. Жаль, мы уже уезжали и не попользовались вволю своей ванной.

Или такая история, тоже, кстати, произошедшая на берегу покоренной горной реки. По одной из двух главных дорог отечественной литературы — по Военно-Грузинской, мы перевалили из Осетии в Грузию и разбили лагерь неподалеку от Мцхеты, на Куре вблизи ГЭС и точно под Джвари, тогда еще на этом мысу возвышался памятник Ленину.

Почвоведы с утра уехали в Тбилиси, а меня оставили караулить экспедиционное добро. Зной, похмелье, зеленая быстрая Кура, в которой я полоскался, держась, чтобы не угодить в турбины, за привязанный к пирамидальному тополию канат. Вскоре мне это наскучило и по плотине я перешел на другой берег в поисках развлечений. Развлечение ждало меня в образе придо-



рожного шалмана под открытым небом. Я заказал лобио в горшочке, накрытом кукурузной лепешкой, соленья и кувшин белого вина. Мемориальная доска на стене над питьевым фонтаном привлекла мое внимание, я подошел и прочел, что А. С. Пушкин угощался здесь в 1829 году по дороге в Тифлис. Совпадения наших с Пушкиным возрастов и маршрутов произвело на меня такое сильное впечатление, что я тотчас не на шутку задружился с молодыми грузинами с соседнего столика и к вечеру истратил, помимо карманной наличности, прорву чужих денег.

Когда утром, чтобы вернуть долг, я брал у начальника партии весь свой заработок авансом, в камералку, насвистывая “Караван” Дюка Эллингтона, заглянул Виктор Оганесович Таргульян, мачо-коротышка и светило почвоведения. Смерив быстрым взглядом веер купюр поверх финансовой ведомости, он оборвал художественный свист и осведомился: “У нас в отряде кто-то покупает драгоценности?”

А первый раз я очутился в горах по окончании школы. Отец раздобыл четыре путевки на базу отдыха Академии наук на реке Зеленчук в селе Архыз в Карачаево-Черкесии. Жили по-спартански — своей семьей в большой армейской палатке, спали на раскладушках, ели в столовой. На следующий после приезда день я вышел ранним утром на воздух, посмотрел по сторонам, задохнулся (вот-вот, как Оленин!) от высоты и простора, от грохота, скорости и пены зеленоватой реки, и подбил брата-подростка сгонять до обеда туда-обратно на ближайшую поросшую лесом гору с облезлым хребтом. Новичок, я не знал, как “на глаз” обманчиво в горах расстояние, что до цели нашего восхождения еще две-три промежуточных гряды и спуска в ущелья, что для ходьбы по горам нужна особая экипировка, в первую очередь — обувь. И мы пошли в чем были — в шортах и кедах, сокращали, как нам казалось, путь, не следуя изгибам козьих троп, а продираясь напрямик сквозь заросли рододендрона. Через несколько часов пути уже на пределе сил мы достигли талого снега и попали в густой туман. Брат расплакался, я тоже был растерян, но оставил его сидеть на большом валуне и из упрямства все-таки вскарабкался на перевал. Постоял там на ветру несколько минут, дрожая от холода и усталости, посмотрел во враждебную даль, загроможденную насколько хватало глаз тучами и такими же горами, только еще выше, развернулся, пошел обратно, чудом нашел в “молоке” брата, и мы, чувствуя недоброе, поспешили вниз. Последний час мы брели в сгущающейся тьме, вяло переключаясь, осклизаясь и падая, — подробностей я не помню.

Улицы села были совершенно темны, и я вскрикнул, когда земля вдруг зашевелилась и поднялась под моими ногами, —

это я наступил на корову, лежавшую посреди дороги. Примерно через четверть часа плутания навстречу из мрака показалась группа людей с фонариками и факелами. Это отдыхающие базы Академии наук “Архыз” отправились на поиски пропавших братьев Гандлевских. Кажется, отец, поравнявшись со мной, смазал меня по шее.

После того первого знакомства с горами я, как тигр-людоед, вошел во вкус и старался пользоваться любым предложением, чтобы испытать при виде гор сумму самых противоречивых чувств с красивым названием “синдром Стендаля”.

Горные ландшафты распоряжаются твоим временем и перекраивают распорядок дня, точно капризная красавица или малое дитя. Идешь ли ты деловито верхней галереей крепостной стены к сотоварищу по *workshop* в умбрийской глухомани или собираешь пожитки в кахетинской деревне с панорамой долины Йори, когда от всего этого многоярусного душераздирающего объема разом забываешь, куда ты держишь путь и с какой целью, а там, глядишь, и день пролетел за прилежным *dolce far niente* – вон уже приходят в движение гигантские тени вершин и хребтов, и стремительно смеркается.

Если мохнатые хребты, шумные ущелья и снежные вершины “всего лишь” бесчувственная природа – откуда впечатление благородства и достоинства, которые на склоне лет я все чаще подмечаю во время своих нечастых одышливых прогулок? Сходное впечатление оставляют и старые патриции городской флоры: платан на Римской улице в Тбилиси, дуб возле ветеринарной клиники в Тучково и грандиозный тополь в одном дворе на Покровке! Прав, получается, не больно-то любимый Тютчев: природа не то, что мы мним.

Или вот еще, под занавес. Мы стояли лагерем под Бакуриани, не было житья от гнуса, но кто-то из наших прослышал, что неподалеку горячий источник, серный, кажется.

И точно! “Спидола” на бетонном неряшливом парапете самодельной купальни играла какую-то слезливую кавказскую попсу. Два мальчика лет девяти-одиннадцати бултыхались в теплой белесой воде со специфическим душком, в которую и я, чтобы унять зуд, поспешно погрузился. Маленькая девочка бежала вприпрыжку по направлению к нашему бассейну, но испуганно застыла, увидев меня, и, стоя на безопасном расстоянии, крикнула: “Микис, дэда медзахис!”<sup>1</sup>. Микис с неохотой вылез, забрал “Спидолу” и побрел за сестрой.

1. “Микис, мама зовет!” (Груз.)

— А тебя как звать? — спросил я второго мальчика, что-то заподозрив.

— Одиссей, — ответил он.

Маленький Улисс в черных семейных трусах!

[274]

ИЛ 11/2021

По дороге, как говорится, с ярмарки досадуешь, что плохо и наспех смотрел по сторонам в молодые годы. Думал, наверное, что, раз жизнь так расщедрилась в начале, каково-то будет продолжение, пока не водрузил на нос нынешние прощальные окуляры.

Вот бы еще обмереть напоследок на карусели горной дороги, чтобы старая выдавшая виды душа промолвила “Ах!”.

# ТОМАС КОРСГОР

[275]

ИЛ 11/2021



## Две новеллы

*Перевод с датского и вступление* НАТАЛЬИ КЛАРК

### “Кражи”

“В Дании появился новый король прозы, мастер по созданию ярких образов и правдоподобных персонажей, которых он ваяет из самого банально-го реквизита. И, самое главное, его описания наводят на мысль: ох, до чего же хорошо мне знаком этот типаж!” — так в один голос отзываются критики о молодом датском писателе Томасе Корсгоре.

Томас Корсгор родился 28 февраля 1995 года в городке Виборг, Королевство Дания. Писательский дебют состоялся в 2017-м благодаря роману “Если мимо пройдет человек”, основанному на воспоминаниях детства и юности. Роман не только был заслуженно хорошо принят читателями и критиками, но и вызвал бурные дискуссии в прессе.

“Кражи” — это сборник, состоящий из пятнадцати трагикомических новелл, описывающих некоторые едва заметные глазу моральные отклонения наших современников. Основной мотив новелл — нелепости человеческих отношений.

В свои коротенькие повествования писатель умудряется вместить немало смысловых нагрузок, словно лазер, умело считывая мотивы поступков

© Наталья Кларк. Перевод, вступление, 2021

Новеллы публикуются с разрешения Агентства COPENHAGEN LITERARY AGENCY.

самых разнообразных людей. Он мастер создания ярких образов и правдоподобных персонажей, делающий краугольным камнем своих новелл самые примитивные подручные материалы: полиэтиленовый пакет, блюдо с лазаньей, шариковые ручки, камень, раскрашенный под божью коровку — создающие привычную и хорошо узнаваемую для читателя среду.

Несмотря на юмор и иронию, некоторые истории настолько трагичны, что их даже больно читать, ведь грусть и одиночество — неизменные спутники героев Корсгора. При этом все происходящее до боли узнаваемо и обыденно. Молодой датский писатель обладает недюжинным талантом изображать характеры и типажи, осыпая читателя изрядной дозой дофамина.

Название книги и новеллы “Кражи” — намек на то, что люди могут воровать друг у друга не только материальные, но и нематериальные вещи. Критики и читатели по достоинству оценили новую звезду на небосклоне датской литературы, набирающую все большую популярность, и единогласно называют Томаса Корсгора “новым королем новеллы”.

### *Вот поэтому мы и здесь*

**В**ЕЛИКА важность, что брюки мои в пятнах мясной подливки и рот мой красный от вина — ну и что здесь такого? В это заведение меня везет моя собственная женушка. Не могу припомнить, чтобы когда-либо раньше мне доводилось видеть ее в подобном состоянии. Переполошившись не на шутку, она выкрикивает мне, чтобы я немедленно садился в машину, и вот мы едем. Не спавши три дня, любой человек может слегка оконфузиться и чего-нибудь натворить, но это вовсе не означает, что он непременно сошел с ума. Но уж такая у меня жена: всегда раздует из мухи слона, любую мелочь превратит в неразрешимую проблему, а теперь она даже не желает, чтобы я возвращался домой, пока *не получу помощь ПРО-ФЕС-СИ-О-НА-ЛА или с кем-нибудь не побеседую*. Это мне сейчас и предстоит сделать. Надо же такому случиться, что я здесь оказался! Здесь! Так о чем же со мной будут беседовать?

Я оборачиваюсь, чтобы проверить, не уехала ли она. Конечно же нет, ведь ее запас доверия ко мне уже полностью исчерпан! Ее машина все еще стоит припаркованная под деревом. Опустив окошко и едва не свернув себе шею, она проверяет, не собираюсь ли я ненароком сбежать. *Это мой последний шанс*. Я почти слышу ее голос, выкрикивающий мне вслед эти слова. Давай, езжай-ка домой! Я и сам с этим сумею справиться, ведь раньше же как-то справлялся, ты что,

успела позабыть? Перед тем, как нырнуть под навес, я расхаживаю туда-обратно по плитке перед входом. Снова оборачиваюсь и вижу, что она все еще там. Затем стучу в стеклянную дверь своей перевязанной рукой так, чтобы ей было хорошо видно: “Так смотри же, я иду с кем-нибудь побеседовать!”. Раздвижная дверь открывается, и я оказываюсь запертым в стеклянном кубе. Ко мне приближается медсестра с тревожным лицом и в белых сабо.

— Добрый вечер, — здоровается она.

Надо же, сейчас опять вечер. Ну да ладно, пусть будет так, раз она говорит. Я не чувствую никакой усталости. Медсестра держится от меня на расстоянии, как будто я представляю для нее угрозу, и совершенно напрасно. Однако я решаю с этого не начинать наш разговор.

— Добрый вечер, — говорю я, и она смотрит на меня, ожидая, что я к этому что-нибудь добавлю, впрочем я так и делаю.

— Здесь у вас, наверное, самый настоящий дурдом? — интересуюсь я.

— Да никакой у нас не дурдом. Мы — отделение неотложной психиатрической помощи.

— Но вы ведь понимаете, о чем я, — замечаю я, потому что хотя определенно не желаю никого обидеть, но при этом не вижу причин кричать на каждом перекрестке о причинах, по которым здесь оказался.

— А почему вы все-таки решили к нам прийти? — интересуется она.

— Ну как вам сказать, после того, как я провел несколько бессонных ночей, моя жена стала проявлять некоторое беспокойство и посоветовала сюда заглянуть, чтобы с кем-нибудь побеседовать.

— Вот и хорошо, — говорит она, помечая что-то в своем блокноте. — Чтобы соблюсти небольшую формальность, я обязана задать вам вопрос: находились ли вы в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических средств?

— Нет!

— А когда-либо ранее были госпитализированы?

— Ничего подобного!

— Посещают ли вас мысли о суициде?

— Уж точно нет!

— Вы принимаете какие-нибудь лекарства?

— Тоже нет.

— Добро пожаловать к нам, — говорит она и, отперев стеклянный куб, проводит меня в приемную.

— Это займет какое-то время, — говорит она. — Но вам придется подождать здесь.

— Окей! — говорю я, проходя в приемную. Я занимаю свободный стул и начинаю разглядывать стенд с журналами о здоровье и листовками с рекламой медицинских услуг. Затем беру в руки один из журналов и рассматриваю картинки. Кладу его обратно. Интересно, кто вообще читает такое дерьмо?

Мои ноги так и скачут вверх-вниз. Они всегда так делают. “Думающие ноги”, как выражается моя мама, но я сомневаюсь, насколько они вообще способны думать. Пытаясь их остановить, я кладу руки на бедра и надавливаю. Брюки сверкают крупными расплывшимися пятнами от мясной подливки. Я хотел переодеться, но на это не было времени, ведь нам непременно нужно было сию же минуту садиться в машину. Плюнув на палец, пытаюсь соскрести пятна ногтем, но красный цвет уже глубоко впитался в ткань.

Всего-навсего бросился кастрюлей. Пролетев порядочное расстояние вдоль стены, она ударилась о кафельный пол и проделала в нем трещину. Допускаю, что немного вспылил и моя реакция была несколько преувеличенной. Очевидно, по причине трехдневного недосыпания в голове возникло небольшое короткое замыкание. А спать я не мог оттого, что постоянно думал о проклятом письме, которое вот-вот должно прийти. Разумеется, вместо обратного адреса отправителя там будет написано не что иное, как “Intrum Justitia”<sup>1</sup>, они всегда пытаются замаскировать свою корреспонденцию под любое обычное письмо, но ведь меня не проведешь! А мы всё покупаем, покупаем и покупаем. Новые мобильники для детей, потому что старые постоянно ломаются, выдаем им карманные деньги на летний лагерь. Новую одежду, потому что, вырастая из старой, они больше не помещаются в нарядах своих старших братьев и сестер. И кошку надо чем-то кормить, причем непременно самым дорогим кормом. Автомобилю необходим бензин. А потом еще эта чертова газировка, которую она все время пьет, заявляя, что воду не любит. Я вот, например, уже несколько месяцев себе вообще ничего не покупаю, хотя именно я и зарабатываю все деньги. Хотя нет, недавно все-таки приобрел новый плоский экран в рассрочку, он до сих пор все еще лежит в коробке в коридоре, потому что она решила вернуть его назад. Видите ли, *нам такой не нужен*. Так я взял да и предложил ей устроить во дворе блошинный рынок, чтобы

1. Европейская компания, занимающаяся сбором дебиторской задолженности. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

продать кое-какие вещи из подвала: диван, офисный стул, красивую лампу, — но она почему-то сочла, что речь тут идет вовсе не о пополнении семейного бюджета, и обозвала меня бездушным, ну я и кинул эту кастрюлю. Причем целился вовсе не в нее, хотя уже не сомневаюсь, что именно таким образом она представляет случившееся своим подружкам. Я швырнул о стену и прекрасно осознаю, что так поступать нельзя, — и вот теперь, чтобы вылечиться, мне, видите ли, необходимо здесь с кем-нибудь побеседовать.

Почувствовав жажду, я подхожу к тележке, наливаю себе стакан воды и опустошаю его стоя. Затем наполняю следующий стакан. При соприкосновении с полом мои резиновые туфли повизгивают, когда я направляюсь обратно к своему стулу. Все присутствующие в приемной смотрят на меня так, как будто я непременно обязан тотчас провалиться сквозь землю. Я делаю глупую гримасу, пытаюсь показать ртом, что это я не нарочно. Да и почему, собственно, я должен это делать нарочно?

Напротив сидит мужчина в высоких сапогах с измученным лицом и через короткие интервалы времени к чему-то принохивается. Вероятно, он слышит голоса. Я слышу только голос своей жены и консультанта из банка, да еще крики наших детей. Чуть поодаль расположилось целое семейство. У них у всех такой печальный вид оттого, что папашу дико трясет. Я снова сажусь. Мои ноги начинают нарезать круги над полом, и я снова бросаю взгляд на мужчину в сапогах.

— Я НЕ ХОЧУ СЕЙЧАС ГОВОРИТЬ, — кричит он, но я ведь ему и слова не сказал.

Я думаю о том, что мне здесь явно не место. Все эти люди действительно больны. Поймав себя на мысли, что я вообще не имею права тратить время персонала на свои мелкие проблемы, тем более что письма из *Intrum Justitia* все равно будут продолжать приходить, я встаю со своего места и направляюсь к выходу. Стучу в окошко, за которым сидит та самая медсестра.

— Я хочу уйти, — говорю я.

— Вам придется подождать, — отвечает она, обращаясь ко мне как к маленькому ребенку, несмотря на то, что я вполне себе взрослый мужчина, который сам должен решать, где и когда ему находиться.

— Для начала нам нужно с вами побеседовать, — говорит мне она.

— Но я хочу уйти.

Я стараюсь быть вежливым, очень стараюсь, но мои слова звучат довольно жестко.



— Вам нужно остаться здесь, пока мы не выясним, чем сможем вам помочь.

— Здесь явно какая-то ошибка. Завтра мне на работу. Отпустите меня домой, мне нужно выспаться.

— Я понимаю, что вам нелегко.

При этом она делает то же самое, что и моя жена: произносит слова сладким голоском, который на самом деле никакой не сладкий.

— Но вы же не имеете права меня принуждать, — говорю я, чувствуя, как у меня голова вращается в плечи.

— Ну хорошо, — говорит она и нажимает кнопку, открывающую раздвижную дверь. — Надеюсь, вы в курсе, что всегда сможете вернуться обратно?

— Да, в курсе, — отвечаю я.

И вот я опять оказываюсь на улице под навесом. Жена уже уехала, а сейчас, наверное, лежит себе и спокойненько спит. Как только приеду домой, нужно вначале зайти за ключом в сарай, а утром скажу ей, что беседовал с ними, и они посоветовали мне нанести визит семейному доктору. Поверит, куда денется. Я нащупал в кармане рыхлый кусок жевательной резинки, что ж, неплохо что-нибудь погрызть на ходу. И тут прямо передо мной возникает женщина с босыми ногами. Похоже, она немного не в себе. Как же мне жалко людей, которым настолько плохо.

— Простите меня, — обращается она ко мне дрожащим голосом. — Можно вас кое о чем спросить?

— О чем же?

— Я ищу отделение неотложной психиатрической помощи.

— Это вон там, — говорю я, указывая в ту сторону.

— Вам, наверное, тоже туда? — спрашивает она, опустив взгляд.

— Нет же, нет, черт возьми! — говорю я. — Я просто там работаю.

— Это правда?

— Да, и я только что освободился.

— В таком случае не стану вас беспокоить. — Вид у нее такой, будто вот-вот расплачется.

— Ничего страшного, — отвечаю я, при этом с силой впиваясь в резинку зубами, так что становится больно челюстям.

— Я чувствую себя ужасно виноватой, — говорит она.

— За что?

— За всё!

— За всё?

— Да! ЗА ВСЁ!

— Ну, это уж слишком.

— Да, — хлюпает она, и слезы катятся у нее по щекам. — Так и есть.

— Тогда правильно, что вы сюда пришли, — говорю я.

— Вы так думаете?

Она начинает рыдать, а я заключаю ее в объятия, пытаюсь хоть таким образом ей помочь. Чувствуется, что она совсем замерзла, и при этом от нее нехорошо пахнет. Увидела бы меня в этот момент моя жена!

— Там, за дверью, стойка регистрации, — говорю я, разжимая объятия. — Мои коллеги о вас позаботятся.

— Спасибо, — произносит она, хватая меня за руку.

— Не стоит благодарности.

— Нет же, стоит! Я обязательно пошлю вам цветы.

— Этого еще не хватало, — говорю я.

— О, да! ОГРОМНЫЙ букет! Спасибо вам! — всхлипывает она.

— Вот поэтому мы и здесь, — говорю я, наблюдая, как она проходит сквозь стеклянную дверь.

## Кражи

**Я** ворую. Тырю вещички и всякий скарб. Кто-то может подумать, что таким образом я пытаюсь компенсировать нехватку в своей жизни чего-то более глубокого или дефицит любви, идущий из детства. Но и того и другого у меня всегда было предостаточно, и поэтому детство мое тут вовсе ни при чем.

Первой моей кражей была пластмассовая шпилька для волос, которую я стянула у дочки моей нянечки. А чуть позже я вынесла из детского сада три киндер-сюрприза, спрятав их в туфельки, отчего мои ступни еще долго потом чесались. За этим последовало похищение мороженого из морозильника в гараже у соседей. Припоминаю копилку для Санта-Клауса на частной вечеринке в девятом классе. А в третьем я присвоила себе двести крон из денег, которые мы заработали, продавая вафли на Стрегете<sup>1</sup> в День труда (но поскольку в те времена я была совсем нищей, то это не в счет). Из квартиры подруги я умыкнула механического зайца, умевшего издавать звуки и передвигаться по полу. Я воровала белье и халаты из отелей, опустошала подсобки баров и ресторанов в тех городах, куда

1. Главная пешеходная улица Копенгагена.

я никогда больше не собиралась возвращаться. Удостоверение личности для работы в “Иллуме”<sup>1</sup> быстро стянуть не удалось, поскольку сотрудник предпочитал не носить его на шее. Были еще какие-то глянцевого журнала из киосков, но я их потом все равно никогда не читала. Букетик лаванды из цветочного магазина за жалкие девятнадцать крон.

Самыми неприглядными из всех моих трофеев оказались придорожные вывески: одно время они привлекали меня поэтическим звучанием названий улиц (Ежевичная, Юпитерная, Спортивная).

После ежегодного летнего корпоратива мне удалось присвоить бутылку красного вина из конторы моего начальника. И дневник моей сестры, который она вела в тюремном заключении (причем с применением грубой силы); и письма, адресованные моему отцу каким-то сыном, о существовании которого никто не должен был узнать. А еще был пылесос из “Фетекса”<sup>2</sup>, вышитые скатерти, принадлежавшие одному гражданину (это произошло, когда на один день меня отправили на замену работника в дом престарелых). Ингалятор у одного дяденьки, следовавшего на пароме на остров Борнхольм. Пять перстней с камушками у подруги. Если это и вправду болезнь, то она-то уж точно засела у меня в пальцах.

Между кражами могли происходить длинные перерывы во времени. Стоило мне разок почувствовать, что я вроде как освободилась от своего недуга, как вдруг на стене квартиры одного из моих знакомых перед моим взором проплывает картина, изображающая мужика с яичницей на голове — в рамке, и все такое. Она словно сама протягивает ко мне руки и, улучив момент, когда мой приятель отлучается в туалет, вынуждает меня снять себя со стены, положить в большую сумку, сверху накрыть свитером и как ни в чем не бывало, не меняя выражения лица, вернуться обратно в кресло, приготавливаясь возобновить только что прерванный разговор.

Не могу сказать, что я тщательно планирую свои кражи. Чаще всего, когда речь не идет о нехватке денег, вещи словно бы сами меня соблазняют, умоляя взять их с собой и уделить им место в моем ящике или на полке. К тому же их недостатку почему-то редко замечают и не затевают поиски (за исключением разве что зайца, которого я все-таки тайно вернула обратно одиннадцать дней спустя). Как правило, людям вообще все равно. У всех у них имеется страховка имущества, по три

1. Сеть дорогих магазинов одежды.
2. Супермаркет.

штуки на каждого, и ничего для них эти вещи не значат. Ну и что, после всего этого вы будете продолжать называть меня воровкой? Даже тогда, когда сами эти люди не чувствуют себя обворованными?

Даже если я воровка, то это вовсе не означает, что мне нельзя доверять. Я храню в себе море чужих секретов. Например, одного дяденьки из Геллеруппаркена, который периодически занимается сексом с другим дяденькой и пребывает в постоянном страхе, что если об этом проведаст его семейство, то наверняка его тут же и прикончат. Или дамочки из Кеге, поведавшей мне, что мечтает развестись (причем, когда она мне все это говорила, фигура ее муженька мелькала за дверью террасы). А еще одной девицы, которая скрывает от любовника свое пристрастие к гашишу и четыре выкидыша. Они всё это проговаривают мне в те моменты, когда я делаю паузу в разговоре и просто строю им *глазки*, пока они продолжают вещать. Скажете, что и это тоже кража?

**ЩЕПАН ТВАРДОХ**  
SZCZEPAN  
TWARDOSCH  
[р. 1979]. Польский писатель и публицист, по образованию социолог. Лауреат многих литературных премий, в том числе имени Ежи Жулавского [Серебряного отличия, 2008], фонда имени Костельских [2015], *Мост Берлин* [2016], *О!Зареня* в категории *Литература* [2017].

**ЖУЖА РАКОВСКИ**  
RAKOVSKY ZSUZSA  
Венгерский поэт, прозаик, переводчик. Лауреат премий Роберта Грейвса [1980], Тибора Дери [1986, 1991], Аттилы Йожефа [1988], Сальваторе Квазимодо [1999], Шандора Марай [2003], премии Лаврового венка Венгерской республики [1997] и др.

**НАТАЛИЯ  
АНДРЕЕВНА  
ДЬЯЧЕНКО**  
Переводчик с венгерского. Стипендиат Института имени Балаша по программе художественного перевода [2020–2021].

**ДЖОЙС КЭРОЛ  
ОУТС**  
JOYCE CAROL OATES  
Американский прозаик, поэт, драматург, критик. Лауреат Национальной книжной премии [1970], литературной премии ПЕН/Ма-

Автор романов *Зимние побережья* [*Zimne wybrzeża*, 2009], *Вечный Грюнвальд* [*Wieczny Grunwald, powieść z końca czasów*, 2010], *Драх* [*Drach*, 2014], *Король* [*Król*, 2016], *Королевство* [*Królestwo*, 2017], сборников рассказов *Ошибка ротмистра фон Эгерна* [*Obłąd rotmistrza von Egern*, 2005], *По праву волка* [*Prawem wilka*, 2008], *Баллада о некой девице* [*Ballada o pewnej paniencie*, 2017], дневников *Куты и бражники* [*Wieloryby i ćmy*, 2015], *Как я не сделался поэтом* [*Jak nie zostałem poetą*, 2019].  
Перевод романа *Морфий* выполнен по изданию *Morfina* [КРАКÓW: WYDAWNICTWO LITERACKIE, 2016].

Автор сборников стихов *Пророчества и сроки* [*Jóslatok és határidők*, 1981], *Домом дальше* [*Tovább egy házzal*, 1987], *Бело-чёрное* [*Fehér-fekete*, 1991], *Звуки* [*Hangok*, 1994], *Улица с односторонним движением* [*Egyirányú utca*, 1998], *Путь назад во времени* [*Visszaút az időben*, 2006], *События* [*Történesek*, 2018], сборников рассказов *Луна в седьмом доме* [*A Hold a hetedik házban*, 2009] и *Счастливей конец* [*Boldog vég*, 2020], романов *Тень змеи* [*A kígyó árnyéka*, 2002], *Год падающей звезды* [*A hullócsillag éve*, 2005], *VS* [*VS*, 2011], *Осколки* [*Szilánkok*, 2014], *Целия* [*Célia*, 2017] и др. В *ИЛ* опубликованы ее стихи [1993, № 12].  
Публикуемые стихи взяты из сборника *Фортепан* [*Fortepan*. BUDAPEST: MAGVETŐ, 2015].

В *ИЛ* публикуется впервые.

Автор более пятидесяти романов, в том числе *Их жизни* [*Them*, 1969], *Чёрная вода* [*Black Water*, 1992], *Блондинка* [*Blonde*, 2000] и др., рассказов, стихов и документальной прозы. На русском языке вышли роман *Сад радостей земных* [1993], сборник рассказов *Ангел света* [1987] и др. В *ИЛ* напечатана ее статья *Самые плохие критики* [2015, № 12], рассказы *Приют в Крэйгмилларе* [2018, № 8] и *Наваждение* [2020, № 9].

ламуд [1996], премии Фемина [2005] и др. Обладатель медали США *Гуманист года* [2007].

АЛЕКСАНДРА  
СЕРГЕЕВНА  
ФИНОГЕНОВА

Переводчик с английского и французского языков. Лауреат премии Британского совета в Москве *Единогор и Лев* [2009].

ЙОРГОС  
СЕФЕРИС

[1900–1971]. Греческий поэт, прозаик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии [1963].

ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ  
ЦЫБЕНКО  
[р. 1957]. Прозаик, поэт, переводчик, кандидат исторических наук.

ЛАСЛО  
Ф. ФЁЛДЕНИ  
FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ  
[р. 1952]. Венгерский литературный критик, эссеист, теоретик искусства, переводчик с не-

Перевод фрагмента книги *Saga о Бельфлёрах* выполнен по изданию *Bellefleur* [NEW YORK: HARPERCOLLINS PUBLISHERS, 2013].

Переводит современную художественную литературу, публицистику и кинофильмы. В ее переводе публиковались произведения В. Равалека, П. Акройда, У. Селфа, М. Этвуд, А. Смит. В *ИЛ* был опубликован отрывок ее перевода книги П. Акройда *Подземный Лондон* [2014, № 6].

Автор сборников стихов *Поворот* [1931], *Мифистерема* [1935], *Тетрадь упражнений* [1940], *Бортовой журнал – I* [1940], *Бортовой журнал – II* [1944], *Дрозд* [1947], *Бортовой журнал – III* [1955], *Стихотворения* [1961] и др., книг прозы *Три дня в скальных монастырях Каппадокии* [1953], *Шесть ночей на Акрополе*, [1974; рус. перев. 2002], сборника дневников *Дни* [1975–2019], книг эссе [1974, 1992]. В *ИЛ* опубликованы его *Три тайные поэмы* [1996, № 7], *стихи* [2008, № 2], а также Литературный гид *Сеферис, или Путь Одиссея* [2005, № 6].

Публикуемые переводы выполнены по изданиям *Стихотворения* [ΑΘΗΝΑ: ΊΚΑΡΟΣ, 2014] и Эссе. Т. II [ΑΘΗΝΑ: ΊΚΑΡΟΣ, 1981].

Автор произведений на греческом и русском языках. В сборнике *Итака: ответы Кавафису* опубликованы стихи и стихотворные переводы на греческом, русском и итальянском языках [2013]. Переводил с русского и латинского на греческий М. Грека [4 тт.], Е. Вулгариса, В. Жуковского, К. Базили, Вл. Орлова-Давыдова, Л. Толстого, К. Леонтьева, Вл. Соловьева, А. Куприна, А. Чехова, Ф. Зелинского, Я. Голосовкера; с древнегреческого, новогреческого, латинского, итальянского, польского и чешского на русский Гесиода, Аристотеля, Диодора Сицилийского, Н. Казандзакиса, П. Превелакиса, Й. Сефериса, Э. Бьянки, Ч. Павезе и др. В *ИЛ* в его переводе опубликованы эссе А. Моравиа *Греция, пустынная страна* [2019, № 12] и стихи К. Димула [2021, № 2] и Н. Энгонопулоса [2021, № 8].

Автор многих книг, среди которых *Мир Дефо* [*Defoe világa*, 1977], *Формирование буржуазной драмы в Англии* [*A polgári dráma kialakulása Angliában*, 1978], *Молодой Лукач. Опыт реконструкции круга мыслей* [*A fiatal Lukács. Egy gondolatkör rekonstrukciójának kísérlete*, 1980], *Ловушка драматургии* [*A dramaturgia csapdája*, 1983],

мецкого. Лауреат премий Аттилы Йожефа [1996], Фридриха Гундольфа [2005], премии Сечени [2007] и Лейпцигской книжной премии [2020].

**ЕКАТЕРИНА  
ВЛАДИМИРОВНА  
ТЕРЕШКО**  
Кандидат филологических наук, младший научный сотрудник Института языкознания РАН.

**ЕКАТЕРИНА  
ВАЛЕРЬЕВНА  
ФЕДОРОВА**  
Магистрант факультета культурологии РГУ по программе *Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культур*.

**СВЕТЛАНА  
ЮРЬЕВНА  
БОЧАВЕР**  
Лингвист, старший научный сотрудник Института языкознания РАН, старший менеджер проектов *Яндекса*.

**СЕРГЕЙ  
МАРКОВИЧ  
ГАНДЛЕВСКИЙ**  
[р. 1952]. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премий *Малый Букер* [1996], *Московский счет* [2009], национальной премии *Поэт* [2010] и др.

сборников эссе *Меланхолия* [*Melankólia*, 1984, 1992, 2003, 2015; переведен на немецкий, испанский, французский, польский, словацкий, чешский, английский языки], *Каспар Давид Фридрих* [*Caspar David Friedrich*, 1986], *Взгляд медузы* [*A medúza pillantása*, 1990; переведен на немецкий, шведский, английский языки], *Широко раскрытые глаза* [*A tágra nyílt szem*, 1995], *Достоевский в Сибирю читает Гегеля и плачет*, [*Dosztojevszkij Szibériában Hegelt olvassa és sírva fakad*, 2008; переведен на немецкий, итальянский, испанский, турецкий, греческий, нидерландский, шведский, французский, португальский языки] и др. Публикуемый текст *Прощание с образованностью. Об образованности, знании, информации* [*Búcsú a műveltségtől. A műveltségről, a tudásról, az információról*] взят из сборника эссе *Сон разума* [*Az ész álma*. BRATISLAVA: KALLIGRAM, 2008].

Автор статей в журналах *Современная наука: актуальные проблемы теории и практики*. Серия *Гуманитарные науки*, *Вестник московского университета*. Серия 9 *Филология* и др.  
В *ИЛ* публикуется впервые.

Автор статьи *Проблема смысла жизни и танатологические мотивы в произведениях Л. Н. Толстого “Три смерти” и “Смерть Ивана Ильича”* для сборника *Moscow University Young Researchers’ Journal*.  
В *ИЛ* публикуется впервые.

Один из авторов учебника *Поэзия* [2016]. Публиковалась в журналах *Новый мир*, *Russian literature* и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Автор книг стихов, эссе, прозы, среди которых — книга стихов *Праздник* [1995], повесть *Трепанация черепа* [1996], избранное *Порядок слов* [2000], роман <НРЗБ> [2002], стихи и эссе *Найти охотника* [2002], *Опыты в стихах* [2008], избранное *Сухой остаток* [2014], собрание стихотворений *Ржавчина и желтизна* [2017]. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

ТОМАС КОРСГОР  
THOMAS KORSGAARD  
[р. 1995]. Датский прозаик, драматург.

Автор романов *Если кто-нибудь пройдет мимо* [*Hvis der skulle komme et menneske forbi*, 2017], *Однажды мы посмеемся над этим* [*En dag vil vi grine af det*, 2018], пьесы *Полный абзац* [*Splitterravende*, 2017], сборника новелл *Кражи* [*Tyverier*, 2019]. Публикуемые новеллы *Вот поэтому мы и здесь* [*Det er derfor, vi er her*] и *Кражи* [*Tyverier*] взяты из сборника *Кражи* [КØВЕНHAVN: LINDHARDT OG RINGHOF, 2019].

[287]

ИЛ 11/2021

НАТАЛЬЯ КЛАРК  
Переводчик с английского, датского, норвежского, шведского и французского языков, писатель. Живет в Копенгагене.

Из последних переводов с датского сборник новелл Хелле Хелле, роман К. Банга Фосса *Смерть ведет Ауди*, сборник поэзии Х. Норбранта *100 стихотворений*. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны рассказы Хелле Хелле [2015, № 12; 2017, № 3] и К. Бликсен [2020, № 4].

## Переводчики

Сергей Морейно  
[р. 1964]. Прозаик, поэт и переводчик. Лауреат *Русской премии* [2008], премии *Мастер* [2020—2021]. Ведет литературные мастерские *Matris Lingua* и *Scenae Interpretatione*. Переводит с латышского, немецкого, польского на русский и латышский.

Автор 50 книг и аудиодисков. Совместно с В. Месяцем готовит к публикации серии *Брат Гримм* и *География перевода* в издательстве *Русский Гулливер*.

В его переводе публиковались произведения Ч. Милоша, П. Целана, Х. Чеховски, Г. Бенна, К. Кролова, Г. Айха, Х. М. Энценсбергера, Щ. Твардоха и др. Составитель и переводчик номера, посвященного латышской литературе [2019, № 3].

Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Ольга Анатольевна Балла  
Журналист, литературный критик. Заведующая отделом философии и культурологии журнала *Знание-Сила*. Лауреат премии журнала *Новый мир* [2010] в номинации *Критика*.

Автор более тысячи статей и эссе, опубликованных в журналах *Новый мир*, *Знамя*, *Октябрь*, *Дружба народов*, *Вопросы философии*, *Новое литературное обозрение* и др., на сайтах радио *Свобода*, *Гэфтер.ру*, а также сборника эссе в 3-х тт. *Примечания к ненаписанному* [USA, Franc-Tireur, 2010]. В *ИЛ* напечатаны ее текст в рубрике *Среди книг* [2016, № 1], статья *Техника многожития: метафизический кинематограф Миленко Ерговича* [2020, № 5].



Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.  
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.  
Льготная подписка оформляется в редакции  
(понедельник, вторник, среда, четверг  
с 13.00 до 17.30).

---

---

В оформлении обложки использована фотография Новомейской улицы в Варшаве [перед 1939 г.].

Художественное оформление и макет  
АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО,  
ДМИТРИЙ ЧЕРНОГАЕВ.

Старший корректор,  
секретарь-референт  
КСЕНИЯ ЖОЛУДЕВА.

Компьютерный набор  
НАДЕЖДА РОДИНА.  
Компьютерная верстка  
ВЯЧЕСЛАВ ДОМОГАЦКИХ.

Главный бухгалтер  
ТАТЬЯНА ЧИСТЯКОВА.  
Исполнительный директор  
МАРИЯ МАКАРОВА.

Менеджер по правам  
МИЛЬДА СОКОЛОВА.

Адреса редакции: 115035, г. Москва,  
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А  
(юридический);  
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 68,  
стр. 24 (фактический, почтовый); м. "Аэропорт".  
Телефон: (495) 225-98-80.  
E-mail: zhurnalil@yandex.ru

Купить журнал можно:  
в Москве:

в редакции;  
в книжном магазине "Фаланстер" (ул. Тверская, д. 17);  
в киоске "Лингвистика" (ВГБИЛ им. М. И. Рудомино,  
Николаямская ул., д. 1);

в Санкт-Петербурге:  
в книжном магазине "Все свободны" (ул. Некрасова,  
д. 23);

в книжном магазине "Книжные мастерские" (Камен-  
ноостровский пр., д. 10; наб. реки Фонтанки, д. 15);  
в киоске "Книжные мастерские" (наб. реки Фонтанки,  
д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского  
театра);

в книжном магазине "Подписные издания" (Литейный  
просп., д.57);

в интернет-магазине "Лабиринт"  
(<http://www.labyrinth.ru>)

в интернет-магазине "Ozon"  
(<https://www.ozon.ru>)

Официальный сайт журнала:  
<http://www.inostranka.ru>

Наш блог:  
<http://obzor-inolit.livejournal.com>

Журнал выходит  
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера  
подготовлен в редакции.

Регистрационное  
свидетельство  
ПИ № 8С77-63040  
от 18 сентября 2015 г.


Подписано в печать  
20.10.21

Формат 70x108 1/16.  
Печать офсетная.

Бумага газетная.  
Усл. печ. л. 25,20.

Уч.-изд. л. 24.  
Заказ № 9844.

Тираж 2000 экз.

 Отпечатано в  
ПАО "Можайский  
полиграфический комбинат".  
143200, Россия, г. Можайск,  
ул. Мира, 93.  
Сайт: [www.oaompk.ru](http://www.oaompk.ru)  
Тел.: (495) 745-84-28;  
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не  
возвращаются и не  
рецензируются.